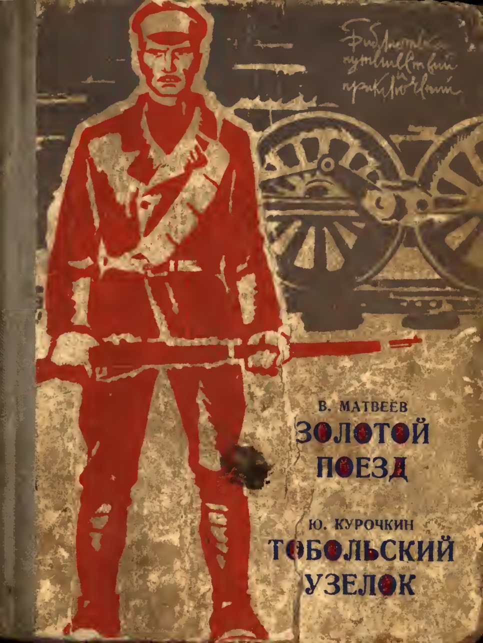

Библиотека путешествий и приключений
В. МАТВЕЕВ
ЗОЛОТОЙ ПОЕЗД
Ю. КУРОЧКИН
ТОБОЛЬСКИЙ УЗЕЛОК

Библиотека путешествий и приключений

ВЛАДИМИР МАТВЕЕВ

ЗОЛОТОЙ ПОЕЗД

ЮРИЙ КУРОЧКИН

ТОБОЛЬСКИЙ УЗЕЛОК

Выпуск 37—38

Пермское
книжное издательство
1971





ВЛАДИМИР МАТВЕЕВ

ЗОЛОТОЙ ПОЕЗД

Автор этой повести Владимир Павлович Матвеев — активный участник установления Советской власти и борьбы с белогвардейцами на Урале.

Он родился в 1898 году в Перми. В августе 1917 года, будучи студентом, вступил в большевистскую партию. В 1918—1920 годах был на советской, военной, партийной и газетной работе в Перми, Екатеринбурге и других городах Урала. Позже работал в Петрограде — Ленинграде, где и написал повесть «Золотой поезд» (другое название «Комиссар золотого поезда»).

В предисловии к одному из изданий повести писал о своей литературной работе:

«Я занимался журналистикой, военной и партийной работой и никогда не думал писать повести и рассказы.

Но вот однажды в кругу своих друзей я рассказывал о том, как мы боролись на Урале за Советскую власть.

Когда я кончил рассказывать, все молчали. Один товарищ сказал: «Вот ты бы и написал об этом».

«Не все помнят первые годы Октябрьской революции», — подумал я и решил написать повесть «Комиссар золотого поезда» — о революции на Урале...»

В. П. Матвеев умер в 1939 году.



I

Еще сквозь сон до Реброва долетели слова:

— Взяли Самару, взяли Уфу. Теперь подходят сюда. Окружают.

— Тише ты. Услышит. Комиссар, видать.

— Шут с ним. Щенок еще. Скоро от чехов без штанов удирать будет.

Ребров открыл глаза. Вытянулся во весь рост. Сапоги его выставились далеко в проход, зацепили кого-то. Согнувшись,

ои сел иа полке и свесил иоги. Виизу иа малеиьком грязиом столике о светлый жестяиой чайиик тихо постукивали три эмалироваииые чашки; вокруг иих — пролитый чай, хлебные крошки, золотистые чешуйки от воблы и колбасиая кожура.

На иижиих скамейках — шестеро пассажиров. Двое — пожилой лысый и молодой в офицерском картузе — продолжали вполголоса разговаривать.

«Эти», — подумал Ребров и спрыгиул с полки. Одериул солдатскую гимиастерку. Из-под изголовья достал ремеиь с револьвериой кобурой, иадел и туго затяиул.

— Приглядите за сумкой, — обратился ои с просьбой к разговаривавшим соседям. Потом перекииул через плечо полотеице и, уходя, добавил: — Там ручиые граиаты. Поосторожией с иими.

От толчка вагона сумка ударилась о стеику.

— Взорвется! Товарищ комиссар, вериитесь! — закричал вслед лысый пассажир. Ребров, чуть улыбиувшись, посмотрел иа кричавшего и исчез за дверью. Когда через пятиадцать мииут ои возвратился, пассажир стоял возле полки, бережио придерживая обеими руками сумку.

— Спасибо, — сказал Ребров, расстегиул сумку и достал оттуда две круглые булки.

— Смотрите, смотрите! — крикиул кто-то.

— В чем дело?

Пассажиры бросились к открытым окиам.

— Уральский хребет переезжаем.

— Тьфу, иапугал.

Справа быстро приближался к окиу вагоиа малеиький столбик — кусок рельса со ржавой железной дощечкой иаверху, иа которой с одной стороиы было написаио:

ЕВРОПА

с другой:

АЗИЯ

— Теперь близко. Самое опасное позади, — облегчеиио вздохиула пожилая жеищиia.

Поезд шел все время под уклон. Паровоз, мягко пофыркивая, только сдерживал наседающие на него вагоны и был похож на заводную игрушку, которая плавно движется по рельсовой спирали. Скоро Екатеринбург. Вон уже виден двенадцативерстный Верхнеисетский пруд. Ребров взглянул в окно. Города не было видно. Только золотой купол Вознесенского собора поблескивал издалека. Город там, за прудом, внизу.

«Если взорвать плотину, вода покроет весь город и только этот купол останется сухим», — подумал Ребров.

Замелькали товарные составы на запасных тупиках. Склады, платформы, штабеля дров и угля. Поезд начал перепрыгивать со стрелки на стрелку. Пассажиры, одевшись, с вещами в руках уже стояли в проходе. Некоторые еще стягивали ремнями подушки. Вот семафор остался позади. Локомотив пролетел еще несколько десятков саженей и вдруг остановился.

— Приехали? Выходи, там, впереди!

— Да нет же, саженей сто не доехали до платформы.

— Выходи! — кричат сзади.

— А ты посмотри в окно.

— Что тут у вас случилось? — Главный кондуктор спрыгнул со ступеньки к сторожу, притаившемуся около средней стрелки. Десятка два пассажиров тоже повыскакивали из вагонов.

— Восстание. Стреляют. Пулеметы! — говорил, задыхаясь и размахивая рукой, сторож.

Пассажиры опрометью бросились обратно в вагоны. Главный тоже исчез. Около сторожа остался только Ребров.

Он оглянулся. Высокая насыпь пустынна. В нескольких десятках саженей безлюдный перрон. За насыпью — вокзал. Он только одним этажом выше насыпи и весь внизу. По ту сторону вокзала — широкая площадь. Кучки солдат прячутся за какими-то прикрытиями, расположенными полукольцом вокруг вокзала. Трещат вразнобой выстрелы. Из окон вокзала часто стучит пулемет, ему отвечает другой.

— Вон он, советский, на водокачке... — И сторож пальцем показал Реброву.

— А на вокзале кто? Внутри?

— Наши. Центрального района...

— Кто ваши?

— Да железнодорожники. Паек требуют. Сковырнут комиссаров.

На площади затрещали ружейные выстрелы. Из-за прикрытий выбежала цепь солдат. Пробежала несколько шагов. Легла на землю, спрятавшись в глубокую канаву.

Ребров поднялся обратно в вагон. Пассажиры лежали кто на полу, кто на полках. Расстегнув кобуру нагана, Ребров достал оттуда ручную гранату, сунул в карман и снова вышел из вагона. На насыпи все так же пустынно, не видно часовых. Ребров, не задумываясь ни на минуту, побежал к перрону, беспрепятственно спустился по широкой лесенке вокзала и очутился перед входом в буфет.

Двое часовых в новых желтых башмаках и обмотках преградили ему дорогу, слегка выставив вперед штыки винтовок. Невольным движением Ребров схватил оба штыка и резко дернул к себе. Один из часовых не удержался на ногах и полетел на пол, другой от неожиданности выпустил из рук винтовку. Ребров выхватил из кармана ручную гранату, вбежал в буфетный зал, где засели мятежники, и громко крикнул:

— Ложись! Взорву к черту!

Мятежники опустились на пол, один полз на животе к дверям, за ним последовал другой, третий...

Ребров не мешал им. Он быстро подбежал к ближайшему окну и столкнул с него пулемет на мостовую. Снаружи на помощь Реброву бежали красногвардейцы. Ими командовал огромного роста человек в лоснившихся от машинного масла штанах, заправленных в сапоги. Он громко кричал: «За мной! За мной!», указывая наганом на здание вокзала, и первый ворвался в дверь.

Мятежников разоружили.

На площади Ребров не нашел извозчика. Пришлось пойти пешком. Длинный Арсеньевский проспект в конце поднимался на горку, к подножию Вознесенского собора. Тяжелые каменные плиты тротуара, неровно уложенные, заставляли пешеходов прыгать и кружить. По дороге мчались военные повозки с высокими колесами, подымая колючую твердую пыль. Солнце накалило каменный город. Было душно. Ребров повернул направо, чтобы сократить путь. Навстречу ему вылетела большая легковая машина с двумя седоками. Промчалась мимо. И вдруг остановилась. С кожаных подушек приподнялся бритый молодой человек в синей блузе и, перегнувшись через борт автомобиля, закричал:

— Стой! Стой! Ребров!

Пожилой человек в золотых очках, сидевший рядом с ним, что-то сказал шоферу, машина заскрежетала шестеренками скоростей и стала заворачивать. Ребров остановился, посмотрел с недоумением. Потом узнал.

— Голованов! — вскрикнул он и побежал к машине.

Молодой человек в блузе открыл дверцу.

— Молодец, Борис. Мне Запрягаев по телефону все рассказал. Ну и взял ты их в шоры.

— Наверно, и теперь еще не опамятовались, — улыбнувшись, заметил спутник Голованова.

— Подвинься, Нечаев, задавишь, — пошутил Голованов над своим соседом, освобождая место Реброву.

— Такого не задавишь, — добродушно засмеялся Нечаев и подвинулся насколько мог.

— Как с чехами? — спросил Ребров, когда машина снова понеслась по улице.

— Очень серьезно, — ответил Голованов. — Челябинск занят, в Сибири казачьи восстания. В Уфе и Самаре — эсеры. Да вот сейчас узнаешь: начальник академии сделает доклад.

Автомобиль, объехав базарную площадь, остановился около богато расписанного особняка. Архитектор не пожалел красок, не оставил ни одного места на стенах дома, чтобы не расписать золотыми завитушками. Хозяин дома, пивовар Пок-

левский-Козелл, был «истинно русский» человек и питал слабость к старине.

Ребров вошел за Головановым и Нечаевым по широкой полутемной лестнице в мрачный зал. Из-за письменного стола с шумом вскочил широколицый лохматый юноша и бросился к Голованову.

— Сюда, сюда. Совещание в кабинете Долова.

Голованов повернул в дверь налево, и они попали в небольшой кабинет, сплошь увешанный огромными картами. Возле той, на которой были наколоты маленькие красные и белые флажки, стояло пятеро мужчин. Один из них водил по ней длинной деревянной палочкой.

Навстречу Голованову пошел высокий, прямой, с узкой талией военный в белом кителе.

— Не знакомы? — обернулся Голованов к Реброву.

— Долов, — протянул руку человек в кителе. — Андогский, — подвел он Реброва к человеку с длинной палочкой.

— Матковский, — назвал себя сосед Андогского.

— Медведев, — хрипло отрекомендовался ветхий старик в золотых очках.

— Расторопный, — с достоинством произнес последний — красивый седой человек с изумительно правильными чертами лица, прекрасным румянцем и белоснежной кожей.

Ребров посмотрел на собравшихся. Даже с первого взгляда можно было безошибочно определить, что все военные, за исключением Долова, принадлежат к старому царскому генералитету. Медведев даже в брюках с лампасами. Только отсутствие погон лишало блеска собравшееся общество.

— Начнем? — спросил Голованов, нахмурив лоб.

Все сели за большой стол с грудой карт.

— Александр Иванович нам сделает сообщение, — сказал Долов, повернувшись к Голованову.

— Профессор Андогский, — пригласил Голованов и подвинул к себе блокнот и карандаш.

Андогский встал, поправил пышные усы, потер чуть впа-

лые виски, взял снова палочку и подошел к карте с флажками.

— В настоящее время, — начал он, тихонько поскрипывая мягким сапогом, — противник занимает всю Самаро-Златоустовскую магистраль с включением пунктов: Самара, Уфа, Челябинск....

Палочка забегала по карте и остановилась, плавно описав дугу.

— Положение южных фронтов, Восточной Сибири и Северного края вам известно из сводки за прошлый день... Маневренная способность противника, пути сообщения, коммуникации превосходят наши. Противник стремится распространиться в первую очередь на восток и север, не оставляя попыток расширить зону военных действий на запад и юг... Наше мнение: сильными, короткими ударами в нескольких местах сбить противника... Требуется лишь достаточное количество крепких частей — и удары в Бердяушском, Челябинском и Сибирском направлениях обеспечены успехом с выходом и пересечением Самаро-Златоустовской магистрали...

— Простите, — перебил Андогского Нечаев, — но ведь вы же знаете, что как раз таких частей у нас иет.

— Да, конечно, — спокойно продолжал Андогский, — я имею и имел в виду предложить до организации ударных частей выйти из-под ударов чехов и отдать часть территории к западу от Уральского хребта.

— Я предложил бы укрепиться на оборонительиой линии Волга — Кама, — сказал Матковский.

— То есть отдать Урал без боя? — спросил Голованов.

— Да.

— Но ведь до Камы четыреста верст, — сказал Нечаев.

— Вот именно, — продолжал Матковский, — будет время для организацни крепкнх частей.

— Ваше мнение?— обратился Голованов к Медведеву.

— Что? — спросил тот, вытаскивая слуховую трубку и вставляя ее в ухо.

— Ваше мнение, профессор? — громко повторил свой вопрос Голованов.

— Согласен, — сказал Медведев и почесал ослепительно блестящую голову, на которой торчали редкие кустики сивой жесткой щетины.

— Как полагаете вы? — спросил Голованов Расторопного.

— Доводы Александра Ивановича заслуживают внимания, — ответил тот.

— Хорошо, — сказал Голованов, снова посмотрев на присутствующих. — Областной совет примет во внимание ваши мнения. — Долов, — продолжал он, обернувшись к высокому военному, — вызовите Челябинск. Через полчаса мы будем на телеграфе.

Профессора во главе с Андогским поднялись и любезно раскланялись. Долов быстро вышел из комнаты.

— Позволю себе напомнить, — прощаясь с Головановым, сказал Андогский. — Когда же в академию будет назначен комиссар? Знаете, даже как-то неловко: во всех учреждениях комиссары, и только у нас...

— Да, да, — ответил ему Голованов, — в течение ближайших дней комиссар будет назначен.

Профессора вышли.

— Что, впервые видишь таких любезных генералов? — спросил Голованов Реброва.

— Отдать без боя Урал. Отступить к Волге и Каме. Оставить тысячи рабочих, не вооружив их против белых... Это ли не заманчиво?

— Думали: поверим, — усмехнулся Нечаев. — Суконные рыла, дескать...

— И все-таки надо заставить их честно работать на нас. И заставим, — нахмурившись, сказал Голованов. — А с чехами драться будем за каждую пядь Урала. В боях организуются армии, а не готовыми преподносятся из тыла.

— «Коммуникации», — передразнил Нечаев. — Напустил ученого тумана. А про то не говорил, что все промышленные районы в наших руках. Это поважнее коммуникаций.

Ребров подошел ближе к большой карте с флажками. Белые флажки уже стояли между Екатеринбургом и Челябинском, стремились выдвинуться на главную линию между Пермью и Екатеринбургом и отрезали Сибирь.

— Ну, — сказал Голованов, — выбора нам не дано. Сегодня последний раз говорим с чехами.

Маленькие столики с белыми клавишами расставлены в просторной комнате. Тихо. Над столиками, протяжно жужжа, крутятся на вилке, гоняясь друг за другом, металлические шарики. Тикают аппараты. Время от времени телеграфисты ногой заводят механизмы, поднимая гири.

Между аппаратами Юза бесшумно шагает взад и вперед Долов. Как только Голованов показался в дверях, он, круто повернув налево, зашагал ему навстречу. Похоже было, что он плывет и его широкие синие галифе-плавники тихо колеблются.

— Челябинск вызван. Здесь, у этого, — подвел он к одному из аппаратов Голованова и нагнулся к телеграфисту.

Телеграфист прижал тонкими пальцами клавиши. Белая лента заторопилась, и на ней появились слова:

> Здесь ли уполчехослов богдан павлу??? начальник гарнизона города екатеринбурга долов.

Вместо ответа на ленту посыпались буквы:

> хххфффххххсссфффф,

а потом аппарат спокойно начал печатать:

> ...у аппарата я, богдан павлу — уполномоченный чехословацкого корпуса, кто у аппарата???
>
> ...у аппарата я, голованов, полномочный комиссар уральского областного совета...
>
> ...немедленно приостановите движение красноармейских и красногвардейских частей челябинску. освободите сибирскую магистраль от германских вооруженных сил, препятствующих нашему движению на родину. противном случае будем силой пробивать себе дорогу на екатеринбург. богдан павлу???..???...??

...гарантируем свободное продвижение чешских эшелонов на владивосток, во всей советской россии и на протяжении всей сибирской магистрали нет ни одного немецкого солдата, чтобы следовать на родину, совсем не требуется занимать вооруженной силой беззащитные города и расстреливать рабочих, как это сделано вами в сызрани, самаре, уфе, челябинске и омске. голованов???. ???.. ???

...ваши сообщения неверны, мы только вынуждены защищаться от возможного нападения германских сил и спешим на родину, требуем освобождения сибирской магистрали немедленно. богдан павлу???

...ехать во владивосток из челябинска ближе не через екатеринбург. вы сами разоблачаете свои контрреволюционные планы???...???

...это последнее ваше слово???...???...???

...да...

...таком случае прощайте... ...

...прощайте ... ...

Аппарат замолк.

Голованов молча свертывал в катушку оборванную ленту.

— Когда уходит первый красногвардейский эшелон под Челябинск? — спросил он Долова.

— Сегодня в час ночи, — почтительно выпрямился Долов.

— Пошлите вместе с ним этих... железнодорожников. Пусть лучше с чехами повоюют, — усмехнулся Голованов.

Долов звякнул шпорами и отступил на два шага назад.

— Едем, — повернулся к Реброву Голованов.

— Постой, Егорыч, — отозвался Нечаев, склонившийся у одного из аппаратов.

— Шифровка из Москвы!

Телефонист быстро наклеил на синий бланк кусочки ленты и подал Голованову. На бланке стояли ряды цифр:

ТЕЛЕГРАММА

Москва

21782 57812 11443 18081 22451 34578
30052 44789 99054 17972 19290 00745

00852	76667	21875	51617	09876	00013
10023	33444	78801	09123	90713	55044
32137	01094	00123	10999	13133	03333
22222	18880	04321	07477	88001	87000

— Расшифруйте в комиссариате, — протяиул Головаиов телеграмму Нечаеву, — а я заеду туда поздиее. Пойдем, Ребров.

Оии вышли. Шофер, покрутив ручку, вскочил за руль, иажал иогой иа педали. Машииа рииулась от телеграфа.

— Ну, видишь сам, как обстоят дела. Мы вызвали тебя вот для чего...

— В Челябинск пошлете?

— Нет. В академию или охраиять Николу...

— Какого Николу?

— Романова.

— Вместе с иим сидеть под замком? — иахмурившись, спросил Ребров.

— Да, это иевесело. Согласеи. Но в городе тревожио. Появились иеизвестио откуда приехавшие иностранцы. Один ходатайствует за арестоваиную сербскую королеву, другой — за киязя Львова, третий — за великого киязя. А иа самом деле, коиечио, приглядывают за царями...

— Чего смотришь? Пугиул бы, — перебил Ребров.

— Конфликт с державами из-за царя? Ои этого ие стоит, — ответил Головаиов. — Сюда же, — продолжал он, — перебросили академию, и съезжаются сотии офицеров царской армии. Документов мы тут кучу перехватили. Выходит, что готовится заговор, похищеие семьи Романовых. Тут нужеи человек покрепче.

— Почетиая задача, что и говорить, — проворчал Ребров. — Ты своди меия хоть в особияк и покажи сперва.

— Туда и едем, — ответил Голованов. — И чего с ним Москва возится, ие поиимаю, — иедовольио сказал он.

Дом иижеиера Ипатьева стоял иа Возиесеиской площади, открывая собой иебольшую улочку, круто спускающуюся к

Исетскому пруду. На площади он терялся и был незаметен. Полутораэтажный особняк был обнесен свежим тесом, который не давал возможности с улицы видеть, что происходит внутри, а из особняка — что делается на улице.

Часовые были расставлены на улице и внутри, за забором. Они просмотрели пропуска. Вызвали коменданта.

Комендант вышел с топором в руках.

— Ты что это? — спросил изумленно Голованов.

— Тополя укорачиваю. Разрослись перед самыми окнами, — ответил комендант, махнув топором на срубленные ветки.

Ребров и Голованов прошли через маленькую калитку, потом через парадную дверь и очутились в прихожей особняка. Сразу налево от лестницы парадного хода помещалась комендантская. В ней каждый день дежурили один из членов областного исполкома и комендант.

За комендантской белела вторая дверь. Около нее еще от инженера Ипатьева осталось стоять огромное медвежье чучело с раскрытой пастью. Чучело вдруг шевельнулось, и из дверей вышел волосатый широкий человек в просторной одежде и прошел к выходу.

— Поп.

— Зачем он здесь? — спросил Ребров коменданта.

— По праздникам обедню служит.

Голованов провел Реброва через несколько комнат, и они вошли в столовую.

Вокруг обеденного стола сидело пять женщин. Они, очевидно, только что пообедали и еще не успели ничем заняться. На столе стоял остывший самовар, возле — пустые чашки. Две молодые женщины расставляли шахматы. Одна вязала. Пожилой, заросший бородой и баками, довольно толстый мужчина разгуливал взад и вперед по комнате, насвистывая марш «Преображенец». Красное, немного одутловатое лицо его, с темными мешками под глазами, было в морщинках. Гладкие, зачесанные волосы местами выцвели. В зубах тор-

чала прямая тонкая трубка, поблескивающая золотым кольцом посредине мундштука. В ней дымилась тонкая папироса. Серый летний штатский костюм сидел на бывшем царе непривычно, мешковато, как новый. Увидев в дверях комнаты коменданта и Голованова, царь остановился и как-то очень уж зачастил:

— Здравствуйте. Пожалуйста. Войдите.

Жидкие, бесцветные глаза его забегали по углам комнаты с одного предмета на другой.

— Представьте, — вдруг заговорил царь, обращаясь к коменданту и Голованову, и вытащил из кармана газету. — Здесь пишут, что не ладится с железными дорогами. Я думаю, что у нас в России все-таки можно наладить транспорт.

— Чего ты не наладил? — усмехнулся комендант.

Царь сконфузился и замолчал. Жена и дочери его молча взглянули на вошедших. Высокая, худая, вся в темном, похожая на учительницу немецкого языка, царица резко поднялась, отшвырнула с колен рукоделье и что-то сказала Николаю по-английски. Она, очевидно, просила царя передать какую-то просьбу Голованову. Николай колебался. Потом, подойдя ближе, сказал:

— Нас стесняют. Не пускают в церковь. Передали не все вещи. В Тобольске мы пользовались свободой. Временное правительство...

— Не забывайте, гражданин Романов, что вы не в Тобольске и не в распоряжении Временного правительства, — сухо прервал его Голованов.

— Да, да, да, — снова заторопился царь и растерянно затеребил левый ус, — но я прошу вас только возвратить нам наши вещи...

Царица, сердито отвернувшись, вышла. Дочери последовали за ней. Внимание Реброва давно привлекала развернутая на столе книга. Он подошел взглянуть на нее. Книга была заложена небольшой потрепанной картонкой, согнутой втрое, Ребров взял закладку — она оказалась тобольской продовольственной карточкой:

Тоб. Гор. Продов. Ком.
Продовольственная карточка

№ 54

Фамилия: *Романов.*

Имя: *Николай.*

Отчество: *Александрович*

Звание: *экс-император.*

Улица: *„Свобода“*

№ дома . . .

Состав семьи: *семь.*

Подпись выдавшего карточку . . .
Председатель комитета *Тарасов.*

На обороте — пометки о выдаче продуктов и правила пользования карточкой.

Ребров заложил карточку обратно, перелистал раскрытую книгу и в изумлении повернулся к Голованову: на столе лежал том «Дома Романовых», изданный к трехсотлетию династии.

Голованов пошел дальше по коридору, оставив в комнате растерявшегося царя. Он вывел Реброва на террасу, на которой стоял невидимый из-за перегородки пулемет. Все было как будто в порядке и не вызывало подозрений.

— Ну, что скажешь? — спросил Голованов.

— То же, что и раньше: скучно стеречь бывших царей.

— Особенно, если они с претензиями, — усмехнулся Голованов. — Привезли три вагона вещей, и все еще мало!

— Посмотри-ка в список, — протянул комендант Реброву свернутую в трубочку тетрадь.

Ребров раскрыл ее. На первой странице было написано чернилами:

Кофточек белых полотняных . . . . . *235 шт.*
Салфеток . . . . *113* »
Гардин бархатных . . . . *64* »
Занавесок, белья, посуды . . . .

Ребров перелистал двенадцать исписанных страниц, на последней стояло:

Лопат . . . . 3 *шт.*
Метла . . . . 1 »
Садовая корзина с ручками для мусора . 1 »
Горшков ночных . . . . 3 »

Голованов улыбнулся Реброву:

— Лучше в академию?

— Лучше туда, — сказал Ребров.

Ребров с трудом разыскал на окраине города Щепную площадь. Площадь была безлюдна. С одной стороны ее виднелись белые стены монастыря, с другой — красное двухэтажное кирпичное здание.

Около здания десятка два всадников шагом ездили по кругу друг за другом. Реброву бросились в глаза их длинные, серо-синего цвета шинели. Он подошел поближе. Всадники были в полной военной форме царского времени. Только кокарды и пуговицы обтянуты красной материей и нет погон.

— Как пройти в академию? — спросил Ребров.

Всадник, не повернув головы, проехал мимо. За ним проскакал второй, третий...

— На рысь! — протяжно скомандовал густым басом стоявший в кругу в солдатской форме усач.

Всадники поскакали быстрей. Ребров пошел дальше к красному зданию.

Над парадным входом виднелась проржавевшая железная вывеска:

ЕПАРХИАЛЬНОЕ
ЖЕНСКОЕ УЧИЛИЩЕ

Ребров открыл дверь в вестибюль, весь уставленный заколоченными ящиками, шкафами, кассами со шрифтом, рыцарскими доспехами, исполинскими касками и картинами. За маленьким столиком около перил небольшой лесенки, тоже заваленной нераспакованными вещами, сидел швейцар в темной штатской форме с галунами.

— Кого изволите спросить? — вежливо, но не спеша поднялся он со стула.

— Начальника академии, — сказал Ребров.

— Их нет. Принимают Александр Александрович Смелов — правитель дел канцелярии. Наверх, кабинет налево, — указал рукой швейцар.

— Корзиночку оставьте внизу! — крикнул он вслед.

Ребров поднялся на второй этаж и нашел кабинет Смелова. Правитель дел, высокий, пухлый, холеный человек, осмотрел Реброва и, словно оценив потрепанную его гимнастерку, приготовился молча его слушать, не предлагая стула.

Ребров протянул конверт. Смелов взглянул на штамп Уральского военного комиссариата и тотчас протянул руку к креслу.

— Присаживайтесь! — сказал он, разрывая конверт.

Ребров сел. Правитель дел вытянул из пакета бумажку и внятным, ровным голосом стал читать ее:

РАБОЧЕ-КРЕСТЬЯНСКОЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВО
**Комиссар по Военным Делам
Уральского Областного Совета
Рабочих,
Крестьянских и Солдатских**
Депутатов
1918 г.
№ 3779

**Начальнику Академии
Андогскому А. И.**

Настоящим ставим вас в известность, что товарищ Ребров Борис Петрович назначен политическим комиссаром Академии Генерального Штаба.

Военный комиссар ***Лещев***

— Позвольте доложить, — встал и протянул руку Смелов, — мы ожидали вас давно. Разрешите, я проведу вас в отведенную вам комнату?

Смелов повел Реброва по длинному коридору куда-то в противоположный конец здания. Из классов выходили слушатели. Очевидно, занятия кончились. Слушатели с удивле-

нием смотрели на Реброва, шагавшего рядом с правителем дел.

— Кто это? — слышал Ребров позади себя.

— Советский слушатель, наверное, — иронически вполголоса сказал кто-то.

— Прием еще не объявлен.

— Комиссар, — догадались сзади, и разговоры замолкли.

Смелов остановился возле одной из стеклянных дверей и пропустил вперед Реброва. Ребров вошел. Перед ним был большой пустой класс. Налево в углу стояла железная кровать с пыльным и грязным матрацем. У больших окон — огромный канцелярский стол. У стола — скамья и десяток парт.

— К сожалению, лучшего нет в нашем распоряжении, — извинился Смелов и потрогал пальцем пыльный стол.

— Велите убрать парты, — сказал ему сухо Ребров и начал выдвигать их в коридор.

— Сейчас распоряжусь. Не пачкайтесь напрасно.

Правитель дел быстро вышел из комнаты и скрылся на лестнице.

Ребров прикалывал к столу карту Урала, когда в стекло двери мягко постучали пальцем.

— Да, — крикнул Ребров, не отрываясь от стола.

Дверь слегка приоткрылась.

— Разрешите войти, Борис Петрович? — послышался приятный певучий баритон, и на пороге показался плотный мужчина среднего роста в кителе со стоячим воротничком. Ребров посмотрел на него и узнал. Это был Андогский.

— Пожалуйста, Александр Иванович.

Андогский подошел ближе и, взглянув мельком на грязную кровать, скамейку и стол, снова спросил:

— Разрешите присесть?

— Пожалуйста!

Андогский сел рядом с Ребровым.

— Борис Петрович, — начал он, — я от души рад вашему назначению. О вас я слышал самые лучшие отзывы. А, представьте, в Петрограде — в столице — мы имели комиссаром

какого-то товарища Болотова, который никакого авторитета не представлял ни для академии, ни для Советского правительства.

— Я тут человек новый. Как будто некому давать обо мне отзывы, — ответил Ребров.

— Ну что вы! Я рад, рад за академию. Сейчас такое время, когда без комиссара нельзя ступить ни шагу. Если бы вы знали, сколько трудов я приложил, чтобы вывезти академию, устроить ее здесь. Пришлось везти библиотеку, типографию, Суворовский музей. Ну, вот теперь будет легче: в вашем лице мы имеем надежного защитника. Я пользуюсь первым же случаем, чтобы просить вас оказать содействие размещению сотрудников и слушателей. Вы видите, как мы живем... — обвел глазами комнату Андогский.

— У вас есть подходящие помещения? — спросил Ребров.

— Да, ведь вот же напротив женский монастырь. Слушатели и профессора с семьями прекрасно могли бы устроиться в кельях. Кто же может считаться с дурью нескольких десятков выживших из ума баб? А городской совет затягивает решение вопроса. У нас же военное время!

— Хорошо, — сказал Ребров, — я добьюсь у горсовета очищения монастыря.

— Неоценимую услугу окажете академии, — с чувством произнес Андогский и продолжал: — Теперь еще одна просьба. На днях вышла неприятность. Ну хоть бы мальчишка нас подвел! А то ведь полковник со старшинством, способный, талантливый слушатель Слейфок. Представьте, подает заявление в Чрезвычайную комиссию и пишет: «...Узнав о пребывании в Екатеринбурге Ея Императорского Величества Государыни Императрицы Александры Феодоровны, прошу Чрезвычайную комиссию разрешить мне свидание с Ея Императорским Величеством ввиду того, что, будучи тяжело ранен и находясь в Царскосельском госпитале, неоднократно был взыскан лаской и участием Ея Императорского Величества...» Нашелся, видите ли, рыцарь! Подвел меня! Академию! Теперь сидит. Добился. Нельзя ли, Борис Петро-

вич, освободить этого дурака? Право, позор — слушатели академии сидят по тюрьмам!

— Хорошо, я выясню, в чем дело, — ответил Ребров.

— Много обяжете, — поклонился Андогский. — Сами видите, как необходим нам комиссар. Сказать прямо, Борис Петрович, если бы больше таких людей, как вы и ваши руководители, я сам вступил бы в партию. Ведь нам во всем идут навстречу. Этого мы не знали даже в старое время. На днях я говорил в Москве с народным комиссаром по военным делам. Он очаровывает. Обещал всемерную поддержку академии. Расспрашивал меня: каков профессорский состав, довольны ли, есть ли достаточное количество учебных пособий, не нуждаемся ли в чем. Потом вдруг спрашивает: «В списке значится профессор Расторопный. Кто это? Раньше его как будто не было слышно?» Какая память! Какая проницательность! Ведь Расторопный действительно профессор по недоразумению...

— Как по недоразумению? — спросил Ребров.

— Анекдот, — усмехнулся Андогский. — Был он гвардейский полковник: без имени, без связей, без состояния. Понадобилось кого-то послать в Абиссинию. Государю императору доложили и список кандидатов составили. А государь император, не читая фамилий, на списке начертал: «Послать Расторопного Гвардейского Полковника» — и все слова с больших букв написал, а гвардейский полковник Расторопный один на всю столицу. Его и послали. Возвратился он генералом. Понравилась внешность. Прикомандировали по указу государя к академии. Я вас задерживаю, — вдруг спохватился Андогский и встал, протягивая руку.

— Вы будете пользоваться выездными или верховой? — спросил он Реброва уже в дверях.

— Верховой, — ответил Ребров, закрывая дверь.

Час спустя Ребров обошел помещения академии. В самом деле, Андогский сумел вывезти из Петрограда решительно все: почти в каждой комнате, в коридорах, в службах лежали заколоченные ящики с имуществом.

Ребров осмотрел классы, помещение канцелярии, огромную столовую, разместившуюся в зале епархиального училища. Спустился в полуподвальное помещение, где находились кооператив академии и жилые помещения служителей. Зашел в конюшню к стоявшим там кровным рысакам. Выбрал себе английскую кобылу Куклу и велел держать ее для него.

Возвращался обратно через вестибюль и уже хотел подняться по лестнице, как оттуда, сверху, донесся приятный баритон:

— Не беспокойтесь, мать игуменья! На днях я еду в Москву. Лично буду ходатайствовать перед народным комиссаром об оставлении монастыря в покое. Зайду к патриарху Тихону, доложу ему. Не допустим поругания.

Ребров не спеша стал подниматься по лестнице. Наверху перед черной игуменьей стоял Александр Иванович и почтительно целовал ей руку. Игуменья широким рукавом благословляла его.

Утром на длинных стенах коридора бывшего епархиального училища висел

ПРИКАЗ № 1

Со вчерашнего числа вступил в должность политического комиссара Академии Генерального Штаба.

Предлагаю:

1. Профессорам, преподавателям, слушателям и служителям Академии в течение сегодняшнего дня до 6 часов вечера сдать лично мне все имеющееся в их распоряжении оружие: как огнестрельное, так и холодное.

2. Снять с головных уборов обтянутые красной материей значки и заменить их установленным в Красной Армии значком — пятиконечной звездой.

3. Ввести в учебный совет Академии представителей от слушателей, для чего произвести выборы в течение ближайших трех дней.

Комиссар Академии Б. Ребров.



II

— К телефону! Голованов вызывает, — кричал в три часа ночи дежурный, стуча кулаком в дверь комнаты Реброва. Ребров вскочил с постели, накннул шинель и побежал по длнnному коридору к телефону.

— Ребров, ты?

— Я.

— Немедленно ӊрнезжай ко мне. Через сколько можешь быть?

— Через пятнадцать-двадцать минут.

— Хорошо. Приедешь — если засну, разбуди.

Через пятнадцать минут Ребров будил Голованова, спавшего в одежде и высоких сапогах на диване.

— Егорыч, я приехал. В чем дело?

— Это ты? — встряхиваясь, пробормотал Голованов. Он устало поднялся, потянулся за папиросой и сказал: — Кажется, кончается...

— Что кончается?

— Советская власть.

— Что? Что случилось?

— Посмотри вот это, — протянул Голованов несколько листков. — Это сводки из-под Челябинска. Бегут наши. От собственных выстрелов бегут. Сегодня к вечеру чехи могут быть здесь.

— Ну, брось ты. У тебя это со сна, Егорыч.

— Дураки будут, если не займут сегодня Екатеринбург. На это только мы и можем рассчитывать. На вот прочти московскую шифровку, — подал он Реброву знакомый бланк с рядами цифр, где под каждой цифрой был уже текст.

ТЕЛЕГРАММА

В случае дальнейшего продвижения чехов на Екатеринбург весь золотой запас, платину, денежную наличность немедленно эвакуируйте в Москву под надежной охраной, с вернейшими людьми. Потеря ценностей — удар Советской власти. При перевозе избегайте опасных мест. Возможно преследование. В случае невозможности доставить в Москву — скройте ценности на месте. Организуйте боевую дружину, чтобы оставить ее в тылу чехов для партизанских действий и охраны района, где будет спрятано золото.

Предцик Свердлов.

— Борис, поедешь?

— А академия? Там надо бы нажать...

— За ними присмотрим сами. Возьми мандат.

Ребров взял бумагу. На ней было напечатано:

РОССИЙСКАЯ
ФЕДЕРАТИВНАЯ
РЕСПУБЛИКА СОВЕТОВ
Уральский Областной Совет
Рабочих, Крестьянских и
Армейских Депутатов
Президиум
№ 4437
Екатеринбург

Удостоверение

Настоящее выдано тов. Борису Реброву в том, что он является начальником чрезвычайной охраны поезда специального назначения, отправленного Областным Уральским Советом Раб., Кр. и Арм. Деп. по распоряжению Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета.

Место назначения поезда и цели его движения составляют государственную тайну, поэтому никто из должностных лиц не имеет права входить в рассмотрение целесообразности того или иного маршрута.

Маршрут определяется т. Ребровым согласно имеющимся у него инструкциям, и он имеет право его изменять. Никто, кроме Совета Народных Комиссаров, не имеет права отменить распоряжение тов. Реброва о продвижении поезда, ни военные, ни гражданские власти.

Все железнодорожные советы и агенты и начальствующие лица обязаны всячески содействовать т. Реброву в выполнении его задачи.

Основанием к выдаче настоящего удостоверения служит шифрованная телеграмма Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета.

Пред. Обл. Совета Урала *Голованов*

— В золотосплавочной получишь золото и платину, всего пудов шестьсот. В банках — деньги: полмиллиарда. Для охраны командируем человек пятнадцать наших с Запрягаевым во главе. Его я предупредил. Да столько же левых эсеров...

— Зачем же эсеров?

— Пока они наши союзники, мы должны с ними считаться. Рядовые дружинники у них — ребята хорошие, а вожди могут подвести, надо смотреть в оба. Прямо отсюда

вали к Жебелеву, он должен предоставить тебе состав. Для перевозки золота возьми в горпродкоме грузовики и плеиных австрийцев. Разговоров с ними поменьше, да они и ие поймут, что грузят. Когда кончишь, приеду на вокзал, договоримся о маршруте. Нечаев поедет вперед с почтовым посмотреть удобные места, чтобы спрятать золото, если не проскочишь в Москву. — Подойдя к Нечаеву, спавшему на полу, Голованов пихнул его в бок: — Вставай, пора! Вставай!

Нечаев поднялся, протер припухшие от бессоиницы глаза и стал искать очки.

В пятом часу утра в штабе партийной дружины все, кроме дежурного, спали. Дежурила какая-то работиица. Оиа внимательно посмотрела пропуск Реброва и указала на дверь по коридору.

— Разбуди там Запрягаева в комнате налево, иа полу.

Ребров вошел в комнату. Светало. На полу вповалку, одетые в солдатскую форму, валялись дружинники. Под головами у них были походиые, туго иабитые сумки. У изголовий стояли винтовки, прислоненные к стене, и на полу у винтовок — подсумки с патроиами.

Ребров иегромко позвал:

— Запрягаев!

В углу зашевелился и сел иа шинели высокий круглоголовый дружинник. Даже в полутьме были видны могучие плечи и широкая выпуклая грудь. Ребров сразу узиал его. Это был тот самый детина, который бежал во главе цепи у вокзала.

— Это ты, Ребров? — спросил Запрягаев, вглядываясь в Реброва, потом вскочил на ноги и громко крикнул: — Эй! Эй! На работу!

Дружинники зашевелились, стуча сапогами, быстро подиялись, схватили подсумки с ремиями и винтовки.

— Мы тебя ждали ночью и приготовились с вечера, — сказал Запрягаев. — Теперь за эсеринками? — спросил он, нахмурившись.

— Не нравится? — ответил Ребров. — Да, к ним!

Дружинники вышли на улицу и построились. Левоэсеровский штаб недалеко. В старинном деревянном доме маленькие окна наглухо закрыты ставнями. Железные перекладины болтами схвачены изнутри. Высокое скрипучее крыльцо ведет в штаб. Ребров взбежал на крыльцо. Дверь закрыта. Долго стучал, пока не услыхал шаги.

— Кто там? — спросил из-за дверей чей-то бас.

— Ребров.

Дверь открылась, и Ребров увидел двоих вооруженных мужчин. За ними стоял третий — небольшой человек в пенсне, с маузером на боку.

— Вы Ребров?

— Да.

— Документы?

Ребров протянул мандат и записку Голованова. Маленький прочел, пристально вглядываясь в документы и, подойдя к Реброву, протянул руку:

— Я — Воздвиженский, начальник сводного левоэсеровского отряда.

Воздвиженский повел Реброва куда-то в темноту. Сквозь щели ставен еле пробивались красные лучи зари.

— Чего это вы за ставнями сидите? Ни черта не видно, — сказал с досадой Ребров. — Тьма кромешная.

— Зато никто не влезет.

— Куда?

— К нам.

— Кто к вам полезет?

— Разведчики, шпионы...

Воздвиженский повернул выключатель. Лампочка осветила маленькую, хорошо обставленную комнатку с мягким кожаным диваном, на котором белели простыни и подушки.

— Подождите здесь! — сказал он и исчез за дверью.

Ребров прислушался. Где-то в комнатах застучали прикладами, зашевелились люди. Слышно было, как Воздвиженский визгливым тенорком вызывает центральную телефонную станцию. Потом глухо захлопнулась дверь, и Воздвиженского не стало слышно.

«К своим вождям звонит, — подумал Ребров. — Развели канитель».

Через полчаса отряд в тридцать человек шагал по Клубной улице к золотосплавочному двору. Впереди всех в драповом пальто, в шляпе, с маузером через плечо шел Воздвиженский.

Золотосплавочный двор находился под горой у самого берега Исетского пруда. Железные ворота толщиной в вершок, на чудовищных петлях, вели во двор, обнесенный высоким забором. Там стояло двухэтажное здание. Необычайная, очень большая труба над белым, чистым домиком. Широкие, почти квадратные окна с тонкими решетками. Опрятный двор зарос сплошь зеленой, свежей травкой. Очевидно, лишних посетителей здесь не бывало, и только едва заметная тропинка пробивалась от калитки ворот к белому домику.

Пленные австрийцы на грузовиках уже ждали у железных ворот, когда дружинники начали спускаться с горы к пруду. Машины загремели, заворчали, как жуки, задвигались вперед-назад, выстраиваясь в очередь. Сторожа поспешно захлопнули тяжелые ворота, как только отряд вошел во двор. Грузовики безжалостно мяли траву, оставляя за собой широкие полосы.

Ребров вошел в домик и попал в отделение плавильных печей. Холодные печи покрыты пылью. Они давно прекратили работу. Тихо и пусто. Толстый человек в старой, с тугим околышем фуражке, на бархатной тулье которой еще не стерся отпечаток кокарды, встретил Реброва у входа и провел в кладовую золотосплавочной. Там на полу в деревянных ящиках и стеклянных банках хранилась платина. Рядом несколько десятков холщовых мешков, едва-едва завязанных, без печатей. Ребров развязал один мешок, сунул в него ру-

ку — на дне слнткн золота. Толстый человек в фуражке пренебрежительио махнул рукой:

— Берите... Вот.

— Где же список? — спроснл Ребров.

— Нет ннкакнх списков.

— Как иет? Откуда же знать, сколько его тут?

— Взвеснлн мы: двестн пудов платнны, четыреста пудов золота. Упаковывать н запечатывать некогда. Да и не к чему, — нроннческн добавнл он, — все равно растащат...

— Кто растащнт?

— Воры, — многозначнтельно промычал толстый.

Партиями по три человека военнопленные стали проходнть в золотосплавочную н перетаскивать груз в автомобнли. В первой тройке здоровяк австрнец, увидав небольшне мешочки, нагнулся н схватнл несколько сразу, да так и остался в согнутом положеннн: тяжелые мешочкн не сдвннулись с места. Схватнв обенмн рукамн однн мешок, он едва приподнял его н выругался:

— Шорт! Нншего ие поннмай!

Частой сеткой рельсов покрыт товарный двор. Красные вагоны рядамн выстроилнсь около платформы, в тупнках, на запасных путях. Можно легко перешагнуть с крышн одного состава на другой, так тесно стоят ряды груженых вагонов. На дверцах вагонов везде тяжелые замки или засовы, обмотанные проволокой. У каждого замка небольшая свинцовая пломба и пометка мелом на стенке вагона.

Желтый забор нз остроконечных досок отгоражнвает товариый двор от площади.

На дворе у пустынной платформы ждет состав из четырех вагонов. Два пассажнрскнх — внднмо, для охраны; два амернкаискнх товариых — для груза. По платформе ходит сторож.

— Зачем забросили сюда пассажирские? — спрашивает он у сцепщика.

— Поди спроси! Комиссары какие-то секретные! Да вон, кажись, они! Подъезжают.

Сторож бросился к воротам:

— Что за груз? Накладную на вагоны предъявите!

— Посторонитесь! Накладные после... — крикнул Запрягаев с первой машины.

Во двор въехали грузовики, набитые мешками. На мешках сидели дружинники. Сторож с любопытством осмотрел их и вдруг стал пристально вглядываться в одного из дружинников.

После двух часов дня Ребров, погрузив золото и платину, приступил к перевозке денег из банков.

В первую очередь, грузовики подошли за деньгами к Сибирскому банку. Ребров прошел через операционный зал, сияющий стеклянными перегородками и вощеным паркетным полом. В дверях он наткнулся на молодого секретаря.

— Где директор?

— У себя. Как доложить?

— Комиссар областного Совета.

— Пожалуйста, за мной! — холодно сказал молодой человек и открыл дверь в кабинет директора.

Директор, высокий тощий старик в стоячем воротничке, был у себя.

— Где у вас деньги? — спросил Ребров и протянул директору постановление областного Совета.

Директор сбросил с переносицы пенсне и ответил спокойно и строго:

— Милостивый государь, для меня этот документ недействителен.

— Почему?

— Я распоряжаюсь средствами только по указанию Москвы.

— Но ведь областной Совет действует по распоряжению ВЦИКа.

— Мне это неизвестно.

— Отказываетесь выдать деньги?

Директор пожал плечами. Ребров вышел. Через несколько минут он вернулся в кабинет в сопровождении Запрягаева. Из соседней комнаты послышался дружный топот сапог.

— Где кладовая? — спросил Ребров, подходя к директору.

— Веди в кладовую, старое чучело! — крикнул Запрягаев.

Директор тяжело оперся на стол, поднялся и пошел к двери. Они прошли по каменной лестнице в полуподвальное помещение. У железных дверей, выкрашенных в зеленый цвет, их встретил дряхлый банковский сторож с огромным смит-вессоном на красном шнуре через плечо.

— Открывай! — снова крикнул директору Запрягаев, срывая деревяшку с сургучной печатью.

— У меня нет ключа, — прохрипел директор. — Ключи у Сергея Сергеевича, у главного бухгалтера.

— Подавай сюда бухгалтера! — сказал Запрягаев.

Тяжело отдуваясь, явился главный бухгалтер. Дрожащими руками снял он тяжелый висячий замок, потом открыл внутренний замок и с трудом распахнул зеленые двери. За первыми дверями оказались вторые, решетчатые.

Новые три ключа открыли решетку, и все вошли под низкие сводчатые потолки кладовой Сибирского банка.

По стенам на длинных полках, похожих на книжные, лежали толстые пачки, перехваченные бумажными ленточками крест-накрест.

— Как в типографии, — удивился один из дружинников.

— А это что? — спросил Запрягаев директора, указывая на гладкую стену кладовой, из которой торчали металлические ручки, похожие на ручку дверного звонка.

— Сейфы, — ответил главный бухгалтер.

— Открыть!

Дружинники стали выносить пачки денег, сваливая их без счета в холщовые мешки. Ребров подошел к сейфам. В них было пусто.

— Где же ценности? — спросил он директора.

— На-ци-о-на-лизированы.

— Но где они?

— Вон в том несгораемом ящике, — указал директор на небольшой квадратный ящик, стоявший на полу.

— Откройте!

— Ключей нет.

— Как нет?

— Они в Государственном банке.

— А дубликаты?

— Затеряны.

— Затеряны? — переспросил Ребров. — Арестовать! — крикнул он дружинникам, и перед глазами директора выросли две винтовки.

— Господин комиссар! — жалобно сказал директор, но закашлялся и смолк. Его крахмальный воротник сбился набок, манишка топорщилась, он съежился и стал меньше ростом. Дружинники быстро вывели его из кладовой.

— Дьяволы, — ругался Ребров, — саботажники! Теперь таскайся с железным ящиком...

— Зачем? — перебил его Запрягаев. — Сейчас откупорим. Эй, кто там! — крикнул он оставшимся в кладовой дружинникам. — Тащи дрель. Да пошарьте наверху, нет ли зонта.

Главный бухгалтер с изумлением взглянул на Запрягаева.

— Зачем вам зонт? — спросил он.

— Увидишь, — ответил Запрягаев, плюнул на руки, потер их о свои засаленные штаны и, подойдя к ящику, вдруг нагнулся и тяжело приподнял его.

— Посторонись! — крикнул он бухгалтеру и поставил шкаф в нишу замком к стене.

— Восемнадцать пудов, — с ужасом прошептал бухгалтер.

Дружинники вернулись с дрелью и дамским кружевным зонтиком. Запрягаев схватил дрель, приставил к задней стенке несгораемого шкафа, надавил грудью. Сверло запело и врезалось в сталь. Через пять минут небольшое отверстие было готово. Запрягаев своими твердыми черными руками разорвал шелк, вырвал из кружев зонта тонкую упругую спицу, сунул в отверстие и ковырнул несколько раз. Потом снова взялся обеими руками за ящик и осторожно поставил его на пол. Толстая дверца легко приоткрылась.

— Готово, — сказал он, вытирая рукавом со лба пот.

Ящик был набит драгоценными камнями и золотыми монетами.

Скоро все было погружено, и Ребров с отрядом уехал из банка.

Главный бухгалтер выбежал из кладовой и бросился к телефону.

— Петра Ивановича арестовали, — глухо сказал он в трубку, — большевики падают. Деньги увозят, делить будут. Сейчас к вам приедет комиссар.

Когда Ребров приехал в Русско-азиатский банк, там денег оказалось совсем мало: правление банка успело выдать служащим жалованье за шесть месяцев вперед.

— Назвонили, шкурники, на весь город, — сказал Ребров Запрягаеву. — Теперь придется расхлебывать. Ты держи ухо востро. Поезжай на товарный двор. Выставь оцепление, а на крышу американского вагона посади парня, чтобы смотрел по сторонам. Ворота товарного закрой и часового поставь. Боюсь, чтобы в городе буза не началась. Я еще съезжу в последний банк, а оттуда прямо на вокзал.

Длинный июньский день уже давно кончился. Стемнело. Только в вышине тускло блестел купол Вознесенского собора. Голованов все не приезжал. Ребров в раздумье шагал по платформе. В десятый раз он подходил к прицепленному, тихо фыркавшему паровозу Н-216.

Около паровоза возился маленький юркий человек с рас-

косыми глазами. Он держал в одной руке масленку, а другой бережно вытирал могучий шатун.

— Краснопёров, сколько в среднем в час можешь идти?

— Семьдесят пять.

— А долго можешь держать такой ход?

— Покуда не свалюсь, — ответил Краснопёров и юркнул куда-то под паровоз.

— Не бойсь, — сказал Реброву измазанный сажей человек, смотревший из окна паровоза, — наш косой как схватит, так уж поволокет. Только вот скорей бы отправляли. В депе ребята бузить собрались. Еще задержат.

Ребров невольно подумал: «Не потому ли и задержка произошла, что где-то в депо бузят?»

На крыше американского товарного вагона, вдоль железного поручня, по длинному деревянному настилу шагал часовой-дружинник, поглядывая с высоты по сторонам. Как бы в ответ на догадку Реброва, он неожиданно остановился и стал внимательно смотреть в одну из улиц.

— Товарищ Ребров! Какие-то люди идут; кажись, с винтовками.

Ребров схватил бинокль и полез по железной лесенке к часовому. Посмотрел на улицу. Посреди дороги шел, подымая пыль, вооруженный отряд. Ребров спустился на платформу и свистнул. Из вагона выскочили дружинники и столпились вокруг него.

— Восемь человек к воротам! Запрягаев, веди! Остальные — вокруг состава. На площадках — приготовь пулеметы!

Все заняли свои места. Запрягаев пошел к воротам. Воздвиженский с маузером в руках бегал возле вагона.

— Огонь по ним! Огонь! — кричал он.

— Да подожди ты, — сказал Ребров, — узнай, в чем дело.

— Товарищ Ребров! — вновь крикнул часовой. — К воротам подходят.

Через несколько минут вооруженный человек в тужурке с блестящими пуговицами, по виду конторщик или кладовщик, стоял перед Ребровым.

— Я делегат железиодорожииков, и мы требуем, — иачал ои, косо посматривая иа торчавшее с площадки дуло пулемета, — мы просим, чтобы вы иикуда сегодия ие отправлялись. Сообщите, что за груз вы везете.

— А если ие сообщу?

— Тогда мы прииуждеиы будем задержать вас. Мы от комитета.

— Чего проще, — сказал Ребров, — так вы и сделайте. А пока передай своему комитету, что если кто подойдет близко к товарному двору, я дам две пулеметиые очереди. Если иужиы справки, обратитесь в областиой Совет к товарищу Голованову. Ну, иди, да ие возвращайся!

Делегат молча пошел к воротам. За воротами загалдели, ио скоро затихли. Дружииники разошлись по вагоиам.

Через полчаса верхом иа лошади въехал во двор запыхавшийся Головаиов. За иим скакал иачальиик гарнизоиа Долов. Оии привязали лошадей и вошли в вагои.

— Не мог раиьше, — сказал Голованов Реброву в купе. — Наделали мы с тобой делов. В городе паника, везде кричат: «Большевики падают — деиьги увозят». А тут еще эсеры железиодорожный комитет иа выступлеиие подбивают, того и гляди делегатов пришлют...

— Присылали уже, — ответил Ребров.

— Тогда иемедлеиио выезжай, а то будет поздио.

— А маршрут?

— Сперва иа Невьяиск — Пермь по гориозаводской. Это, кажись, безопасией. Верио, товарищ Долов? — повериулся Головаиов к иачальиику гарнизоиа.

— Так точио. Чехи вот-вот выйдут иа главиую — по ней опасией, — подтвердил Долов.

— А там в Москву, — продолжал Головаиов. — До Вятки спокойио, а дальше осторожией, в Мурмаиске высажеи аиглофраицузский десаит. Могут ударить иа Вологду. Что это?.. Слышишь?

— Тревога!

— Долов, скачн узиай, в чем дело! — крикиул Головаиов.
Долов побежал к коню.

Ребров и Головаиов выскочили иа платформу. Далеко, у пассажирского вокзала, тревожио гуделн гудкн железиодорожиых мастерских. К ним присоедииились гудки паровозов. Заревели вниный и дрожжевой заводы в городе. Длиииые, заунывиые свнстки с короткимн перерывами. Сомнений быть ие могло: железнодорожники созывают свой отряд.

— Егорыч, — тнхо сказал Ребров, — а ведь лучше нам ехать не иа Невьяиск, а по главиой. Кстати, не нравится мие этот твой офицер, — указал он на скакавшего вдалн Долова. — Мимо чехов-то мы авось проскочим, а по горнозаводской больше опасиых мест. Не попасть бы в ловушку к эсерам.

— Пожалуй, ты прав, — после минутного раздумья сказал Голованов. — Мениий маршрут. Я буду знать один. Не попадешь в Москву — спрячь золото в Кизеловском райоие, а сам спешн сюда иазад. Ну, двигай, — и он пожал Реброву руку.

Онн побежалн к паровозу. Ребров протяиул жезл:

— Красиоперов! Едем! Держи путевку. Сквозная по главиой.

Мягко сиялся с места и двииулся вперед в неизвестиость поезд с золотом. Звуки паровозиых гудков все шнре и шнре расползалнсь над городом, а поезд развнвал предельиую скорость. Золотой запас мчался дальше н дальше по главиой в Москву.

В Невьянске в комиате дежурного сндят штатскне людн с маузерами иа боку. Одии нз инх, высокий, с черной окладнстой бородой и золотыми зубами, баснт в телефонную трубку:

— К черту. Бросьте заннматься мелочами. Здесь полмиллиардом пахиет. Шлите иемедлеино отряд ко мие на вокзал. Поезд подходнт.

Чериый броснл трубку и перебежал к другому телефону:

— У семафора?.. Не пропускать назад, если попробует удрать! Переведите стрелки, как только пройдет.

— На перрон! — закричал он людям, сидевшим на деревянном диване. — Подходит!

Люди с маузерами вышли из комнаты. Из зала третьего класса высыпала толпа вооруженных мужиков.

На заводской дороге, по ту сторону полотна, послышался дробный топот сапог, смутный говор людей, задребезжало и залязгало железо, словно там перекатывали железнодорожные тележки на чугунных колесиках. На минуту шум затих. Послышалась команда:

— Разомкнись! Ложись!

Защелкали затворы винтовок. Снова покатили куда-то чугунную тележку.

— Тарабукин! — прокричал голос из темноты.

Чернобородый с фонарем в руке подбежал с краю перрона и, приставив ко рту полусогнутую ладонь, крикнул:

— Как подойдет — по крыше!

— Ладно, — ответил голос, и за полотном все стихло.

Вооруженные люди на перроне кучками попрятались за скамьи, за ларек, за керосиновый бак, за изгородь станционного садика.

Далеко за станцией зеленый фонарик семафора висел высоко в воздухе. Отдаленный шум скатывающегося с горы поезда донесся до слуха и затих. Зашумело ближе. Сперва запели, потом задрожали мелкой дрожью рельсы. Из-за поворота вылетели две ярких точки и понеслись на семафор. На платформе вдруг стало светлее.

— Тра-та-та!.. — неожиданно ворвался в шипение паровоза пулемет. На паровозе затормозили. Страшный толчок потряс вагоны. Посыпались вылетевшие из рам стекла. Из окон раздались голоса:

— Спасите!

С подножек прыгали полураздетые пассажиры: мужчины, женщины с детьми на руках. Сбились в кучу.

— Ракету! — крикнул Тарабукин.

Сзади треснул выстрел. Зеленой змеей взвилась в небо

ракета и рассыпалась над пассажирами. Со всех сторон бежали вооруженные люди, сжимая поезд в кольцо.

Рядом с Тарабукиным бежал здоровенный парень в войлочной шляпе. Винтовка казалась игрушечной в его узловатых руках. Брюки навыпуск смешно раздувались клешем, когда он большими прыжками перескакнвал через железнодорожную колею.

— Масло с яйцами! — ругался он, разглядывая выскочивших пассажиров. — У комиссаров бабы золото возят!

Тарабукин на бегу наткнулся на какую-то мягкую кучу. Он поднял фонарь и увидел на земле женщину. Она лежала, раскинув руки, а около нее жались притихшие в испуге ребятишки.

— По местам! В вагоны! — закричал Тарабукин, размахивая маузером.

Пассажиров загнали в вагоны.

— Что за поезд? Где золото? — снова кричал Тарабукин, хватая главного кондуктора за шиворот.

Толстый кондуктор в испуге спрятал голову в плечи и забормотал:

— Почтовый уральский...

— Где комиссар поезда? — взревел Тарабукин, замахиваясь рукояткой маузера.

— Комиссар?— лепетал главный. — Комиссар в вагоне иомер два, третье купе.

— За мной! — бросился ко второму вагону Тарабукин, оттолкнув кондуктора.

Малый в войлочной шляпе в два прыжка обогнал его н первым заскочил в вагон.

— Эй, выходи! — толкнул он ногой дверь купе, не решаясь открыть ее. — Хуже будет. Выходи! Масло с яйцами!

Тарабукин тихонько подкрался с противоположной стороны коридорчика, осторожно дернул дверь за ручку н отскочил в сторону.

Дверь открылась: на нижней полке спокойно сидел полный пожилой человек в очках — волосы бобриком.

— В чем дело? — спроснл он.

— Сдавайтесь! Застрелю! Ты Ребров? — заорал парень в шляпе.

— Ты комиссар золотого поезда?! — закрнчал Тарабукнн, подняв маузер.

Полный человек улыбиулся, вынул из кармана бумажннк н протянул Тарабукину удостоверенне.

Удостоверение

Предъявитель сего т. Нечаев Александр Васильевич комаидируется Областным Советом в Нижие-Тагнльский, Чусовской и Киэеловский районы по делам Областного Совета. Всем советским организациям предписывается оказывать т. Нечаеву всяческое содействие.

Председ. Обл. Совета *Голованов*

— Не тот, сволочь! — выругался Тарабукин. — Прохлопалн полмнллнарда. Говорнл: узиайте точно, здесь лн поедут. «Здесь, здесь...» Теперь онн уже по главной, наверное, за Каму перемахнули.

— Так мы прн чем тут? — оправдывался парень в шляпе. — Телеграфнровал нз Таватуя начальинк станцнн, ему нз Екатернйбурга свой человек сообщнл...

— Свой человек, — передразннл Тарабукин. — Дурак, а не свой человек. Губошлепы! Надо по лннии дать знать, чтобы ловнлн. — Тарабукин захлопнул дверь купе н повернулся к выходу.

— А этого куда, комнссара? — спроснл парень, указывая на дверь купе.

— Всех советскнх в штаб, в завод, — распоряднлся Тарабукнн н нсчез в дверях вагона.

Нечаева вывели иа платформу. Из другнх вагонов к нему прнсоеднннлн еще несколько человек. Парень в шляпе крнкнул кому-то:

— Давай охраиу!

По платформе бегалн люди, вооружениые старниимн берданкамн, палашамн н пнстолетамн, будто кто-то раздавал

тут оружие нз музея. Через иесколько мннут к арестоваиным подошел небольшой отряд столь же странно вооруженных людей, н процессня двннулась. Конвойные гналн арестованных по булыжинкам заводского тракта. Сутолока станцнн сменилась ночной тишииой. Невьянская башня, иаклоннвшаяся набок, темиела вдали.

Шлн долго н медленно, пока ие показался большой двухэтажный деревянный дом. Арестоваиных ввелн во двор, крытый навесом, потом в темную комиату.

— Ну, вы, масло с яйцами! Сндеть спокойно, — сказал старшнй конвонр и замкнул дверь.

— Так. Попалн к эсерам в гостн, — сказал Нечаев. — Ну, ребята, утром вйднее будет. А пока ложнсь спать. Чего зря нервы трепать. — Мннуту спустя он забормотал: — Вот лешне! Очкн мон забрали — ни черта не вижу.

Арестованные леглн, ио инкто ие мог засиуть до утра.

Светало, когда из Невьянска длниой колонной уходнлн в леса пестро одетые н разнокалнберно вооруженные людн. Это отступали правые эсеры.

С двух сторон дорогн от временн до времени словно откупорнвалнсь гнгантскне бутылкн — это ухалн пушкн броневнков. В двухэтажном доме у Невьянского завода арестованные чутко прнслушнвалнсь к звукам пальбы. Онн ие знали, радоваться лн нм нлн ждать смертн.

— Эй, вы, масло с яйцами, — вдруг прокрнчал в окно знакомый голос. — Держн гостннцы!

В тот же мнг со звоном посыпалнсь осколкн оконного стекла. Что-то тяжелое влетело н с шнпом покатнлось по полу. Через мгновенне ударнл внхрь н задрожалн стены. Взрыв! Все, кто был в комнате, упалн на пол.

Нечаев поднялся первым, броснлся к окну н выглянул наружу. Пустынные улнцы упнралнсь в поле. Ставни соседннх домов былн закрыты наглухо. Где-то тявкалн собаки. Нн одной живой душн не было вндно. Нечаев, несмотря иа свою грузность, легко спрыгнул на деревянный тротуар. Добежал

до первого перекрестка — там было так же пустынно, как и на других улицах. Он вернулся обратно.

— Ребята, утекли эсеры. А ну-ка, кто ранен?

Осмотрели друг друга. У одного оказалась расцарапанной щека. Другой держался за ухо. Никто серьезно не пострадал.

— А бомбы-то у эсеров никудышные. Сами состряпали, наверно, — засмеялся Нечаев.

С высокого Уральского хребта поезд Реброва стремительно падает вниз. Красноперов держит предельный ход. На крутых поворотах по склонам хребта кажется, что поезд сломается пополам. Стекла пассажирских вагонов не выдерживают и в двух купе уже разбиты вдребезги. Мелькают хмурые тени станций и разъездов. Луна прыгает в клубах дыма, перелетая с одной стороны поезда на другую. На площадках классных вагонов пулеметы, как живые, с любопытством подняли свои узкие мордочки кверху. Часовые стоят без винтовок, с наганами на боку. С грохотом проносится мимо сероватой тенью камский мост. За Камой ровный железнодорожный путь, и еще быстрей мчится золотой поезд. Красноперова после двенадцатичасового пути сменяет его помощник.

— Веди спокойно, — хрипло говорит Красноперов, стирая со лба черный пот. — Здесь путь хороший. Воду бери только на маленьких станциях, там меньше народа. Большие станции веди сквозным, чтобы никто не подсел.

Ближе к Вятке почти на каждой станции железнодорожники задерживают поезд.

— Одноколейная дорога, ничего не поделаешь, — говорят железнодорожники.

Но дело не в одноколейной дороге, а в том, что в железнодорожных комитетах сидят эсеры.

— Впереди встречный,— заявляет начальник станции, — придется подождать.

Даже у честного железнодорожника так устроена голова, что он больше всего думает, как бы замедлить движение. Скучно жить на полустанке за сотни верст от городов. Мо-

жет быть, поэтому он и задерживает у себя иа станции пассажирские поезда, которые мелькают перед ним, как интересная кинолента.

Ребров бежит со своим кольтом в дежурную комнату. За ним Воздвиженский и морзист из отряда.

— Встречный, говоришь? А о нас имел извещение? Почему не задержал его? Ну-ка, постучи — узиай, в чем дело? — Морзист играет дробь ручкой аппарата. По белой ленте ползут тире и точки. Никакого встречного нет.

Воздвиженский выскакивает вперед:

— Безобразие! — кричит он и стучит кулаком в стол. — Я телеграфирую в железком.

Железнодорожиик молчит.

— Ты, мерзавец, обмаиывать! — говорит Ребров. — Возиться некогда! Передай по линии, что за следующую задержку — к стенке.

Паровоз, устало отдуваясь, тяиет хоботом воду. Дышат паром цилиндры. Одинокий полустанок прячется в тополях. Деревья тревожно шепчутся.

Из-за водокачки вышли два страиника, заросшие волосами, в домотканых коричневых зипуиах, с палками в руках, и, оглянувшись, побежали к поезду.

— Эй, товарищ! — крикнули они бородатому дружиннику, который выскочил из вагона с чайником. — Дозвольте на машину сесть?

— Неможио, — степенно ответил дружиииник.

— Пошто, родной? Одии перегон нам.

— Поезд государствениый. Неможио, — повторил дружиииник, подставляя чайник под кран.

— Белозипуиников, назад! — закричал высунувшийся в окно Запрягаев.

Дружинник вздрогнул, опрометью бросился в вагон, разливая на бегу кипяток.

Сереет. В мимо летящих лесах мутиая ночь. Часовых на площадках ие разглядишь. Дружиииики спят иа полках в

одежде, только немногие сняли обмотки и башмаки. Задний вагон бросает из стороны в сторону. Там разместились левые эсеры.

Воздвиженский сидит в купе у Реброва и Запрягаева. Горит на столе огарок свечи.

— Читали? — спрашивает Воздвиженский Запрягаева и тычет пальцем в газету.

— Что?

— Немцы грабят Украину. Брест-Литовский мир не спасет Россию. Драться надо!

— В самом деле? А мы не знали. Погибели Советов хочешь?

— Мы заранее отдали себя в жертву. Лучше погибнуть...

— Чего ж ты не гиб? — захохотал Запрягаев.

— И погибнем! — крикнул Воздвиженский и быстро вышел из купе.

— Загадки загадывают? — спросил Запрягаев Реброва.

— Эсеров не знаешь?!

— И то. Они хоть и левые, а от правых не отличишь. — Запрягаев хмурится: — Слушай, Борис, на последнем полустанке около поезда что-то очень близко вертелись два мужика. Подозрительные. Не прохлопали бы ушами эти пустозвоны.

— Поставь дежурить всех своих. Да пойдем осмотрим поезд, — сказал, вставая, Ребров.

В узком коридорчике вагона их качнуло и стало бросать от стенки к стенке.

— Ну и прет, — сказал Запрягаев, на секунду теряя равновесие и налетая грудью на боковую стенку.

Они прошли первый вагон. Все было на месте. Часовые не дремали. Запрягаев выглянул в окно. Поезд круто поворачивал, не сбавляя хода. Сквозь серую мглу северной ночи между третьим и задним вагонами что-то черное мелькнуло и исчезло за вагоном. На мгновение Запрягаеву показалось, что кто-то с буферов пытается перебраться на подножку последнего вагона. Ничего не говоря, он бросился к заднему

вагону. Тнхонько подошел к часовому, взглянул сквозь стекло тамбура. На квадратной скобе около муфты левого буфера можно было ясно разглядеть ременную петлю, уходившую под вагон...

— Держи меня за иоги, — прокрнчал иа ухо часовому Запрягаев. Затем встал иа коленн и тихонько открыл дверь. Лег, подался немного вперед, загляиул с левой стороны под ступеньку н невольно откииулся: под вагоном висел на ремне человек в зипуне. В руке человека что-то блеснуло. Запрягаев выстрелнл. Человек, выпустнв ремень, полетел под колеса.

— Ты чего смотрел? — налетел Запрягаев на часового. — У тебя нз-под носа хоть пулемет унеси. Забыл, что везешь? Ступай в купе — здесь место другому.

Ребров, встревоженый долгим отсутствием Запрягаева, вместе с Воздвнжеискнм показался в дверях.

— Что тут у вас?

— Да вот зевает, а тут попутчик под вагоиом прнцепнлся.

— Где, где? — схватнлся Воздвнженскнй за рукоятку маузера.

— Да теперь-то его нет, — сказал Запрягаев. — Спрыгнул.

— Твон прохлопали, — повернулся к Воздвнженскому Ребров, — подтянн. На стаицнях разговарнвают, прнвлекают вннмание.

— Э, плюньте, Ребров: что нз-за пустяков шуметь. Ну, поговорилн ребята, что нз того? Дело не в вашей днсцнплине, а в революцнонном самосознаннн...

— Ну, еслн ты так рассуждаешь, то иапрасно я с тобой болтаю, — сказал Ребров. — С сегодняшнего дня в резерве будешь. На постах держать вас не могу.

— Как хочешь,— пробормотал Воздвнжеискнй н скрылся в своем купе.

— Вот шельма! Взять бы его? — посмотрел на Реброва Запрягаев.

— Погодн, до ннх еще дойдет очередь, — ответнл тот.

Все дальше и дальше мчался поезд. Позадн — чехи, на

юге — эсеры, на севере — союзники. Надо спешить в Москву.

Глухие пермские и вятскне леса сменилнсь вологодскими жиденькими березками. Еще шесть часов езды — н Ярославль, а за иим и Москва.

Последняя остаиовка перед Ярославлем — Буй.

Белый вокзал виден издалека. Через мниуту Ребров ищет начальника станции. В дежуриой комиате никого не видно. Напротив — комиата с иаклейкой:

КОМЕНДАНТ

Комеидаит, иизко иагиувшись иад столом, о чем-то совещается с начальииком стаиции.

— Что угодио?

— Путевку.

— Куда?

— В Москву.

— Сейчас запросим. Подождите минуту.

Мииута длится долго. Подозрнтельная тншина на станцин. Против обыкновеиия ие слышио обычных звоикнх крнков буйских продавцов: «Сыра, сыра! Кому сыра?» Ребров сиова у комендаита:

— Скоро ли путевка?

— А вот Вологда передает. Чнтайте.

Морзист читает: «В Ярославле бой с эсерами...»

Ребров вскакивает.

— Давай путевку обратио.

— Подождите минутку, — все тот же спокойиый ответ.

В сосиовом бору у вокзала и иа запасных путях копошатся люди, как будто готовятся к чему-то. Комендаит иесколько раз обходит с обеих сторои состав.

— Когда же, иакоиец, ваша миiута кончнтся? — крнчнт Ребров в комеидаитской. — Еслн мие ие дадут сейчас путевку, я еду без нее.

— Подождите мннутку, — успокаивает комеидант.

Ребров бежит к паровозу.

— Красиоперов, иазад!

Два дружинника едут с ним на паровозе к железному кругу. Дружинники соскакивают и поворачивают круг. Через минуту паровоз мчится опять к вагонам. Толчок, лязг цепей — и золотой поезд без путевки срывается с места.

Красная шапка коменданта мелькает на лесенке вокзала.

— Подождите минутку! Впереди встречный! — кричит он и машет красным флагом.

Но его уже не слышно.

Узкой лесной просекой бегут блестящие рельсы. Может быть, действительно там — впереди, за первым поворотом, прямо на золотой поезд несется встречный. Красноперов почти вылезает из окна, всматривается вдаль.

Паровоз свистит весь перегон, не переставая. Во всех вагонах, держась за рукоятки тормозов, стоят наготове дружинники. При первой тревоге тормоза железными лапами схватят колеса, и поезд замрет на месте. Двадцать минут напряженного ожидания, и сигнальные столбы разъезда благополучно приближаются к поезду.

Золотой поезд оказался в кольце врагов.

Ребров стоит у окна и смотрит, как несутся мимо красные выемки вятских глинистых полей. К нему подходит Запрягаев. Он угрюм и серьезен.

— Назад, Борис? Убережем ли груз? Где выход?

— Назад, друг. Проскочим в Пермь и спрячем зс у себя, на Урале.

Весть об этом в продолжение двух суток неизвестно куда летящем поезде, с неизвестным грузом, с неизвестными людьми, дошла до главного московского железнодорожного комитета. Враги подсунули телеграмму:

Неизвестный поезд с четырьмя вагонами и вооруженной охраной пробовал прорваться в Ярославль к восставшим. Своевременно принятыми мерами воспрепятствовали этому. Поезд задержать не удалось — вышел на Вятку.

Комендант станции Буй Гусаров

Начальник станции Вятка в тужурке со светлыми пуговицами и малиновым кантом склонился над столом, второй раз перечитывая телеграмму Главжелезкома:

> Немедленно задержите неизвестный поезд, четыре вагона. Железнодорожной охране — разоружить команду, арестовать комиссара. Весь захваченный груз передать на железнодорожные склады для нужд вашей дороги.
>
> Предс. Главжелезкома Подольский

— Хорошо написано, — пробормотал начальник в опущенные усы. — Попробуй, задержи! — и побрел в комнату коменданта. Комендант станции приказал положить на рельсы петарды и выкатил на запасный путь бронированную площадку.

Вот и поезд. Состав — четыре вагона. Тот самый. Вот он проходит на полном ходу семафор. Одна за другой с треском разорвались петарды. Машинист высунулся из окна. Бесшумно упал и исчез под паровозом красный заградительный круг на шесте. Испуганно отскочил стрелочник от рычага стрелки, когда состав пронесся мимо. Он первый раз видел, чтобы поезд полным ходом шел по заградительным сигналам.

Когда поезд проносился мимо станции, Ребров прокричал коменданту:

— Задержи встречные поезда. Открою пулеметную...

Комендант побежал за поездом, что-то крича. Ветер уносил его крики. Выходной семафор медленно поднимался кверху.

— Путь свободен! — толкнул Красноперов своего помощника, указывая на семафор. — Поднимай пар.

Четыреста пятьдесят верст от Вятки до Перми. Недалек путь. Гуще лес. Реже поля и деревни. Ребров смотрит в окно. В глаза ему бьет ветер. Стелется дым к телеграфной проволоке, клочками застревает на верхушках елок. Горько-сладким дымком ударило в нос.

— Что это? — спохватился вдруг Ребров. — Пахнет горелым.

Запрягаев выскочил в нижней рубашке с всклокоченными волосами.

— Горит, — подтвердил он, высунувшись в окно.

Сильней и сильней запах. Вот уже вдалеке молочный туман. Он стелется и скрывает подножие деревьев, потом сгущается и поднимается выше, наконец деревья исчезают в светлом водянистом дыму.

— Лесной пожар, — шепчут дружинники.

— Кто поджег?

— Целы ли деревянные мосты?

— В Вятке не задержали... Не нарочно ли?

Несколько часов ведет в дыму локомотив Красноперов. Еще гуще становится дым. Он поднимается прямо с земли, и похоже, что горит не лес, а земля. Уже кашляют от дыма дружинники. Трут глаза. Из окон не видно последнего вагона. Молочно-клубящаяся пелена застилает все.

Воздвиженский на паровозе у Красноперова.

— За мосты не боишься? — спрашивает он его.

— Чё им сдеется? — отвечает за Красноперова его помощник.

— На полотне трава не растет, — говорит Красноперов, — огню не по чему до мостов добраться.

— А если подожжены нарочно? — не унимался Воздвиженский.

— А если ночью рельс отворотят? — сердито спросил в ответ Красноперов и открыл дверцу топки котла, с лязгом ударившуюся о стенку.

— Давай, Спирька, — сказал он помощнику и, схватив лопату, начал вместе с ним подбрасывать в топку лоснящийся, тяжелый уголь.

На высоком берегу Камы расположилась маленькая, спокойная Пермь. Рядом с ней, сливаясь с городом, по излучине реки, у самой воды, правильным амфитеатром раскинулся Мотовилихинский пушечный завод.

Деиь н ночь дымит Мотовилиха. В три смены работает круглые суткн. Льются и выковываются оруднйные тела, броневые плиты, точатся десятки тысяч снарядов. Железнодорожные мастерские вот уже полгода снаряжают бронепоезда и бронеплощадки, судостроительиые верфи бронируют речной флот, а мелкне мастерские точат ружейные патроны.

Уральские красногвардейцы дрались недавио в Финляндии против немцев и белого генерала Маннергейма, в оренбургских степях — против атамана Дутова, а теперь дерутся с чехословаками. Миого тратится боевых припасов, н безостаиовочно дымят уральские заводы.

Тридцать тысяч рабочих живет в Мотовилихе. Сквозь дымовую завесу не видио завода, и только пробная орудийная стрельба да удары парового многотысячного молота тяжелыми вздохамн доносятся от реки. Время от времени ревут тревожные гудки, созывая отряды для спешной облавы нли ночной проверки, и тогда выскакивают из своих домишек красногвардейцы и скатываются вниз по перилам бесконечных деревянных лестниц к своему штабу. Оттуда комнссары ведут их на железнодорожную станцию нли в заснувший город. А то приходится перебрасываться на платформах и в теплушках в крестьянские уезды, где кулаки и эсеры свили свои гнезда. В южных уездах еще нет Советской власти.

Медленно вверх по Каме двнгаются на последний революционный оплот белые армии. Каждый день по нескольку эшелонов Красной Армни отправляются из Пермн на фронт. Но сужается кольцо врагов. Судьба Екатеринбурга решится в течение блнжайших дней. Перед врагом вырастает Пермь — ближайший плацдарм красных.

На рассвете поезд влетел под вокзальный свод и замер у станции. Несколько человек с мешкамн и котомками за плечами броснлись к подножкам вагонов.

— Чепляйсь, Ванько, подсоби с мешкам-то...

— Назад! — проревел Запрягаев, грозя высуиутой в окио рукой.

Ошарашенные мешочннки отскочили. Несколько мниут спустя поезд, вместо того чтобы двннуться дальше, перевелся на запасные путн и, обойдя два-трн красиоармейскнх эшелона, готовых двннуться в путь, скромно остановнлся за блестящнм составом реввоенсоветского поезда.

— Смотрн, — указал Запрягаев Реброву на соседей, — у ннх н броневичкн с собой. Виднשь — на площадках. Приятно путешествуют...

— Да, полезные нгрушкн, с ннмн куда спокойней. Я еду сейчас к комиссару города. Цеииостн сегодня перегрузнм. А ты под какнм-нибудь предлогом уведн левых эсеров до двух часов дня.

— Ладно, пойду с ннмн рвать ручные граиаты...

Ребров поднял комнссара с постелн. Пошли вместе в комнссарнат.

— Счастливо утёк, — сказал комнссар на ходу. — Немного опоздай, онн бы в Вятке тебя захватнлн.

— Кто? За что?

— Да разве ты ие знаешь, что Москва приказала тебя задержать? Наверное, эсеры постаралнсь. Вот у меия с собой телеграмма.

Ребров прочел н усмехнулся.

Комнссариат помещался в бывшей духовной семннарнн. Огромное зданне ее одниоко стояло на крутом берегу Камы.

— Я тебе здесь и отведу помещеиие, тут сухо и хорошо, — сказал комнссар.

— Надеешься на свонх ребят?

— А то как же?

— Напасть ннкто не может? Эсеры?

— До чехов далеко. А этн ие посмеют.

— Тогда давай машнны, я еду на вокзал за золотом, — сказал Ребров.

Через полчаса Ребров был на стаицни. Золотой поезд охранялн дружннннкн-большевики. Запрягаев исполннл обещаине и увел Воздвнженского н его отряд на стрельбу.

— Наваливай, ребята, мешки, — поторапливал Ребров, — надо успеть, пока эсеры не вернулись.

Когда Запрягаев привел со стрельбы левоэсеровских дружинников, поезд стоял на том же месте, и его по-прежнему охраняли часовые. Как ни в чем не бывало, Запрягаев дружелюбно сказал Воздвиженскому:

— Вот мы и дома. Отдохнем немного, измучились ребята. Давай-ка, брат, сегодня и твоих поставим в наряд.

— Давно пора, — немного обиженно ответил Воздвиженский.

С необычайным для них усердием взялись теперь эсеровские дружинники за караульную службу. Урок Реброва, видимо, не прошел даром для Воздвиженского. Он подтянул туже ремень, повесил на нем кобуру с револьвером и почти каждые полчаса обходил весь состав, делая замечания часовым.

— Старается, — смеялся Запрягаев, глядя на Воздвиженского и весело подмигивая Реброву.

— Зайди ко мне, — позвал его из своего купе Ребров. Он плотно притворил дверь, сел рядом с Запрягаевым и сказал: — Слушай, я говорил по проводу с Головановым — деньги мы оставим в Перми. Золото решено спрятать в Кизеловском районе в шахтах. Завтра утром я еду в Кизел. Ты останешься здесь, чтобы наш отъезд был не так заметен.

— Нашел для меня дело! — сказал Запрягаев.

— Потерпи. Теперь для нас выгодно, чтобы поезд был на виду. Собьем со следа. Ты выставь внешние караулы, делай вид, что в поезде по-прежнему находится золото.

— Значит, завтра ты снова в путь? — спросил Запрягаев.

— Да.

— А что с эсерами?

— Воздвиженского без меня не трогай, пусть пофорсит. Пустые вагоны могут стеречь и эсеры...

Впервые за трое суток отдыхали дружинники. Одни отсыпались за бессонные ночи, другие строчили письма своим в

Екатеринбург. Был теплый летний вечер. Запрягаев с тремя ребятами мурлыкал сибирскую песенку:

> В далеком краю за Байкалом,
> Где золото роют в горах,
> Бродяга, судьбу проклиная,
> Тащился с сумой на плечах...

Белозипунников, левый эсер, с рыжеватой бородкой и с нависшими веками, в офицерской фуражке, неведомо где раздобытой, стоит у зеркального стекла вагона и смотрит в далекий лес. В его приземистой фигуре есть что-то похожее на бывшего царя. Вернее, Белозипунников похож на дешевый царский портрет. На нем солдатские обмотки, рваные штаны и башмаки. Но сейчас с платформы видна только верхняя половина его туловища. Офицерская же фуражка, пушистые усы и круглая борода привлекают внимание прохожих.

Мешочники, потерпевшие утром неудачу, в течение всего дня следят за прибывшим поездом.

— Глякося, глякося, Спиридон Вахромеевич, — неужели чаря везут? — с испугом кричит баба с котомкой на спине.

— Чего треплешь? Какой там царь? Шары-то вылупила.

— Да вона. Тамо. Истинный бог — он!

Мешочник, взглянув на Белозипунникова, вздрогнул от неожиданности и сам зашептал бабе:

— И в самом деле он. А ну-ка убирай скорей ноги, старуха.

Через полчаса на станции прошел слух о том, что большевики везут неизвестно куда царя и царскую семью.

Ставни домов закрыты. Калитки замкнуты на крепкие замки. Город крепко спит. Спят караульщики — не слышно их стукалок. Тихо и мертво кругом.

С шумом распахнулись ворота комиссариата. По заснувшей улице защелкали о булыжники мостовой железные подковы. Отряд всадников сломя голову промчался по улице и вмиг оцепил близлежащий квартал.

— Вставай!

— Открывай! — послышались крики всадников и неистовый стук кнутовищами по закрытым дверям и калиткам.

— Спаси, господи! — зашептали за ставнями и зашлепали туфлями.

— Опять облава!

— И все ловят, и все ловят кого-то.

Не одетые, в одном белье, бледные от испуга люди с трудом открывали двери своих душных и тесных домов.

Кавалеристы шумно врывались в квартиры. В затхлых комнатах запахло прелой кожей и лошадиным потом.

— Нет у нас никого. Нету ничего,— жалобно вздыхали хозяева и тащили ключи от сундуков, шкафов и чуланов.

— Кошек!

— Кошек! — кричали кавалеристы обалдевшим и ничего не понимающим хозяевам.

— На кухню!

— На печках! — скомандовал старший и сам принялся обшаривать крашеные деревянные полати, пугая важных усатых тараканов, в панике падающих на пол.

Через минуту в его руках извивалась пестрая кошка. Он опрометью бросился вон из комнаты, опрокинув по дороге табурет со стоявшим на нем тазом. Его товарищи вместе с ним выбежали на улицу и, вскочив на лошадей, понеслись обратно.

— Маруську, Маруську взяли! — пронзительно вдруг закричала хозяйка.

Целый день пришлось пробыть Реброву в городе, и только к часу ночи вернулся он к эшелону. Едва-едва забылся в полусне, как застучали в его купе.

— Ребров, от комиссара нарочный!

— В чем дело?! — вскричал Ребров.

Уже по дороге, в машине, нарочный взволнованно объяснил Реброву, что в городе тревога. Комиссар спешно выехал в комиссарнат.

— Налет? Нападение? — спрашивал Ребров.

— Не знаю. Комиссар вызвал отряд, — рассказывал нарочный.

Здание бывшей семинарии было почти все освещено, когда к нему подъехали Ребров с нарочным.

Комиссар бросился навстречу и потянул Реброва в комнату, где лежали деньги.

— Рви скорей печати!

— Зачем?

— Крысы!

— Какие крысы?

— Крысы едят мешки с деньгами.

— Что ты брешешь?

— Не брешу. Часовой услыхал шум, поднял тревогу, а без тебя войти нельзя. Да двигайся ты скорей! На мне ответственность за их целость!

Ребров сорвал печати и открыл дверь. Схватил первый попавшийся под руку мешок, из-под него выскочила большая рыжая крыса и скрылась под грудой мешков. Все было цело, только один мешок был прогрызен, и радужные бумажки виднелись изнутри.

— Твое счастье. Всего не съели, — засмеялся Ребров. — Хоть крысы, а знают, что жевать.

— Дежурный, кошек! — закричал комиссар.

Дежурный тащил большую бельевую корзину, в ней клубками сидели и мяукали пестрые, серые, черные и рыжие кошки, встревоженные необычайным путешествием.

— Откуда это? — захохотал Ребров.

— Пока тебя ждали, он с отрядом, — махнул комиссар на дежурного, — конфисковал всех кошек у окрестных обывателей.

Если кто-нибудь скажет, что хорошо знает Северный Урал, не верьте ему. Еще много лет географические карты будут обозначать эти места бледными штрихами, без названий, а

многочислеииые н могучие реки будут иамечены иаугад пуиктиром.

Кизеловский угольиый райои — первый подступ к Севериому Уралу и коиечиый пуикт Средиего.

Ребров едет иа паровозе. Сзади — теплушка с грузом и семью товарищами.

Проехали уже Чусовую, и локомотив все чаще и чаще берет высокие подъемы. Лесистые скалы иависли высоко иаверху, обиажая уральские породы; виизу мелькают реки, даже с высоты заметиа быстрота их течеиия. По притокам рек бродят старатели, промывают золотой песок. В этих краях больше медведей, чем людей. Косматые жители лесов ведут жизиь святых схимииков, пнтаясь ежевикой, морошкой, малииой, диким медом.

Трудио человеку жить иа Северном Урале, еще трудией за грош лезть в иедра гор. Здесь можио встретить забитых и обездолеииых осииских татар, башкир и даже китайцев. Только те, кто потерял всякую иадежду иа работу, идут сюда иа заработки.

Одии за другим берет паровоз высокие подъемы. С высоты гор видиеются редкие села и деревии. Частенько в иих попадаются узкие острокоиечиые мечети. На песочных карьерах кричат что-то вслед поезду желтолнцые кнтайцы. Далеко вверху игрушечиый деревяииый домик — стаиция. Кажется, что поезд иикогда ие доберется до иее. Кружит железиодорожный путь. Медлеиио, ио верно пробирается поезд к заброшеииой станции.

Молодой парень с бельмом иа глазу, в русской рубахе встретил Реброва иа вокзале. Это был председатель окружиого комитета Губахин. Он только что вернулся из Екатернибурга и зиал от Головаиова обо всем.

— Благополучио?

— Как видишь. Приготовил? — со своей стороиы спросил Ребров.

— Да. Кое-что тут подыскал. Стемнеет — пойдем, посмотришь.

Через два часа они шли тропинкой по глухому лесу. Ветер шипел в верхушках елей, осыпая сухие иглы, редкие сосны качались и скрипели. В сумерках чаща леса казалась непроходимой.

Ребров ничего не видел впереди и как слепой шел за Губахиным.

— Ну, вот и пришли, — сказал Губахин. — Видишь, это — заброшенная шахта, Княжеской называлась раньше. Тут когда-то была узкоколейка, а потом ее сняли, остались только просека да старые шпалы. Здесь вот спуск, а дальше налево провал саженей на восемь вглубь.

— А по тропинке сколько? — спросил Ребров, входя под деревянный потолок шахты.

— Три версты.

— Далековато...

— Зато лучшего места не найдешь. От этой шахты тянется подземная пещера верст на семь. С одной стороны мы спрячем золото, потом я взорву свод с двух сторон саженей на десять.

— А как же ты выйдешь? — спросил Ребров.

— Есть еще другой выход из пещеры — у десятого разъезда, оттуда и выйду.

После тревожного лесного шума полная тишина окружила Реброва и Губахина. Губахин пошел вперед.

— Я здесь работал когда-то, — сказал он Реброву и, пройдя ощупью шагов двадцать вниз, зажег шахтерскую лампочку. Желтоватое пламя осветило полусгнившие стропила шахты. Кое-где засверкали нависшие капельки воды. Что-то изредка чуть-чуть потрескивало. Очевидно, рассохшиеся скрепы оседали от ветхости. Изредка осыпались струйки земли, и маленькие камешки горохом падали вниз. Оба спутника молчали, их давила тяжесть нависших пластов земли. Вдруг Губахин крепко схватил Реброва за рукав и притянул к себе.

— Оборвешься. Видишь, рядом — провал.

Ребров невольно прижался к Губахину, потом успокоился и, показывая на отверстие, ведущее в пещеру, сказал:

— Еслн тут взорвем, догадаются. Скажут — был проход, а теперь нету.

— Чудак, — усмехнулся Губахнн. — По-твоему, обвалов в шахтах н в пещерах ннкогда не бывает? Кому в голову придет рыть десять саженей землн?

— Ты уверен?

— Уверен.

Глухой ночью, взяв мешкн с золотом, двинулись товарнщн Реброва вслед за Губахнным. Было решено в крайнем случае провозиться и вторую ночь, лншь бы ннкто ннчего не заподозрил. Много раз процессня уходила н возвращалась.

— Все, ну его к черту, — с облегчением вздохнули дружинннки, когда последняя партия золота была брошена в пещеру.

— Ну, выбнрайся, ребята! — сказал Губахнн, поджег шнур н нсчез в глубнне пещеры.

Ребров н дружннннки выбралнсь наружу. Первый взрыв был ясно слышен, как шум подземного обвала, второго взрыва ннкто не расслышал.

— Выберется лн? — подумал вслух про Губахнна однн из дружнннннков.

— Он здесь работал, не беспокойся, — ответил другой.

Ребров с товарищами только что вернулся нз леса, как в тупнк, где стоял нх паровоз, с вокзала прнбежал посланный от комнтета с телеграммой:

Комнссару Реброву. Кнзел

Восстанне подавлено. Путь в Москву свободен. Соблюдая необходнмейшую осторожность, руководитесь первоначальным планом. По лнннн дан приказ всем воннским частям быть в вашем распоряженни.

Головаиов

— Что за чертовщнна! Теперь хоть месяц рой, не выроешь, — сказал Ребров н пошел на телеграф.

На бланке он напнсал только одно слово: «Поздно».

В тот же день маленький состав прнмчался обратно в Пермь. По платформе старого вокзала навстречу поезду бе-

жал Запрягаев. Он на ходу вскочил на тормозную площадку, где стоял Ребров.

— В Москве восстание. Левые эсеры убили Мирбаха. Только сегодня пришли телеграммы... Сегодня ночью здешних разоружат...

— А Воздвиженский?— перебил Ребров.

— Ходит как ни в чем не бывало...

Через два часа Ребров подъехал на извозчике к станции Пермь II. На высокой насыпи, на видном месте, стоял пустой состав золотого поезда. Маленькие издалека солдатики в защитной форме шагали взад и вперед вдоль вагоиов. Это дружинники Воздвиженского продолжали охранять состав. Ребров вошел в купе Воздвиженского. Поздоровался и не торопясь сказал:

— Давай маузер!

Воздвиженскнй взглянул на высокую, спокойную фигуру Реброва, расстегнул кобуру маузера и молча подал револьвер.

— Теперь пойдем к твоим ребятам.

— Хорошо, — ответил Воздвиженский и вместе с Ребровым вышел из купе.

Дружиииники, не сопротивляясь, отдали свон наганы н винтовки.



III

Старинный деревянный домнк на одной нз отдаленных улиц города затерялся средн десятка новых построек, за густыми акацнямн палнсаднnков. Глубокне морщнны-трещнны борозднлн почерневшие от солнца стены дома и крышу. В пазах стен н на деревянных колодках-стоках бархатом зеленел мох.

Недаром этот домик прятался в густой зелени. В нем помещалось секретное закордонное бюро.

Из домика выходили люди, которым бюро давало поручения пробраться в тыл врага. За ставнями день и ночь шла работа: фабриковались документы, паспорта, печати. Здесь можно было получить удостоверение начиная с метрического свидетельства о рождении до пропуска со свежей печатью чехословацкого генерала Гайды.

Мужчины, женщины, иногда целые семьи подготовлялись здесь к опасной задаче: перейти фронт.

Ребров уже две недели живет в Перми. Работы у него много: он успел отправить своих товарищей в Кизеловский район, чтобы они там дождались прихода чехов. В городе остался только Запрягаев. Военные специалисты уверяют, что через две недели белые займут весь Урал. Скоро поедет и Ребров. Там, в тылу чехов, он станет во главе подпольного отряда, чтобы зорко следить за спрятанным золотом.

В последние дни, после отправки дружинников, Ребров редко заглядывал в домик. Но сегодня ему нужно взять документы и двинуться в опасный путь. Ребров хочет перейти к чехам в Екатеринбурге. Так меньше подозрений. Вместе с чехами он войдет в Кизел. Нужно поторопиться: чехи быстро движутся на запад. Не сегодня-завтра падет Екатеринбург, а за ним и весь Урал.

Ребров попал в домик к обеду. За столом сидело человек шесть, двое из них в ближайшие дни готовились перебраться через фронт. Распоряжался всем маленький толстенький человечек, похожий с виду на юркого подрядчика, со странной фамилией Краска. Он подошел к Реброву.

— Когда, Ребров? Сегодня?

— Что сегодня?—недовольно ответил ему вопросом Ребров.

— Едешь, — хитро подмигнул Краска и, улыбнувшись, похвастал: — Мне ведь уже известно.

— Если известно, то и помалкивай, — резко ответил Ребров.

Однако Краску не смутила резкость Реброва. Он только чуть понизил голос:

— Как ехать думаешь? Прямо на Екатеринбург?

— Не зиаю.
— Вдвоем?
— Не знаю, — повторил Ребров и, рывком поднявшись со своего места, пошел к выходу.
— Куда, куда, Ребров? — побежал за ним следом суетливый хозяин домика. — А документы-то, явки... Погоди...
Ребров, не обернувшись, закрыл за собою дверь, оставив у порога изумлеииого Краску.
Ои шел в бывший губернаторский дом, где помещался горком, чтобы предупредить товарищей о своем отъезде. Около самого губернаторского дома неожиданио столкнулся лицом к лицу с Нечаевым.
— Ребров, ты, говорят, едешь? — остановил его тот.
— Да. Пришел предупредить...
— У меня иебольшой план в связн с твоим отъездом.
— Что такое?
— А вот пойдем в горком. Потолкуем.
Они вошлн в длиниые и темные коридоры губернаторского дома. В комнатах справа и слева видиелись стойки с винтовками. На письменных столах спали вооруженные люди. Другие полудремали иа бархатных губернаторских стульях, не обращая внимания на гул людской волны, которая катилась по коридору взад и вперед.
— Сюда, Ребров. — Нечаев открыл первую дверь налево и шагнул в комнату.
Ребров вошел за ним. В комнате у стола сидел Запрягаев, а рядом с ннм девушка. Ребров не видел ее лица н ждал, когда она уйдет, чтобы заговорнть о деле.
— Вы не знакомы? — сказал Нечаев.
Ребров ближе подошел к столу. Девушка повернулась ему иавстречу.
— Ну вот, этому товарищу, — сказал Нечаев, кивнув иа девушку, — до зарезу нужно попасть в Екатеринбург. У нее там больные. Не возьмешь ли с собой, Ребров?
— Я не уверен, что попаду в Екатеринбург, — сухо ответил Ребров. — Знаешь сам, что делается.

— Возьми, Борис, — встал со стула и подошел к Реброву Запрягаев,— мы с ее отцом вместе ссылку отбывали в Туруханске.

— Я готова на все, — сказала девушка.

— Погоди, погоди, Валя, — перебил ее Нечаев, — ты поди к себе, мы здесь потолкуем втроем.

Девушка вышла. Запрягаев зашагал взад и вперед. Ребров только сейчас заметил, что у него на боку висит черная казацкая шашка. Нечаев взъерошил волосы и, посмотрев поверх очков на Реброва, спросил:

— Не хочешь брать? Досадно. Мы рассчитывали, что Шатрова будет полезна в Екатеринбурге.

— Может быть. А если через фронт придется переть? Куда же с этой куклой? Не бросать же ее по дороге?

— Я ее знаю и ручаюсь, — снова сказал Запрягаев.

— Чудак, — продолжал Нечаев, — если не успеешь проскочить в Екатеринбург, с ней только легче будет перейти фронт. Кто подумает, что она большевичка? Кажись, непохожа. Коса до пят и глазки к небу. Возьмешь, Борис?

— Пожалуй, вы и правы, — усмехнулся Ребров, — попробуем. — И, указывая на шашку Запрягаева, спросил у него: — Что это ты нарядился?

— Не знаешь? Военком дивизии, еду на юг. Пожалуй, долгонько не увидим друг друга.

— Золотопогонников крепче бей, тогда увидимся скоро, — пошутил Ребров и стал прощаться.

В двенадцать часов ночи на старом вокзале на дальних путях незаметно остановился одинокий вагон. Высокая солдатская фигура промаячила на подножке, вслед за ней промелькнула фигура поменьше, и двери вагона закрылись на ключ с внутренней стороны.

Несмотря на спешку, Ребров решил отправиться не в двенадцать, а часа в два ночи. Он знал, что все, что делается на станции до последнего момента стоянки поезда, привлекает

внимание железиодорожников. Только с двух до шести утра железнодорожник спнт, а вместе с ннм спит и его железнодорожиое любопытство. Если поезда н отправляются в этот промежуток времени, то лишь по необходимости: дежурный во сне выпнсывает путевку, сцепщик во сне прицепляет паровоз к составу. Ничто не в состоянии нарушить сон железиодорожиика. Ои ко всему прнучеи. Даже в былые эвакуации, под угрозой иаступающих н уходящих броиепоездов, железиодорожный персонал всегда в эти часы спал.

В половнне третьего к одниокому вагону прнцепнлся паровоз; дежурный взмахнул фонарем; без свистка сдвинулся маленький состав.

В большом пустом темном вагоне на жесткой лавке уложнл Ребров свою спутницу спать. Сам решил дежурить всю ночь, чтобы ие подсел кто-ибудь на стаиции. Прифронтовая полоса чувствовалась уже повсюду. Поезда все шлн в одиом направлении, на проходящнх товарных составах можно было видеть необычайные грузы: подбнтые нлн недоделанные орудия, частн машин, а иногда домашнюю мебель н пролетки. В предутренней мгле мелькали знакомые дачные платформы, и здесь на обычно пустых, уходящих вдаль путях выстронлись в бесконечные коридоры составы с углем, рудой и еще чем-то. Близкая опасность собрала в кучу н швыриула вннз с Уральскнх гор этн бесчисленные эвакуировавшнеся эшелоны. Железнодорожные ветки на Лысьву н Кизел, где еще несколько дней иазад проезжал Ребров со своим золотом, были иеузнаваемы. Запасные пути всякого, даже малеиького, разъезда были забиты товарными и пассажнрскнмн составами, почти каждые десять-пятнадцать мннут мелькали уходящие иа запад поезда. Дежурные по станции носились как угорелые, гоняя маиеврирующие составы от одной стрелки до другой, чтобы очистить осиовной путь. Не дожндаясь сигналов с соседних станцнй, онн гналн поезда в затылок один другому. С большим трудом двигался вперед маленький состав.

— Товарищ комиссар! — неожиданно окликнули Реброва со встречиого эшелона на одном из разъездов.

Ребров оглянулся. Из теплушки махнул ему рукой служитель академии.

— Куда вас? — крикнул Ребров вслед уходящему поезду.

— В Казань. Александр Иванович раньше выехали. Мы последние. Корзиночка!.. — кричал в ответ служитель.

Перед Тагилом Ребров разбудил Валю.

— Вставай. Тагил. Пойдем чай пить.

В буфете было людно и шумно. Много народу в военных гимнастерках. Невкусный, но горячий чай и духота разморили Реброва. В дежурной ему сказали, что раньше двенадцати паровоза для вагона не будет. Ребров, сердитый, вышел на платформу к Шатровой.

— Поедем не раньше двенадцати. Пойду спать.

— Конечно, ложись. А я погуляю, послушаю, что поговаривают кругом.

Ребров, пересекая пути, пошел в вагон. Валя долго бродила в окрестностях вокзала. Когда же вернулась назад в буфет, то увидела группу людей, которая собралась в центре комнаты и прислушивалась к словам военного. Долетели обрывки фраз: «перерезали», «разъезд», «восемь сразу, ни один не ушел...» Толпа становилась все больше. Неожиданно появился комендант станции. Словоохотливый оратор замолк. Комендант пробежал на платформу, за ним два красноармейца. Несколько минут спустя послышался шум приближающегося поезда. Подходил поезд со стороны Екатеринбурга. Странный вид его издалека обратил на себя внимание толпы. Без трубы, без четких линий бегущего локомотива двигалась к станции бесформенная сплошная глыба металла. Из узких бойниц торчали стволы орудий и пулеметов. Чудовище, тяжело лязгая железом, остановилось; из стальной коробки выпрыгнул молодой человек в засаленной кожаной тужурке, с револьвером на красном шнуре у пояса, подошел к коменданту, и они вместе направились в вокзал.

Грохот подошедшего броневика разбудил Реброва. Он открыл глаза, потянулся, вновь впал в забытье, потом резко вскочил и начал одеваться. Странный шум, доносившийся со

станцин, беспокоил его. Было около двенадцати, и предстояло двигаться дальше. В накуренной комендантской сидел комиссар и рассказывал, как прорвался казачий разъезд на участке Таватуй — Исеть и на время прервал сообщение с Екатеринбургом, который все еще держится.

— Восстановят? — торопливо спросил Ребров у комиссара.

— Навряд ли.

— Твой броневик пойдет туда?

— Нет, отдохнем здесь и потом будем курсировать по предписанию командарма в районе Тагила.

— Когда сдадут, по-твоему, Екатеринбург?

— Пожалуй, сегодня к вечеру. Поэтому меня и держат здесь: впереди делать нечего.

— Тогда мне ехать немедленно. Комендант, паровоз!

— Все равно не попадешь, наверно, — предупредил Реброва комиссар.

После Тагила меньше стало встречаться эшелонов, только запоздавшие, вышедшие еще вчера из Екатеринбурга, изредка попадались в пути. Миновав Уральский хребет, поезд проходил самые глухие места горнозаводской линии. Густые леса покрывали скалы, ложбины и вершины гор. По этим лесам можно было от дерева к дереву пройти весь Северный Урал и всю сибирскую тайгу. Ни полей, ни пашен не было по сторонам, только штабели сложенных дров и бревен виднелись вокруг. Раза два при свете красного заходящего солнца промелькнули мимо молчаливые ряды кроваво-красных товарных вагонов. Они спешили уйти от врага.

На разъездах и станциях не было слышно людского говора, люди как будто попрятались в лесах сурового Урала. Мохнатые увалы гор, переходя с места на место на горизонте, словно строились в какую-то боевую колонну, чтобы обойти, отрезать и раздавить дерзко вторгшийся в их недра маленький состав. Ребров думал, какой незаметной козявкой, вероятно, кажется этим великанам его поезд.

Лесная цепь неслась мимо окон, вращаясь вокруг поезда, как огромная зеленая карусель. Поздний вечер вскоре слил

леса с небосводом; и казалось, что под этой темной чашей поезд стоит на месте, только потряхиваемый слегка чьей-то рукой.

В одиннадцать вечера показался Таватуй. Пьяный начальник железнодорожной охраны, из бывших офицеров, ничего толком не мог объяснить Реброву. На путях стояли бесконечные теплушки, в них крепко спали красноармейцы. По обычаям эшелонной войны в то время сражались вдоль линий железных дорог: теплушки заменяли окопы. В комендантской Ребров нашел товарища Зомбарта. Зомбарт — латыш, командир какой-то части, сегодня скатился с остатками ее на Таватуй с главной линии после упорного боя. Он плохо понимал по-русски, еще хуже говорил. Но все станционное начальство прекрасно понимало и беспрекословно исполняло его распоряжения.

— Товарищ Зомбарт, Екатеринбург не сдан? — обратился к нему Ребров.

— Шорт его снает. Связь прерван, имеем только провод Исети. Надо посылайт разведку.

— Я еду при всяких обстоятельствах; давай ребят — вот и будет разведка.

Зомбарт вскинул свои холодные голубые глаза на Реброва, долго вглядывался в него, что-то соображая, наконец, как бы нехотя, ответил:

— Поезжай, возьми три ребят и пакет для командарм... Звони Исеть, што молшишь? — крикнул он дежурному по станции.

Длинные вызовы по железнодорожному телефону долго оставались без ответа; наконец, звонок отбрякнул два раза сигнал Исети.

— Исеть? Исеть? — крикнул дежурный. — Путь в Екатеринбург свободен? А? Что? Кавалерия? Какая кавалерия?

Телефонная трубка хрипела. Кто-то кашлял в ней металлическим кашлем. Потом послышался пронзительный свист, похожий на шипение трамвая, наконец треск и — совершенная

тншина. Телефон не действовал. Дежурный отошел к столу, за которым сидел Зомбарт.

— Исеть передает, что через путн проходнт иензвестно чья кавалерня. От Екатерннбурга ничего не слышно.

— Ну? — повернулся к Реброву Зомбарт.

— Поезд. Давай ребят.

Паровоз с потушеиымн огнями стоял, готовый двинуться в путь. Зомбарт пытался вызвать из запасной бригады добровольца машиниста. Все отказались. В молчанин Зомбарт размышлял, кого бы ему назначить, взглядом изучая лица машиннстов. Вдруг из сгрудившейся толпы вышел старый машиинст н, обращаясь к Зомбарту, сказал:

— Я поеду. У меня в городе семья. Мие все равио.

Ребров пробурчал:

— Если предашь, подохнешь первый!

Трое красноармейцев с вннтовками устронлнсь иа паровозе, боясь выпустнть нз-под своего наблюдення страиного машиниста.

От Таватуя до Екатернибурга пятьдесят верст. Надо было спешить.

Поезд троиулся и помчался, как шальиой. Видимо, машиинст и в самом деле торопился в город. Ои все больше и больше подиимал в котле пар, ие жалея топлива. Паровоз с каждой минутой усиливал свой бег по этому мертвому участку. Среди кромешиой тьмы стальиое чудовнще наобум неслось вперед. Пелеиа дыма и искр не отрывалась от трубы локомотива, а словно резиновая, растягиваясь, тянулась низко над составом, гасла и исчезала. Освещенный дождем нскр, поезд мчался по темной просеке окружавшнх его со всех сторон лесов.

— Нас очень видно, — сказала Валя, — могут обстрелять.

— Не бойся. Сейчас приедем. «Вот только не спустнли бы под откос», — подумал Ребров про себя.

Валя прнтнхла; не сознавая всей опасности, она ее чувствовала. Ребров ие отходнл от окиа, тщетио вглядываясь в темь. С большим трудом он разлнчил будто в одно мгнове-

нне промчавшнеся строення Исетского разъезда. Машнннст не остановнлся, не сбавнл хода, н поезд промчался дальше, на Екатерннбург. «Что он, с ума сошел?» — подумал Ребров н схватнлся уже за рукоятку тормоза, но вспомннл, что трое красноармейцев, наверное, не дремлют, и, значнт, путь свободен впереди. Вдруг раздался резкнй свнст.

Ребров вздрогнул. «Машнннст предал, — подумал он. — Белые услышат свнст». Он выскочнл на переднюю площадку вагона. Открыл дверь, ведущую на буфера, — нн соедннntельного железного лнста, ни пернл у вагона не оказалось. Впереди темная масса тендера кндалась нз стороны в сторону, словно хотела соскочнть с рельсов н умчаться от страха куданнбудь в лес. Ребров добрался до края полукруглой крышн вагона н ухватился рукамн за выступ угла, но вагон качался с такой снлой, что Ребров понял: ему все равно не устоять на крыше вагона и не сделать оттуда прыжка на паровозный тендер.

«Чего онн там смотрят?» — выругал он про себя оставшнхся на паровозе красноармейцев н пожалел, что не оборвал в Таватуе троса у свнстка.

Вот уже кончилась лесная стена, еще несколько минут — н покажутся предместья города. По высокому насыпному полотну летнт состав, а машиннст свнстнт беспрерывно. Окраины города сливаются с пригороднымн полямн. Ни одиого огоиька, нн одной жнвой душн. Открыт лн семафор, переведены лн стрелкн, есть лн кто на станцнн — ннчего нензвестно. Паровоз на полном ходу врывается на станцню.

Красноармейцы бросилнсь к темному вокзалу, машннист выскочнл н исчез, оставив на произвол судьбы горячнй паровоз. Ребров тоже побежал по путям к станцнн. В комиате коменданта не горнт электрнчество. Прн свете сальной свечн Ребров узиал начальнника военных сообщений Жебелева. Без пояса, в голубой батнстовой рубашке, он сндел у стола н отдавал кому-то последнне прнказання. Прн свете огарка трудно рассмотреть вошедшего. Накоиец, узнав Реброва, Жебелев бросился ему иавстречу:

— Ты откуда?
— Из Перми.
— На чем приехал?
— На паровозе.
— Откуда? Я ни одного встречного поезда с Егоршина последние пять часов не принимал, — с удивлением уставился на него Жебелев.
— Я по горнозаводской. Разве не слышал нашего свистка?
— Что ты врешь? Горнозаводская с утра перерезана. Свистели со стороны чехов. Мне звонил начальник гарнизона...
— Кто это? Долов? Струсил, наверное, и надул. Да ты пойди посмотри, паровоз еще горячий.
— Вот мерзавец, — выругался Жебелев.
— Не лайся. Где штаб? — прервал его Ребров.
— На четырнадцатом пути. Если хочешь застать, иди скорее, сейчас отправлю. За ними последний поезд, на котором еду сам. Да вот теперь твой паровоз пригодится.

Ребров в темноте перескакивал через рельсы и старался не сбиться со счета; на четырнадцатом пути, против станции, никакого состава, однако, не оказалось. Он пошел вдоль полотна, заметив направо в темноте что-то похожее на вагоны. Это был поезд командарма. Ребров подошел к подножке вагона, вскочил на нее, хотел открыть дверь и только тут заметил, что за стеклом кто-то стоит.

— Кто там? — послышался голос из-за двери.
— Командарма!
— Кто это?
— Ребров.
— Неужто ты? — Дверь поспешно открылась, и Ребров очутился лицом к лицу с командармом.
— Успел, Ребров? А мы думали — застрял. Ну, иди, иди скорее в салон, там ждут тебя. Надо спешить. Через полтора часа город сдаю.

В салоне спало несколько человек. На голос командарма поднялся Голованов.

— Опоздал, Ребров, — сказал Голованов. — Ложись спать, поедем вместе обратно. Перейдешь к чехам в другом месте.

— Брось шутить. Давай явки, документы и деньги, времени осталось мало. Меня ждут.

— Не шучу я. Ты не успеешь добраться до квартиры. В городе, наверное, уже чехи, зачем рисковать?

— Командарм сказал — до чехов час с лишним осталось. Попробую успеть. Скорее.

Голованов взглянул на Реброва, хотел что-то сказать. Потом полез в карман и достал бумажник.

— Ну, вот тебе. Тут паспорт на двоих, адрес квартиры, пароль и явка.

— Спасибо. Телеграфируй Запрягаеву, что я уже у чехов, — сказал Ребров. — А что с Николаем? — вспомнил вдруг он.

— Шестнадцатого расстреляли, а опубликовали вчера, — указал Голованов на номер «Уральского рабочего» от 23 июля.

— Ну, будь здоров, Егорыч! Держи! — протянул Ребров Голованову свой револьвер, партбилет и документы.

— Будь здоров, Борис. Удачный путь!

На площадке Ребров снова встретил командарма. Он расхаживал взад и вперед, по временам останавливаясь и чутко к чему-то прислушиваясь. Очевидно, решил не спать всю ночь.

— Час продержишь? — спросил Ребров.

— Продержу. Ночью они вряд ли сунутся.

— До свиданья, — сказал Ребров. — До скорой встречи.

Командарм кивнул головой.

Ребров сделал несколько шагов по насыпи, оглянулся назад: из дверного окна вагона виднелась стриженая голова командарма. Стеклышки его пенсне, отражая падавший откуда-то свет, слабо поблескивали.

Валя была одна в пустом и темном вагоне. Минуты текли медленно. Ребров все не возвращался. Валю охватило чувство полного одиночества. Ей казалось, что там, на станции,

уже хозяйнничают чехн. Может быть, Ребров попал прямо им в рукн и теперь его уже иет в жнвых? Что же в таком случае грозит ей? И это тогда, когда они уже почти у цели. Вот там, блнзко, в той темиой котловнне должен быть город. Почему же Ребров не идет, когда нужно торопиться? Она тщетно вглядывалась в темиоту.

— Валя, — неожнданно позвал ее Ребров с другой стороиы вагона, — все в порядке, идем.

— Хорошо. Дай руку.

Онн шлн рядом по темному перрону. Прошли сквозь пустой вокзал; у выходиой двери одниоко стоял часовой. Впереди чернела шнрокая площадь. Город пританлся. Даже собаки не иарушалн жуткого спокойствня. Нн часовых, ни патрулей. Город пережнвал то обычное перед сдачей мгновение, когда однн уже боятся оставаться в его запутанных улицах, а другие еще не решаются в ннх войти. Был позднний ночиой час. Вале казалось, что онн с Ребровым находятся на какой-то давно уже погасшей, мертвой планете.

И все же город не спал. Ребров слышал неясный угрожающнй шорох из подворотен домов, будто за воротами скрываются молчаливые наблюдатели. Из каждого переулка, нз каждой улицы, нз ворот н потухшнх окои можио было ждать нападения. И в самом деле, сотнн людей не спалн в эту ночь, сиделн у окон, затанв злобу на уходящнх большевнков н с радостью ожндая чехов. В юго-восточиой стороне екатерннбургские белогвардейцы уже заннмалн позицнн на огородах н пустырях, чтобы неожнданным нападеинем помочь прнблнжающнмся чехам. Выступленне, одиако, опоздало, как потом оказалось, нз-за того, что белогвардейцы, услышав ненстовый рев паровоза, иа котором прнехал Ребров, прннялн его за броиепоезд, пришедшнй иа помощь отступающнм красиым.

Мннут через десять после ухода с вокзала Ребров с Валей расслышалн стук уходящего поезда, ио ие обменялись между собой ии словом. Даже тяжелые шаги Реброва теперь

пугали Шатрову. Ей вдруг захотелось броситься назад к вокзалу, но возвращаться было поздио. Вдалн стучал колесами уходящий поезд комаидарма.

— Здесь, Валя,— остаиовнлся наконец Ребров. Ои толкнул калитку, которая подалась со скрипом, и шагнул во двор.

— Наверно, вои там, — указал он Вале на стоящий вдали темиый одиоэтажиый домик и пошел вместе с ней в глубь двора.

— Ннчего ие внжу, — споткнувшись, рассерднлась Валя. — Да что оии здесь, все вымерли, что ли? Тьма кромешная.

Ребров взгляиул иа дом: нигде не было вндно даже признаков света.

— Осторожией. Вот крыльцо,— предупредил ои Валю и, поднявшись на ступеиьки, забарабаннл в дверь кулаком.

Глухне удары по двери долго оставались без ответа. Потом послышалась прнглушеиная возия, словно там отодвнгали от дверн громоздкие вещн, и стало снова тихо. Ребров опять забарабанил по двери, и в ответ на его стук послышался боязливый шепот:

— Кто это?

— Откройте. Ваш квартираит Чнстяков, — ответил Ребров.

Комиата для него была снята давно, но ни он, ни хозяева еще ии разу ие видели друг друга в лицо.

За дверью снова притихлн, потом иерешительно стали отодвигать задвижкн. Дверь тихо приоткрылась. Ребров шагнул через порог; внутрн дома было еще темиее, чем на дворе.

— Сюда, сюда,— прошептал кто-то невидимый в сторопе.

Ребров и Шатрова ощупью пошлн вслед за ним.

— Кто вы? — спросил иевидимый человек.

— Я Чистяков. А это моя жена.

— Откуда вы, господин Чнстяков? В такое время? Что с вамн случилось? — заговорило сразу несколько голосов.

— Свечку, свечку, — потребовал жеиский голос.

Через миицту Ребров и Шатрова знакомились с хозяевами.

— С последннм поездом,— говорил Ребров, — проскочилн до Бнлнмбаевского завода, а оттуда — на подводе. Чуть к большевнкам не попалн. Ямщнк отказался ехать в город н высадил нас на тракте около железнодорожного переезда. Едва доплелись.

— Зато, слава богу, кажется, завтра кончатся все наши мученья! — добавнла Валя.

— Вот герон, — засуетнлась хозяйка. — Ннкак, ннкак вас не ждали. Думалн даже комнату сдавать...

Муж посмотрел на нее сурово, н она, поняв ошнбку, любезно поправнлась:

— Я сейчас вам постелю. Наверное, с дороги устали.

Шнрокая кровать даже в темноте манила своей чистотой. После тревожных волненнй захотелось скорей погрузиться в сон. Хозянн все еще стоял в дверях.

— Простнте, что нельзя электрнчество. Без вас совсем в темноте снделн— опасно: большевнкн заметят огонь, начнут стрелять по квартнре нлн грабнть прндут. Мы с женой решнлн не спать всю ночь.

После его ухода Ребров закрыл на крючок дверь. Он лег полураздевшнсь, Валя последовала его прнмеру. Сон почтн мгновенно овладел обоими, все вокруг провалнлось куда-то н нсчезло. Через несколько мннут до сознання Реброва докатнлся отдаленный глухой удар. Он заставнл себя открыть глаза н прнслушаться. За первым ударом последовал второй, затем третнй, четвертый, пятый... и так — до бесконечностн.

— Валя, стреляют, — прошептал Ребров.

Валя поднялась, оперлась иа локоть и тоже стала слушать удары артиллерийскнх орудий.

— Это они, Ребров,— тихо прошептала Валя. — Наших уже нет.

— Хорошо, что нашн выбралнсь. Спи, — сухо сказал Ребров.

Сам он лег, но уснуть не мог. «Благополучно ли только выбралнсь?» — думал он, вспомнная стук колес уходящего поезда.

Уже у самого города стучали невидимым гигантским молотом.

Двадцать пятого июля 1918 года рано утром вошли в Екатеринбург чехословаки. В шесть часов утра въехали с песнями казаки. К вокзалу двигались чешские эшелоны, а на северо-востоке еще трещали ружейные выстрелы. Какие-то коммунары, укрывшись на старом паровозе, расстреливали последние патроны. Им некуда было отступать, и они спокойно ожидали смерти. Мальчуган лет шестнадцати сумел укрепить пулемет за паровозными колесами, и долго недоумевали чехи, откуда на них брызжет свинцовый дождь. Но скоро и эти последние выстрелы замолкли. Кончилась перестрелка и у вокзала.

Пассажирский вокзал украшен зеленью и цветами. На белых стенах здания издалека виднеется сделанная из пихтовых гирлянд надпись:

Добро пожаловать,
дорогие братья!

Часовые, в новеньких австрийских шинелях, с лодочками на головах, застыли на своих местах. Чехи, видно, стараются поразить екатеринбуржцев своей выправкой. Их эшелоны стоят на железнодорожных путях, где несколько часов тому назад стоял поезд командарма. Любезные офицеры принимают бесчисленных посетителей. Вокзал с утра полон народу.

Барышни и дамы в кружевных платьях с цветами на груди щебечут и смеются. Они позабыли, что еще вчера здесь были большевики.

— Поручик! — кричит одна из них безусому юнцу. — Когда будем в Москве?

В зале буфета представители города уже чествуют банкетом победителей, гремит духовой оркестр. А рядом с вокзалом на каменную мостовую выброшено семь трупов — это те самые большевики, что стреляли с паровоза. Их головы разбиты пулями, кровавые впадины глаз еще источают темнобурые слезы. Трупы брошены друг на друга. Большая толпа жмется вокруг них и рассматривает. Трупы не пугают толпу.

— Накомиссарились, будет с них! — басит лысый, похожий на церковного старосту, человек.

— Эти что! Главные-то утекли! — говорит другой, в поддевке и картузе.

— А вот это пулеметчик, Тонечка, — рассказывает молодой человек в студенческой тужурке стоящей с ним рядом барышне. — Совсем маленький, а дольше всех, говорят, торчал на паровозе, не желая ни за что сдаваться.

— Этот? — тычет зонтиком барышня в вытянутую ногу. — Звереныш!

По вокзальной площади вскачь несется телега. За ней бегут, спотыкаясь, два полураздетых красноармейца. Руки их привязаны к задку телеги. Один из них падает, казаки плеткой заставляют его подняться и вновь бежать за скачущей по мостовой телегой. Ребров с утра вместе с хозяином дома наблюдает с крыши вступление в Екатеринбург победителей. Хозяева не подозревают, кто такой Чистяков, и Реброву приходится радоваться вместе с ними.

— Кажется, конец? — говорит он хозяину.

— Да и то уж пора. Подумать только! Сколько времени сопротивлялась эта вшивая команда. Пойдемте пить чай, а потом на станцию. Счастливо вы приехали... простите, как ваше имя-отчество?..

— Василий Михайлович.

За чаем принесли первые экстренные телеграммы. Жирным шрифтом напечатано сообщение:

Вождь уральских большевиков Голованов захвачен казаками, при нем обнаружена огромная сумма денег, дамские кольца и нательные кресты.

— Пойман, значит. Вот ловко. Прочтите.

С трудом отделавшись от обременительной любезности хозяев, Ребров с Валей перед завтраком направились в город, чтобы разыскать родных Шатровой. Улицы Екатеринбурга наполнены празднично одетыми обывателями. Около дома инженера Ипатьева по-прежнему тесовый забор, как будто Романовы продолжают оставаться там. По-прежнему ходят часовые и отгоняют народ.

— Ищут,— сказал Ребров, и они прошли мимо.

Около Соборной площади большая толпа любопытных: арестованные красноармейцы под конвоем чехов выкапывали из братской могилы красные гробы. Это была могила красноармейцев, павших на фронте в боях против атамана Дутова. В одних кальсонах, истерзанные, подгоняемые враждебными криками толпы, красноармейцы работали изо всех сил, стараясь как можно скорее кончить страшную работу. Выкопанные гробы бросали на телеги и везли на свалку.

— В могилу их самих! — кричали из толпы.

Ребров и Валя шли дальше. На стенах домов были уже расклеены афиши о большом гулянье в Харитоновском саду по случаю избавления от большевиков.

— Сюда! Сюда! — потянула Валя Реброва через дорогу к двухэтажиому дому. — Подожди здесь!

Она быстро вбежала по лестнице на второй этаж, позвонила и скрылась за дверью. Ребров ждал, что дверь снова откроется и его позовут; но дверь не открывалась и его никто не звал. Прошло минут десять. Он нетерпеливо расхаживал около деревянного крыльца. В окнах ничего не было видно.

Наконец снова скрипнула дверь. Ребров оглянулся. По лестнице тихо спускалась вниз Валя.

Он пошел к ней навстречу и хотел спросить, все ли в порядке, как вдруг увидел на глазах у нее слезы.

— Валя, что случилось?

— В доме никого нет. Наши уехали вчера. Мы разъехались. Что я буду делать одна у чехов? — плакала девушка.

— Пустяки. Не беспокойся. Завтра утром я схожу на явку. Найдем товарищей, онн устроят тебя. А теперь — домой!

Перед самым домом навстречу попался отряд гимназистов с белыми повязками на рукаве: «Белая гвардия».

Валя иевольио улыбиулась:

— И этн туда же!

Шедший впереди отряда не расслышал ее слов, ио заметил улыбку хорошеиькой девушки. Ои еще больше выпятил грудь н сорваниым голосом молодого петуха крикиул:

— Ать! Два! Левой! Левой!

— Исчезиовенне царской семьн! Вечерние телеграммы! — вдруг с криком вынесся нз калитки дома мальчншка. — Исчезновение царской семьн! — побежал он вдоль улнцы с развевающимнся по ветру длнннымн полосками бумаги.

— Мальчик, телеграмму! — крикнул вслед ему Ребров и через миIIуту вслух чнтал Шатровой:

ОТ ОСОБОЙ КОМИССИИ

Особая комиссия, образованная по распоряженню командующего фронтом генерала Дитернхса для расследования обстоятельств, связанных с заключением императорской семьи в г. Екатеринбурге, настоящим сообщает:

Обследование дома инженера Ипатьева, в котором помещалась прн большевиках фамилия Романовых, ощутительных результатов не дало. Извлечено несколько десятков предметов, принадлежавших царской семье, однако присутствие семьн не обнаружено. Судьба царской семьн неизвестна. Поиски трупа якобы казненного большевиками царя во дворе н садике успехом не увенчались. Траление Исетского пруда оказалось также безрезультатным. Сообщение большевиков о казни Романовых, таким образом, вызывает сомнение.

Комиссия обращается к гражданам, имеющим сообщить что-либо о царской семье или могущим указать на лиц, причастных к исчезновению ее, помочь комиссии в ее работе.

Следователь *Наметкин*

СПАСЕНЬЕ ЦАРСКОЙ СЕМЬИ?

(Беседа с начальником уголовного розыска г. Екатеринбурга г-ном Кирстом)

На вопрос нашего корреспондента о судьбе царской семьи начальник уголовного розыска г. Екатеринбурга сказал:

— Пока особая комиссия не закончила своей работы, по понятным причинам я не могу широко информировать печать о результатах следствия.

Тем не менее работа моей агентуры принесла известные плоды, и есть основание думать, что царская семья в настоящее время вне опасности.

Во всяком случае, я хочу подчеркнуть тот факт, что свидетельскими показаниями точно установлено, что все члены царской семьи, одетые в авиационную форму, были заблаговременно уведены из Ипатьевского дома...

— Врут? — спросила Валя Реброва. Тот кивиул.

На другой деиь, оставив Валю, Ребров пошел иа явочиую квартиру. Ои долго нскал номер дома иа захолустной улице. Нашел его, прошел мимо до следующего квартала, посмотрел в переулкн — нигде ннчего подозрительного. У малеиькой церковки старухн ждалн выиоса покойника. У ворот дома толпилнсь мальчншки, радуясь похороиной процессии. Ребров остаиовнлся у калиткн, из которой выглядывала баба в шнрокой юбке.

— Скажите, — обратился к ией Ребров, — как пройти в квартиру Волкова?

— Первая дверь иалево. А вам самого?

Ребров вошел в открытую дверь. Пожнлой человек босиком, в рубашке без пояса встретил его у входа.

— Вам кого?

— Нииа дома?

— Никакой Нины у нас иет.

— Как иет? Нина Буйволова из Екатериодара, — настаивал Ребров. Слово «Екатериодар» и было явочным паролем.

— Я вам говорю: такой здесь иет н иикогда ие было, — загораживая Реброву дорогу, сказал хозяиин.

Ребров боялся настаивать, чтобы ие вызвать подозрения.

— Простите; зиачнт, я ошибся, — последиий раз посмотрел ои иа человека в рубашке.

Тот иичего не ответил. Выйдя за ворота и оглядевшись по стороиам, Ребров подозвал нзвозчика.

— Гони скорей! — крикнул он ему.

Пролетка заскакала по булыжникам мостовой, задребезжали рессоры, взвилось вслед за экипажем облако пыли. Ребров не переставал торопить возницу до самого дома.

— Мы отрезаны от своих, — шепотом сказал он Шатровой. — На явке мне не ответили.

— Пойдем на станцию, — предложила Валя. — Может быть, лучше уехать?

На вокзале была неразбериха. Комендант станции на расспросы о железнодорожном движении отвечал:

— В ближайшую неделю восстановят. Сейчас оно совершенно прервано из-за взорванных мостов...

— Да как же эти эшелоны очутились здесь? — не вытерпел один из пассажиров, указывая на чешские составы. Чехи благополучно прибыли в Екатеринбург в новеньких и чистеньких классных вагонах.

— Прошу меня не перебивать! — внезапно побагровев, крикнул комендант. — Иначе вам придется последовать за мной в соседнюю комнату.

У дверей соседней комнаты стоял казак с винтовкой.

Неосторожный пассажир, низко раскланявшись, поспешил удалиться. Ребров и Шатрова пошли домой.

— Не выпускают никого из города, большевиков ловят.

— Что же нам теперь делать? — встревоженно спросила Валя.

— Пока подождем, а там — в Кизел, как только чехи его возьмут.

— Только бы выскочить из западни, — тихо сказала Шатрова, и они зашагали домой.

Дома Ребров и Шатрова, никем не замеченные, прошли в свою комнату. За стеной слышалось несколько громких голосов. Один из них — незнакомый.

— Чего они там расшумелись? — прислушалась Валя.

— Наверное, спорят о пустяках. Лучше давай посчитаем, сколько денег осталось у нас.

— Постой, Ребров, это становится интересным, — остановила Валя Реброва и подошла к стене.

— Вы мне ответите! — вдруг прокричал незнакомый голос. — Ваш сын обокрал мою дочь. Выманил у меня векселя, обещал жениться и до сих пор тянет со свадьбой. Я спрашиваю вас: будет свадьба или нет?

— Да тише вы, сумасшедший человек,— отвечал придушенным шепотом хозяин, — кругом все слышно. Ведь не я же обещал жениться на вашей Татьяне. Поговорите с моим сыном: он уже взрослый.

— Мне плевать! Пусть все слышат, как он обворовывал нас. Я ему припомню эту подлость и вам тоже, — снова прокричал резкий голос, и дверь с силой хлопнула о косяк.

— Вот еще заварилась каша, — недовольно пробормотал Ребров, — чего доброго, попадем в свидетели.

Но он ошибся, до самого вечера в квартире было тихо. Лишь около семи часов вечера в комнату постучал хозяйский сын:

— Валентина Николаевна, берите мужа, пойдемте в Харитоновский сад: там сегодня большое гулянье в пользу чехов.

— Отказаться неловко, — шепчет Реброву Валя и кричит за дверь: — Хорошо, идем!

В Харитоновском саду по аллеям гуляют дамы и офицеры. Пары идут бесконечной лентой по тенистым аллеям сада, и никто не сказал бы, глядя на них, что еще вчера они переживали грозную революцию. А там, около Верхнеисетского завода, где высоко приподнят конец города, белеют стены екатеринбургской тюрьмы. В нее то и дело ведут арестованных. Из нее же уводят только на расстрел.

Хозяйский сын доволен сегодняшним днем. Он громко смеется и что-то говорит Вале; он не слышит вопроса Реброва: «Как ваши лесные операции, Кузьма Иванович?» — и продолжает что-то рассказывать своей спутнице.

Ребров не мешает. Он зорко вглядывается в прохожих, порой они ему кажутся знакомыми, но он успокаивает себя тем, что это только кажется. Так бывает всегда, когда прячешься. Но

вот встречный офнцер, с перетяиутой талней, действнтельно кого-то напомиил Реброву. «Почему он так пристально посмотрел на меня? — думает Ребров. — Где я его видел?» Офнцер еще раз огляиулся. Острый ястребниый профиль был хорошо знаком Реброву. «Да ведь это Долов, — вспомиил он. — Неужелн узнал?»

— Пойдем сюда. — Ребров резко взял за руку Валю и почти толкнул ее в боковую аллею. Кузьма Иванович остался иа мгновение стоять иа месте, продолжая все еще говорить, потом рысцой догиал Реброва.

— Василий Мнхайлович, что это вы нас напугалн? Что-то случилось?

— Ннчего особенного, Кузьма Ивановнч. Вижу, что вы меия совсем забылн. Не пора лн домой?

— Да, пожалуй. Я иемного устала, — сказала Валя. — Вы, навериое, останетесь иа коицерт?

Хозяйскнй сын вежливо раскланялся н поцеловал руку Вали.

— Кто это был, Ребров? — спросила Шатрова, как только Кузьма Иванович отошел.

— Долов. Он был начальником гарнизоиа в Екатерннбурге. Перебежал к чехам, сволочь.

— Завтра снова пойду иа вокзал. Может быть, чешскне коменданты будут покладнстее, — сказала Валя.

Но на другой и на третий деиь иа стаиции Вале отвечалн по-старому:

— Сообщеиие прервано, мадмуазель: мосты взорваиы.

Ребров каждый день с утра уходил в город. Ои тщательио обдумывал вопрос, как связаться с товарнщамн: «Переехать в ближайшнй завод, поступнть на работу? Покажется подозрительиым. Пойтн в профсоюзы, существующие в городе? Опасио, можио иаскочить иа зиакомых меньшевнков. Работать в кооперацни? Там эсеры...»

Зиакомые дома, недавно гостеприимно открывавшие дверн перед Ребровым, теперь чужды и враждебиы. Там, где поме-

щался железнодорожный райком коммунистической партии, теперь белая разведка. В здании городского совета — центральная комендатура. В особняке Поклевского-Козелл — штаб белой гвардии. В епархиальном училище, где была академия, — чешская воинская часть. И только в женском монастыре все по-прежнему: у ворот монашки и оглушительный звон на колокольне.

«Неделю-другую надо выждать», — решает Ребров и поворачивает домой.

Он идет мимо ипатьевского особняка. Особняк все еще зашит щитами. Часовые прогуливаются взад и вперед. «Ничего не могут найти, — думает Ребров и проходит дальше. — Надо сидеть дома неделю-другую», — повторяет он про себя и идет через двор к своей квартире.

В дверях его встречает Валя. У нее в руках газета. Она чем-то встревожена. Протягивает газету.

— Прочти, Борис, — сказала она шепотом, едва он вошел в комнату, и плотно закрыла дверь.

Ребров читает:

ОТ СЛЕДСТВЕННОЙ КОМИССИИ

Лиц, могущих указать подробности отправки большевиками незадолго до сдачи города особо секретного поезда, просят дать свои показания следственной комиссии. Прием от 11 до 3 часов дня.

Следователь *Наметкин*

г. Екатеринбург

ПРИКАЗ
ПО ЗАПАДНОМУ ФРОНТУ

Приказываю в интересах следствия по делу об исчезновении царской семьи в случае обнаружения и задержания лиц, поименованных в прилагаемом ниже списке, дабы жизнь их была во что бы то ни стало сохранена и они, по их задержании, были бы препровождены в тыл.

Командующий фронтом генерал Дитерихс

Список лиц, подлежащих немедленному отправлению в тыл в случае их задержания:

1) Голованов	101) Белозипунников
2) Нечаев	102) Караваев
3) Ребров	103) Масленников
4) Запрягаев	104) Катальский
. . . .	. . . .
61) Жебелев	161) Красноперов
62) Воздвиженский	162) Руненберг
63) Новожилов	
64) Наумов	163) Лиханов
. . . .	164) Коркин

— Борис... — хотела что-то сказать Валя.

— Погоди, — он второй раз прочел сообщения и только тогда повернулся к Вале.

— Не понимаю. При чем тут я?

— Но как же мы? Они найдут тебя, — испуганно сказала Валя.

— Пустое. Вот золоту грозит опасность. Надо обратно через фронт, — ответил Ребров.

Душно спать летом в маленькой комнате. Ребров ворочается с боку на бок. Пропадет золото. Погоня, погоня.

Кругом трупы, и все знакомые. Вот Голованов, Нечаев, Запрягаев; они лежат у стен вокзала в один ряд, как папиросы в портсигаре. Головы разбиты, вместо мозгов — тряпки. Опять гонятся, ловят, и надо бежать. Лето, а холодно. Нужно зажечь спичку. От этого зависит жизнь. Долов смеется и тычет пальцем: «Он! Он! Бери его!»

Ребров мечется в постели, скрипит зубами. «Хоть бы проснуться», — думает он во сне и открывает глаза. Рядом разметалась Валя; ей, очевидно, тоже душно. На дворе светает.

«Чертовщина, — ругается про себя Ребров, — никогда не думал, что так тяжело оторваться от своих. Долов... Вот сволочь!»

Ребров встает и подходит к окну. Там, по улице, идет патруль. «Пройдет мимо или остановится? Нет, заходит во двор. С чего бы это?» Идут к флигелю.

«К нам, — соображает Ребров, — за мной». Мелькает мысль: «Бежать! А Валя?.. Да и поздно».

У окна выросли фигуры с винтовками. Продолжительный звонок, стук прикладов в прихожей и чей-то сиплый голос:

— Кто хозяин?

Хозяин, еще сонный, в белье, с испугом вытягивается перед военным.

— Я.

— Ты большевиков укрываешь. Есть у тебя Чистяков?

— Это я, — говорит Ребров, выходя в открытую переднюю. — Хозяин никого не укрывает, а я такой же большевик, как и вы. Тут какое-то недоразумение.

— Молчи, сволочь!

— Вежливей!

— Я тебе покажу вежливость.

— Не тыкай мне! — крикнул на унтера Ребров. — В комендатуре ответишь за свое хамство.

Угроза произвела впечатление. Начальник патруля сбавил тон.

— Собирайтесь, — сказал он сухо Реброву и, повернувшись к хозяину, добавил: — Где ваш сын? Он тоже с нами.

Кузьма Иванович, бледный и жалкий, накинул на себя пальто.

— Что вы делаете, господин офицер? Какой он большевик? — заплакала хозяйка.

Арестованных вывели во двор.

— Я вернусь через час-два, в центральной комендатуре все выяснится, — спокойно сказал Ребров, заметив, что Шатрова готова заплакать.

Безнадежно махнув рукой, Валя сбежала с крыльца, не видя ничего перед собой.

Два гимназиста класса седьмого-шестого конвоировали арестованных. Унтер-офицер с остальными солдатами пошел на новый обыск. Тяжелые берданки были не по плечам страже. Ребров один мог легко разделаться с обоими, но бежать не было смысла: дома — Валя, и с ней расправились бы за его побег. Рядом плохой компаньон — Кузьма Иванович. Рисковать при таких обстоятельствах не стоило.

Деревенская баба с корзинками земляники попалась навстречу.

— Разрешите, господа, купить корзиночку, — обратился к гимназистам Ребров.

Гимназисты переглянулись и важно кивнули. Ребров угостил Кузьму Ивановича и до самой комендатуры ел душистые ягоды и, казалось, ни о чем не тревожился. Но это только казалось. На самом деле он терялся в догадках. За что арестовали? Раскопали что-нибудь действительно или ошибка? А впереди встреча с Доловым. Узнает или нет?

Двери комендатуры широко открыты. Она принимает бесчисленных гостей. Одни являются под охраной штыков, как Ребров, другие ходят сюда, чтобы пообедать в офицерском собрании на втором этаже. Реброва повели по широкой темной лестнице. По ней навстречу Реброву спускался невысокий коренастый офицер. На освещенной окном площадке офицер повернулся к стенному зеркалу и вынул из кармана зубочистку. Ребров, проходя за его спиной, едва не шарахнулся от неожиданности в сторону: перед ним его железнодорожный попутчик — тот самый, который рассказывал когда-то в вагоне о взятии Уфы и Самары. Теперь на нем зеленый китель с полковничьими погонами.

Гимназисты торопятся вверх по лестнице, а офицер все еще ковыряет зуб.

«Пронесло», — думает Ребров.

Через минуту его подводят к кабинету, на двери которого маленькая дощечка:

Начальник гарнизона
ДОЛОВ

В большом светлом кабинете из-за стола подымается человек. Нет, это не Долов. Должно быть, его помощник. Он записывает в книгу имя и фамилию арестованного. Поскорей бы выбраться отсюда.

Все, наконец, записано: возраст, местожительство. Дежурный караул ведет Реброва еще выше по лестнице. Там приготовлена на скорую руку камера. В ней уже человек шесть. Вскоре туда приводят Кузьму Ивановича.

Странное впечатление производят арестованные. Ребров никогда бы не подумал, что вот эти люди способны казаться опаснейшими большевиками. Тощие, забитые деревенские мужичонки, какой-то парикмахер, два красноармейца с голодными глазами и благообразный старичок.

Почти каждые двадцать минут в камеру приводили все новых и новых арестантов. Но и эти были такие же случайно схваченные люди, как и первые. В двенадцать часов дня в железных ведрах принесли щи и на подносе — куски хлеба. Было видно, что куски собраны со столов, а щи слиты с тарелок.

Голодные мужичонки с жадностью набросились на еду. Красноармейцы после некоторого раздумья присоединились к ним. Ребров и Кузьма Иванович решили не обедать. В четыре часа застучали тяжелые подкованные сапоги на лестнице за дверьми. В комнату ввалилось человек десять новичков, вслед за ними — несколько казаков. Маленький кудрявый есаул визгливо, по-бабьи заорал:

— Становись!

Арестанты выстроились в шеренги и приготовились в путь. На улице их окружила цепь спешенных казаков.

— Шагом марш! — скомандовал есаул и повел вдоль Главного проспекта к тюрьме. Есаул неистовствовал. Сыпал ругательствами, перебегал от головы колонны к ее концу, подлетал к арестованным, тыкал в нос наганом. Подталкивал их ножнами сабли, взмахивал нагайкой и снова сыпал ругательствами.

Навстречу арестованным под траурные звуки шопеновского марша шла огромная похоронная процессия. Хоронили расстрелянных красными заложников. Арестанты тесней сжались между конвоирами, боясь быть растоптанными. И непонятно было, кого это провожали траурным маршем — тех ли,

кто уже в гробах и ничего не чувствуют, или этих, еще живых, двигающихся к такой же или более страшной смерти.

Перед тюрьмой есаул остановил арестантов. К Реброву подскочил один из казаков и как-то вполголоса воровато приказал:

— Снимай штаны. Пиджак.

Ребров обернулся. Сзади арестованные снимали с себя одежду и отдавали казакам.

— Живо шевелись, — командовал курчавый.

Ребров медлил. Казак полез к нему в карман и выхватил бумажник с документами. Сорвал с руки часы.

— Тут нет денег. Отдай, — схватил его за руку Ребров.

— Ну, ты! — Нагайка угрожающе взлетела вверх.

Из тюремных ворот бежал начальник тюрьмы.

— Оставьте, оставьте! Что вы делаете?.. — кричал он казакам.

Казаки молчаливо расступились. Ребров в свою очередь запустил руку в карман казаку и сжал крепко свой бумажник.

— Господин полковник, — обратился он к начальнику тюрьмы, — тут мои документы.

Казак неохотно возвратил бумажник.

Тюремные двери открылись и захлопнулись за арестованными. В тюремной конторе у них в первую очередь отобрали еще оставшиеся вещи и одежду.

Валя сидит у себя в комнате. На полу после обыска разбросаны вещи Реброва. Невеселые мысли приходят в голову Вале. За стеной причитает и плачет хозяйка.

«Надо взять себя в руки. Может быть, арест случайный. Надо узнать», — решила Валя.

— Валентина Николаевна, что же делать? — прервал Валины думы голос хозяина.

— Что? Ехать надо к коменданту города.

— Голубушка, поезжайте! У вас это как-то хорошо выходит. А то если я поеду, все дело испорчу.

Валя посмотрела на хозяниа. Толстый, почтн шарообразный, он казался такнм беспомощным. Обрюзгшее лицо и бегающне глазки вызывалн желание сказать ему что-нибудь обидиое. Валя с трудом подавила в себе это желаиие.

— Я поеду. Скажите только: Кузьма Иванович мог быть заподозреи в большевизме?

— Вы шутите? Нас заподозрнть в большевизме! Ннкто не осмелится!..

— Да осмелнлись ведь.

— Нет, нет, это просто иедоразумеиие, — снова уннжеиио проговорил хозянн.

Валя иадела свое лучшее платье и шляпу. Извозчик подкатнл к комендатуре, встречные офицеры любезио стороинлнсь перед хорошенькой посетнтельиицей, оглядывая ее с иог до головы.

Долов сам принял Шатрову.

— Сударыня, не беспокойтесь. Все выяснится. Но несколько дией мы просто ие в состояиин заняться этнмн делами, а дальше вы все узнаете в следственой комисснн.

— Могу я его видеть?

— Отчего же, при мне, пожалуйста.

Валя вспомнила предательство Долова и замялась.

— Я бы хотела его видеть в камере.

— Сейчас узнаем, можно ли это. — Долов нажал кнопку звонка и вызвал дежуриого.

Через две минуты дежурный доложил, что арестоваиные уже отправлены в тюрьму.

— Как жаль, — щелкнул шпорами Долов. — Вы опоздали.

«Нет, он не зиает, кто Чистяков», — подумала Шатрова.

Валя вышла из кабинета. Снова извозчнк мчит ее. Она хочет догнать арестованных, чтобы крнкнуть Реброву: «Они ие знают, кто ты». Главный проспект остался позадн. Тюремная площадь пуста. Медленно закрывались черные дверн тюрьмы. С извозчика только на однн миг было вндно, как последние коивоиры исчезли в калитке.

На стук Шатровой сторож ответил:
— Контора не занимается. Открыта до часу.

Камера, куда поместили Реброва, была рассчитана при царском режиме на одиннадцать человек. Теперь в ней находилось шестьдесят шесть. Ни нар, ни кроватей. Посредине стол и рядом — небольшая скамья. Старожилы разместились на полу, подальше от вонючей параши. Новичкам пришлось мириться с тем, что осталось.

Реброву было не до этих мелочей, его неотвязно преследовали догадки. «Неужели установили, кто я? Но как? Неужели кто-нибудь проследил на явочной квартире? Тогда нужно поставить крест на всем. Почему Валю оставили в покое? Наверное, за ней следят — надеются открыть подпольную организацию. Зачем же арестовали вместе с Кузьмой Ивановичем? Что за ерунда!»

Как и в комендатуре, в тюрьме сидели странные арестанты. Большинство попало сюда, очевидно, случайно.

Парикмахер рассказывал, как рано утром его ранил выстрелом в окно пьяный казак. Сбежавшиеся на выстрел чехи, не понимая русского языка, отправили раненого под арест, и теперь он здесь «до выяснения».

Железнодорожник с окладистой черной бородой, начальник товарного двора какой-то станции, тоже раненный еще при красных случайным взрывом ручной гранаты, брошен в тюрьму по подозрению в том, что он ранен в бою против чехов.

Деревенские мужики сидели здесь потому, что наткнулись на белые разъезды в день взятия Екатеринбурга.

Красноармейцы, видимо дезертиры, горько раскаивались, что дали себя поймать в ближайших лесах.

Только трое из всех заключенных, видимо, попали сюда не случайно. Двоим нечего было скрывать: их слишком хорошо знали в городе как левых эсеров. Третий, в польском картузе, называвший себя Комаровым, очевидно, надеялся еще

на что-то и объяснял свой арест недоразумением. Он несколько раз подходил к Реброву.

— Товарищ Чистяков (в камере так обращались все друг к другу), скажи: долго, по-твоему, придется здесь сидеть?

— Не знаю, — лаконически отвечал Ребров. Он твердо решил до конца разыгрывать роль бывшего юнкера.

Через десять-пятнадцать минут Комаров снова подходил к Реброву:

— Что же, они нас расстреляют? За что?

— Не знаю, сам ничего не знаю, — снова стремился уйти от вопроса Ребров.

Комаров отходил в сторону. Его руки, очевидно, требовали работы. Он из пустых бутылок, неизвестно где добытых, делал стаканы; пустые консервные банки превращались в кружки; на ночь ставил мышеловки, сделанные все из тех же консервных банок.

Тюремные дни тянулись нескончаемо. Рано утром и вечером проверка. После нее — горячая вода вместо чая и ни куска хлеба. Днем обед из картофельной шелухи. На весь день полфунта черного хлеба. Кузьма Иванович сумел сохранить при себе достаточное количество денег и прикупал дополнительно хлеб. Ему завидовали все, а по ночам крали у него оставшиеся куски. Вместе с хлебом из той же тюремной лавочки попадали в камеру свежие овощи, от которых у арестантов болели животы. И без того душный каменный мешок превратился в зловонную клоаку.

В первую же ночь Ребров был разбужен неожиданной ружейной перестрелкой. Арестанты вскочили, прислушиваясь. Там, наверху, словно кто-то сыпал на железную крышу тюрьмы гладкие камешки.

— Стреляют по тюрьме, товарищи.

— Это с кладбища, наверное, большевики.

— Тише ты.

За окном застучал пулемет. Снова по крыше свинцовый грохот. Снова пулемет. Потом тишина.

Утром болтливый надзиратель кому-то рассказал, что ночью подстрелили двух часовых.

Эти выстрелы и ночной переполох как-то подбодрили Реброва. «Значит, тут они, наши, под боком, — подумал он. — Если бы удалось задержать чехов и освободить Урал! Спасти золото!»

Нападение на тюрьму всполошило не на шутку белое начальство. В тюрьмы брошены две тысячи человек. А они, большевики, как ни в чем не бывало устраивают налеты. Участились внезапные проверки арестованных.

Какие-то неизвестные люди приходили группами и в одиночку в тюрьму опознавать знакомых большевиков. Они подходили к каждому узнику и пристально всматривались в него. Потом молча уходили. Кого они опознали, было никому не известно, и всякий боялся быть ошибочно опознанным. Звук постоянно открываемых засовов дверей камеры заставлял вздрагивать каждый раз, и только после вечерней проверки наступало некоторое спокойствие. Комаров поздно вечером подошел к Реброву.

— Товарищ, мне сегодня нехорошо. Мне чудятся шаги, будто кто-то идет за мной. Не знаю, кажется, что-то случится со мной нехорошее. Я верю, что ты выйдешь на волю. Если меня уведут, передай, когда сможешь, вот эту записку по адресу, — он протянул Реброву комочек бумаги.

— Хорошо, передам.

Камера спала. Во сне люди бормотали непонятное. Наверно, каждый из них видел себя свободным. Резкий стук засовов в необычное время прервал их сны.

— Комаров! С вещами выходи, — прокричал бас старшего.

— Прощайте, товарищи!

В дверях камеры мелькнула и исчезла фигура Комарова в польском картузе и лохмотьях. Камера молчала несколько минут.

— В расход, — тихо сказал кто-то. — Чуял. Беспокоился. Комиссар, надо быть.

Все легли, но, очевидно, не спали. Храпа и сонных выкриков не было слышно до самого утра. Ребров вынул записку и прочел. В ней было несколько слов какой-то женщине:

Прощай, дорогая Оля.
Может, сегодня я живу последний раз.
Ты получишь это письмо, если так.
Целую последний раз.
Страшное не дает мне писать. Да и все равно всего не напишешь. Скажи товарищам — погиб не зря.

Прощайте.
Николай Комаров.

На другой день дежурный надзиратель щеголял в картузе Комарова.

— С обновой, папаша, — окликнул его староста уголовных.

— Ну, этих обнов ныне хватит, — хвастливо откликнулся тот.

На другую ночь увели двух левых эсеров и одного красногвардейца.

Дней через двадцать после ареста загрохотали, как тогда, в последнюю ночь Екатеринбурга, орудия. Запели и задрожали старые стекла тюрьмы. Забегала охрана. Строго-настрого запретили арестованным подходить к решеткам окон, и один, забывший это приказание, получил пулю в лоб. А канонада приближалась. Арестанты считали разрывы и гадали: ближе или дальше.

— Эй, этот далеко у Шарташа, наверно.

— А вот этот совсем близехонько. Что ты врешь — «у Шарташа»! По вокзалу бьют!

— Еще, еще раз. Вот жарят. У вокзала, у вокзала. Наверняка.

Ребров тайком гадал, где ложатся снаряды. А вдруг наши берут город! Но тотчас же он вспомнил недавние сводки из-под Челябинска и насильно отогнал нелепые надежды на освобождение.

— Этот дальше.

— А, кажись, реже стали стрелять, ребята? — вскоре проговорил кто-то.

Все прислушались.

Канонада в самом деле стала затихать, удаляться. Вечером из города донеслись веселые марши оркестра: белые праздновали победу. Прорвавшийся отряд Красной Армии отбит, и Екатеринбург вновь вне опасности.

Ребров каждую ночь ждал своей очереди, но его не выкликали.

Валя у себя в комнате так же нетерпеливо прислушивалась целый день к канонаде. Она с еще большим нетерпением, чем Ребров, ждала занятия города, но вскоре убедилась, что эти надежды напрасны.

— Отбили, отбили, Валентина Николаевна, — прокричал в окно появившийся во дворе хозяин. За его спиной стоял незнакомый бородатый человек, который, взглянув на Шатрову, вежливо приподнял свою шляпу.

— Можно к вам, Валентина Николаевна? — постучал через минуту в комнату Шатровой хозяин.

— Знакомьтесь, это мой будущий сват, — сказал он, входя.

Бородатый человек быстро подошел к Шатровой, остановился около нее, пряча лицо в сторону, и дрожащим от волнения голосом произнес:

— Простите меня, Валентина Николаевна...

— Я не понимаю. В чем дело?

— Простите, Валентина Николаевна. По злобе, обидно было...

— Что такое? Говорите же скорее.

— Я написал на Кузьму Ивановича, — всхлипнул бородатый человек.

— Что написали? Не понимаю.

— Коменданту. Донос. А чтоб вернее было, и мужа вашего указал.

— Какая гадость! — Валя вскочила от негодования. — Негодяй! — крикнула она в лицо незнакомцу и хотела выбежать из комнаты, но только тут вспомнила, что надо заставить этого человека взять донос обратно.

— Простите, Валентина Николаевна. Дочь мою обокрали... — растерянно оправдывался незнакомец.

— Так вы на людей, ни в чем не повинных, из-за этого донос настрочили? Какая подлость! Пишите же скорей заявление, что донесли ложно.

— Боюсь я, а что, если мне за это... Да и поверят ли?

— Заставьте поверить чего бы это ни стоило. Мало вас самого упрятать в тюрьму.

— Вот и дочь моя теперь то же говорит, а сперва ревела, ревела, что Кузьма Иванович со свадьбой тянет. Что же писать-то?

— А когда донос сочиняли — знали, что писать? Садитесь и пишите.

Через полчаса Валя была в следственной комиссии. Она передала председателю заявление о ложном доносе и просила разрешить ей послать заключенному до его освобождения передачу.

— Пожалуйста, мадам. Вот вам моя записка к начальнику тюрьмы, — любезно раскланялся председатель следственной комиссии. — Дело Чистякова я разберу сам.

Кое-как, наспех закупив всяческой снеди, Шатрова торопила извозчика к тюрьме.

У железных дверей толпилось десятка два людей. Большинство из них — родственники уголовных, и только несколько человек пришли к политическим. Валя только сейчас догадалась, что через уголовных можно было бы послать кое-что и другим заключенным. «Как же раньше это не пришло мне в голову?» — думала она. Томительная процедура приближалась к концу, а дежурный надзиратель все еще не хотел разговаривать с Шатровой. Напрасно она ссылалась на разрешение следственной комиссии.

— Знаем мы, какие у вас разрешения, — оборвал грубо надзиратель. — Сказано тебе: политическим передачи нет.

— Я хочу видеть начальника тюрьмы.

— Подождешь, — спокойно захлопнул надзиратель тюремную калитку. — У меня от вашего брата целый день отбою нет.

Валя твердо решила повидать начальника тюрьмы сегодня же. В этой толпе ожидающих, связанных общим горем, она даже почувствовала себя несколько крепче. У всех свое горе, все его мужественно переносят, не она одна. Какая-то женщина тихо рассказывала, как погиб ее муж, в первый же день занятия Екатеринбурга: его расстреляли вместе с тремястами захваченными красноармейцами. Теперь она принесла передачу сыну, который тоже, может быть, не вернется назад. Высокий, сухой, седой священник, стоя с корзинкой продуктов, стыдливо прятался от людей в уголок тюремной ниши. Про него рассказывали, что, будучи в молодости черносотенцем, он громил в проповедях крамольников; и вот теперь, на старости лет, ему приходится приносить передачу сыну, который арестован за то, что служил в канцелярии какого-то советского учреждения.

Ни слез, ни жалоб не слышно в толпе. Очевидно, горе закалило этих людей, и только в глазах у каждого можно было прочесть невеселые думы.

Калитка открылась, из нее вышел сам начальник тюрьмы. Валя воспользовалась случаем и сунула ему в руку записку. Он внимательно прочел, что-то написал на обороте и попросил Шатрову зайти в контору. Там ей выдали разрешение на долгожданную передачу; и надзиратель, приготовившийся еще раз выругать назойливую посетительницу, посмотрев на разрешение, молча принял корзину с провизией.

Вечером того же дня к Реброву подсел один из заключенных.

— Товарищ Чистяков, — наклонился он к уху Реброва, — они человека ищут, который к большевикам мог бы проехать...

— Кто это они и какого человека? — спросил Ребров.

— Ну, такого, который бы поехал к этим... ну, к большевикам. Там у них заложником мукомол один сидит. Надо, значит, поговорить, нельзя ли выменять на кого... Тут, вишь, внизу по царскому делу две бабы сидят...

— Да я-то тут при чем? — оборвал его Ребров.

— Мне это сказал один тут... — замялся арестант, — я и думал, что ты самый подходящий...

— Самый подходящий под большевистскую пулю, — сказал Ребров. — Нет, ты кого другого попроси, а я от большевиков и так едва ноги унес.

Арестант повертелся еще несколько минут и потом отошел ни с чем.

«Дурака подсадили», — подумал Ребров.

Тюремные дни текли по-прежнему. День был долог от безделья, а когда он уходил, в памяти от него не оставалось никакого следа. Все же вечерами вызывали людей, и они исчезали навсегда. По-прежнему приходили опознаватели.

Раз сам комендант города Долов обходил тюрьму. Обросшего бородой, похудевшего Реброва было трудно узнать. Но, когда после лязга замка камеры Ребров увидел знакомую фигуру, он невольно прижался покрепче к подстилке и, несмотря на окрик «Встать!», пролежал так до ухода Долова, притворяясь спящим. Напрасно надзиратель толкал его сапогом. Он соскочил со своей подстилки, потягиваясь и протирая якобы со сна глаза, когда Долов уже уходил из камеры.

В этот день рано утром ворвался в камеру через решетку окна воробышек. Несколько раз он ударился о стекло другого окна и упал на подоконник. Потом неожиданно полетел в глубь камеры, покружился и сел на плечо к шагавшему взад и вперед Реброву. Ребров взял пичугу в руки (по желтым полоскам около клюва видно было, что это еще птенец) и подошел к окну. Одной рукой ухватившись за низ решетки, он потянул свое тело к высокому тюремному окну и высунул на улицу руку с воробьем. Воробей вспорхнул на ближайший

тополь. Неожиданый выстрел ошарашил камеру. Ребров отскочил от окиа. С мизинца его левой руки капала кровь.

— Сволочи, — иевольио выругался ои и стал биитовать тряпкой палец, который был поцарапаи куском штукатурки, отбитым от стеиы пулей. Арестанты сгрудились около иего, когда загремел засов. Старший иадзиратель с хриплой ругаиью обрушился иа иих.

— Выходи вперед, кто выбросил сверток! Хуже будет. Выходи сам!

Ребров сделал два шага вперед.

— Я подходил к окиу, ио свертков ие бросал, а выпустил воробья.

— Молчать! Фамилия? Ответишь теперь... Воробья выпустил! Знаем мы этих воробьев. Сам воробья получишь.

Двери сиова захлопиулись за старшим, и Ребров остался ожидать расправы за нарушеиие приказа тюремиого начальства. Арестаиты сочувствовали ему.

— Зачем вышел? Мы б тебя ие выдали.

— Тогда всех бы вас подвел под иаказаиие.

— Не к добру это тебе птица села иа плечо, — посулил пожилой железиодорожиик, — кабы ие было беды тебе, Чистяков.

Воробьиная история и выстрел взволиовали иа весь деиь тюрьму, и особеиио камеру Реброва. Деиь прошел быстрее, чем обычио, и после вечерией проверки те, кто рассчитывал в ту иочь ие попасть в число расстреляиных, могли мирио укладываться спать до завтрашиего утра. Вдруг в восьмом часу вечера иеобычиые шаги раздались по коридору.

— Раио сегодия, — соображал кто-то из арестантов вслух.

— Из которой? Не из иашей ли?

— К нам, к нам, — прошептали иесколько голосов.

Шаги смолкли у дверей. Двери раскрылись.

— Чистяков! Собирайся!

— Я готов.

— С вещами.

«Узиали», — мелькиула у Реброва мысль.

С вещами и после вечерней проверки отсюда уходили только навсегда. Сомнений быть больше не могло.

— Торопись! — рычал надзирательский бас.

Руки немножко одеревенели. Из вещей у Реброва были только корзинка от передачи, бутылки и подстилка.

— Оставь нам. Тебе все равно ни к чему, — шептал сзади какой-то тощий мужичонка.

— Возьми.

— Фуражку?

— На и ее.

— Говорил я: не к добру птица на человека садится, — пробормотал, не обращаясь ни к кому, железнодорожник.

— Идем, — резко сказал Ребров надзирателю.

Проходя по тюремному дворику, он не выдержал и спросил конвоира:

— Куда?

— Куда вашего брата водят? — обрезал тот и свернул к тюремной конторе.

Здесь было все так же, как и в тот день, когда Ребров впервые попал в контору. В узком коридорчике сидели надзиратели, дожидавшиеся своего дежурства. За решетчатой стенкой несколько канцеляристов-арестантов что-то тщательно записывали в книги. Налево — дверь в тюремную церковь, а прямо — в кабинет начальника тюрьмы. Надзиратель шел прямо. На минуту задержался у двери кабинета начальника, постучал в нее и пропустил вперед Реброва.

Начальник тюрьмы, краснощекий брюнет, сидел не за своим столом, а в кресле, рядом же на его месте восседал штатский моложавый человек в пенсне, сухощавый блондин с неприятными бесцветными глазами. Они переглянулись с начальником тюрьмы при входе Реброва, и штатский обратился к нему с вопросом:

— Вы Чистяков?

— Да, я Чистяков, — сказал спокойно Ребров.

— Вы знаете, за что арестованы?

— К сожалению, нет.
— Вы были студентом, а затем юнкером?
— Да. Третьей Петергофской школы прапорщиков.
— А кто был ее начальником? — быстро последовал вопрос.
— При мне полковник Пантелеймонов, — твердо произнес Ребров, вспомнив подпись на удостоверении Чистякова.

На лице штатского промелькнула улыбка, и он, указывая на стул Реброву, любезно произнес:
— Садитесь, пожалуйста. От имени следственной комиссии объявляю вам, что вы — свободны. А от себя лично поздравляю. Мы с вами почти однокашники, я лишь полугодом раньше вашего кончил третью школу и вышел в 258-й Буйский полк. Знаете, в самый последний момент эта сегодняшняя ваша история с воробьем вновь возбудила сомнение относительно вас, и я решил учинить вам этот допрос о школе. Простите великодушно.
— Ну что вы, право. Я и так вам обязан своим освобождением, — ответил ему Ребров.

Через несколько минут перед Ребровым лежало свидетельство об освобождении:

М. Ю.
Начальник
Екатеринбургской
VI класса тюрьмы.
№ 169

Билет

Дан гражданину Василию Михайловичу Чистякову в том, что он согласно постановления Екатеринбургской Следственной Комиссии освобожден из-под стражи, что подписано и приложением должностной печати свидетельствую.

Начальник Екатеринбургской тюрьмы
Шишков

Ребров шел, все еще не веря в свободу, по полутемным коридорчикам тюремной конторы. Стоявший у дверей надзиратель вытянулся в струнку перед шагавшим рядом с Ребро-

вым председателем следственной комиссии и быстро распахнул калитку.

Зеленая площадь и багровые облака заката ослепили Реброва. «Неужели же можно двигаться направо и налево, вперед и назад по своему желанию? Как просто. Не верится. Словно из бани», — почему-то подумал Ребров.

Спутник говорил что-то и тряс ему руку. Потом сел в пролетку и скрылся за поворотом. С исчезновением его вдруг на Реброва напал страх. Там, в тюрьме, он ждал худшего и примирился с тем, что будет. Теперь страх потерять свободу заслонил все чувства Реброва. «Отпустили случайно, опять арестуют, — подумал он с ужасом. — Бежать, бежать. Немедленно. Сейчас же. Ведь меня ищут», — вспомнил он объявление Дитерихса.

Не теряя ни минуты, Ребров нанял извозчика. Мимо мелькали знакомые улицы, бесчисленное количество народа шло и ехало по ним; и Реброву казалось, что среди этих людей идут его знакомые, которые вот-вот опознают его, и он опять попадет, и на этот раз уже без возврата, в только что оставленную тюрьму. Он торопил извозчика и в то же время заставлял его ехать не прямым путем — через центр, а окраинами. На каждом шагу прохожие оглядывались на Реброва и этим усиливали его тревогу. Он быстро поднес руку к голове, чтобы надвинуть фуражку поглубже на лоб, и тут только вспомнил, что отдал ее кому-то в тюрьме.

Валя была одна дома, когда раздался неожиданный звонок. Хозяевам, ушедшим в театр, было еще слишком рано возвращаться, а их знакомые со дня ареста Кузьмы Ивановича боялись навещать квартиру.

— Кто там? — спросила Шатрова с тревогой.

— Это я, — ответил знакомый голос.

Осенью тысяча девятьсот восемнадцатого года к востоку от Волги было много правительств: Самарское, Башкирское, Оренбургское, Уральское, Сибирское и Дальневосточное. Пра-

вительства ие управляли — атаманы и геиералы командовали правительствами. Это ии для кого ие было секретом. На Волге Самарскому правительству эсеры присвоили громкое иазваиие: «Комитет Учредительиого собраиия».

Никакого Учредительиого собраиия давио уже не было иа свете. Оно разбежалось после того, как матрос Железияков в Питере подошел к трибуие президиума и сказал председателю: «Довольио. Пора кончать».

Эсеры просто воспользовались именем Учредительиого собраиия, иадеясь привлечь к себе этим симпатии иаселеиия. Одиако трудящиеся с иасмешкой отиосились к эсерам и иазывали правительство иа Волге сокращеиио — «Комуч». Сводки белогвардейских правительств каждый день сообщали о победах. Но видио было, что Красиая Армия стойко дерется и чехи ие везде продвигаются вперед, а иа Волге отступают.

«Кизел еще далеко, — подумал Ребров, прочитав газеты, — успеем перебраться».

Он развернул карту Урала. Валя наклоиилась к иему.

— Здесь перейдем фроит, — показал на Самару Ребров, — тут больше дорог и людей — есть где укрыться. Да и меия там не ищут.

Железиодорожное сообщеиие было уже давио восстановлеио. Старые дореволюциоииые порядки были снова введеиы иа железиых дорогах: билеты первого, второго, третьего классов. Но ие хватало пассажирских вагоиов, и пока что все ездили в теплушках. Только пропуска оставались по-прежиему, как и при большевиках, и при отъезде каждый пассажир должеи был идти к комендаиту, чтобы поставить его печать иа своем удостовереиии.

Валя пошла в комендаитскую. Малеиький чех в офицерских погоиах стоял перед тщедушиым пожилым человеком, спрятавшим голову в плечи.

— Я чэшэский комидант, — кричал чех, свирепо хмуря лоб, — и бика с рогами нэ баюсь, черта с рогами нэ баюсь. Магу расстреляйть, магу помиловайть...

— Ваш удостовереиня, — протянул он Вале руку и быстро, не посмотрев на бумагн, поставил на ннх свой штемпель.

— Благодарю вас, — сказала Валя, но он уже не слушал ее и снова накинулся иа тщедушного человечка.

— Я чэшэский комнндант н черта с рогамн иэ баюсь...

«Челябниск, Челябннск», — рано утром завознлись пассажнры. Ребров проснулся. Валя сидела около него с бнлетамн в руках и смотрела в открытые дверн.

Длинный ряд теплушек, иабнтых пассажнрами, нзогнувшнсь дугой, подходил к станции. Локомотнв замедлнл ход. Дернул раз, другой и остаиовнлся. Пассажнры попрыгалн на платформу.

— Назад! Стой! — послышалась иеожиданио комаида с платформы. Ребров выглянул в дверь: цепь солдат окружила поезд. Ребров отошел в глубь вагона.

— Что это ты? — спроснл он соседа железнодорожника, спокойно развязывающего вещн, вместо того чтобы связывать их.

— Таможенный досмотр. За Челябой иовое правнтельство начниается, — усмехиулся железиодорожиик.

Солдаты влезлн в вагон. На полу теплушкн, иа платформе — раскрытые вещи пассажнров. Солдаты потрошат белье, продукты, мелочь. На скорую руку запихивают все это обратно.

— Закройте, — сказал Реброву таможенннк и бросил в чемодаи мыльницу.

— Ушлн, — вздыхают облегчеиио пассажнры, завязывая вещн.

— Перебулгачнлн зря.

— Ннчего не взяли.

— В ту сторону едешь, к Самаре, — ие берут, — сказал железиодорожннк. — В Сибирь без пошлииы не пускают... Таможеиная война, — снова усмехиулся он.

Ребров застегнул чемодан.

— Готова? — спросил ои Валю.

Вдруг совсем близко гряиул марш духового оркестра. Пассажиры подияли головы: иа платформе чешские солдаты, в светло-серых парадиых муидирах, в шапочках лодочками, выстроились в ряд.

Сверкают серебром и победио гремят трубы. Прямо к стаиции иесется пассажирский поезд. Блестящие вагоиы первого класса сперва мелькали, потом медлеиио поплыли мимо, иакоиец остаиовились и скрыли здаиие вокзала.

— Урра! Урра! — раздалось по ту стороиу пришедшего поезда. Торжествеииый марш то замолкал, то сиова гремел оттуда. Очевидио, там приветствовали кого-то.

— Что за правители? — крикиул веселый железиодорожиик проводиику из блестящего состава, показавшемуся в окио.

— Геиеральиая академия штаба, — ответил важио тот и подиял стекла.

— Нам сюда, Валя, — спрыгиул Ребров из теплушки в противоположиую от вокзала стороиу, где видиелись какие-то жалкие избушки.

За Челябииском железиодорожиый путь убегает виив. Здесь, как и иа гориозаводской лииии, Уральские горы с трудом пропускают поезд, и ои кажется игрушкой. А из окиа вагоиа почти каждую миииуту можио видеть иесущийся бездымиый локомотив, круто заворачивающий иаправо, иаправо, потом еще иаправо куда-то под гору, по спирали.

— Тагаиай, Тагаиай! — показывает Вале за окио ее сосед. — Полтора километра вышииой, — говорит ои.

Мелькают пруд, домики, завод. Златоуст. Малеиький вокзал заброшеи в лесу. Георгиевские флаги висят иад крышей. Бело-зелеиых сибирских ие видио.

Поезд почти ие остаиавливается. Торопится дальше.

За окиом поздиий вечер. Темиота. Это усиливает стук колес. Вагои спит. Но и во сне пассажиры чувствуют скорость несущегося с гор поезда.

— Почем в Уфе брал мед? — услыхал вдруг отчетливый голос Ребров.

Он открыл глаза. Светло. Пассажиры спят.

Спит Валя. Тишина. Вагон не двигается.

— Тридцать пять, — ответили за окном на вопрос.

Ребров поднялся на ноги и вышел из вагона. Поезд ночью вырвался нз гор, и кругом расстилалась степь. Тяжелое солнце заливало ее красноватым светом. Одинокая железнодорожная будка отсвечивала желтым. Ни станции, ни поселка.

— Почему стоим? — спросил Ребров проводников.

— Спросн охрану, — ответил один за всех.

Ребров пошел к паровозу. На паровозе никого не видно. Он обошел его и увидел группу людей, стоявших недалеко от полотна у чуть дымившегося котла. Рядом с костром валялись какие-то деревянные сооружения, похожие на остов телеги. «Переехали кого, что ли?» — подумал Ребров и пошел к костру. Двое военных внимательно рассматривали деревянное сооружение.

— Вчера вечером были здесь, — говорил будочник.

— Наверное, и десятка верст не ушли.

Около военных бегал низенький человек в синем костюме. Он то подбегал к ним, то как будто собирался бежать к вагонам.

— Отправляйтесь же скорее, — горячился он. — Они вернуться могут.

— Машинист не едет. Надо проверить мосты, — ответил военный.

— Они могут быть минированы, — добавнл второй.

— Кто тут был? — спросил Ребров.

— Красные банды, — оглянувшись, ответил черненький человек.

Ребров посмотрел на землю. Вокруг костра были разбросаны пустые закопченные консервные банки, махорочная обертка, окурки, скомканная газетная бумага и несколько винтовочных гильз.

Ребров подиял коисервиую баику, посмотрел виутрь ее: остаткн розового, непочериевшего еще мяса виднелись на стенках. Из банки вкусно пахло лавровым листом.

— Вот видите, свежне, совершеино свежие, — заговорил вдруг с Ребровым человек в сиием костюме. — Социалистическое правительство, — злобио добавнл он. — В своем тылу элементариого порядка иаладить ие могут, — сжал ои кулаки и подиял нх кверху.

Ребров подобрал с землн скомканиый клочок газеты и вместе с баикой спрятал в кармаи.

— Едут, — сказал вдруг сторож.

Воеииые пошли вперед по полотну. Ребров взгляиул туда. Навстречу поезду мчалось малеиькое чериое пятнышко. «Дрезина», — догадался Ребров. Ои вериулся в вагои и разбуднл Валю.

— Оставь на память, — сказал он ей, протягивая баику, н рассказал, откуда оиа. Потом разгладил скомкаиную бумажку.

Где и когда была иапечатаиа эта газета — иеизвестио. Только отрывок чьей-то речи можио было иа ией прочесть:

> Остается выбирать, товарищи: разбредаться ли нам по домам, бросив оружие и предоставив каждого из нас самому себе, или попробовать пробиться к нашим товарищам в район Екатеринбурга, чтобы вместе с ними задушить генеральскую контрреволюцию. Значит: идти ли две тысячи верст по тылам белых, с боем отбивая себе продовольствие, огнеприпасы, или крикнуть: спасайся, кто может. Наш отряд единогласно решил идти на соединение и не отступит от своего решения, если даже вы его не примете. Я не сомневаюсь . . . —

обрывалась речь неизвестиого оратора.

«Хорошн «банды», — подумал довольный Ребров.



IV

Самарский вокзал показался большим и красивым. В зале ожидания пришлось просидеть всю ночь. В гостинице легко было вызвать подозрение. При газовом освещении лица людей стали зеленоватыми, как у мертвецов. Между вокзальными диванами взад и вперед прохаживался чешский капитан, ожидая поезда. Вале он казался жалким, маленьким, игрушечным человеком. Куда спешит он? Впереди, с запада, движется к Волге Красная Армия, сзади, на востоке, тысячи

верст пространства, где уже орудуют партизанские отряды, спуская белые эшелоны под откос. Офицер, как маятник вокзальных часов, медленно вышагивает из стороны в сторону. Его жена с ребенком одиноко сидит на диванчике. Только время от времени останавливается он перед ними, бросая сухие слова в ответ на вопросы жены. Несколько военных, видимо случайно попавших в город, мелькают серыми пятнами то в одном, то в другом углу зала. Больше всего в зале пассажиров-беженцев: они дожидаются поездов на Сибирь. Табачный дым и кухонный чад висят в воздухе. Пищит ребенок где-то в углу. После двух перестали стучать тарелками официанты и оголился закрытый буфет. Самые нудные часы ночи.

Ребров несколько раз выходил на перрон. В темноте блистали огни Самары, осенняя свежесть уже чувствовалась в воздухе, и мимо шмыгали фигуры кондукторов с товарных поездов в пахучих овчинных тулупах.

Изредка проходили из комендантской комнаты охранники, вглядывались в черневшие вдали бесконечные составы. Поодиночке никто не решался двигаться с обходом, так как неведомые взломщики товарных поездов были прекрасно вооружены. Каждую ночь собирали они здесь богатую добычу, каждую ночь на них обрушивались облавой чехи, и в темноте завязывались перестрелки, но взломщики были неумолимы. В городе поговаривали, что разгром вагонов — дело рук не только взломщиков, но и железнодорожных рабочих, которые вредили как могли белым. Неудачи облав озлобляли чехов, и они десятками расстреливали ни в чем не повинных людей.

Облава начиналась обычно с проверки документов. На час или полтора часовые закрывали двери вокзала. Комендант с помощниками обходил по порядку всех и проверял удостоверения.

Ребров, облокотясь на корзинку, притворился спящим. Шатрова протянула его студенческий билет. На билете стояла университетская печать с двуглавым орлом. Комендант чех не понимал по-русски.

— Ваша муш? — кивиул он иа Реброва и иаправился к другим пассажирам.

Больше проверок как будто ие предвиделось, и Ребров с Валей, чередуясь, спали до утра.

Вокзальиое утро. С помятыми лицами, словио после большого кутежа, просыпались служители и официаиты. Сперва их появилось двое, потом еще двое. Кто-то уже бреичит посудой, кого-то толкают ногой, чтобы ие спал в проходе между столами. Пассажиры подиимают головы со столов, служивших им подушками, протирают глаза и спешат в уборную мыться.

Раио утром Ребров и Валя вышли с вокзала. Какой-то праздиик был в городе, и улицы были пустыиии до тех пор, пока самарцы после иеторопливого завтрака не вышли по делам или иа прогулку. Георгиевские флаги реяли иад домами. По улицам сиовало миожество воеиных: наглые фраитоватые офицеры и вымуштроваииые запугаииые солдаты. А иа стеиах и афишиых столбах грозные приказы геиерала Галкииа торжествеиио объявляли о новых и новых призывах в армию Комуча.

И как будто в иасмешку на тех же афишиых столбах, выцветший и пожелтевший, висел

ПРИКАЗ № 2
от 8 июля

1) Армия комплектуется призывом добровольцев.

2) Максимальиый срок службы — 3 месяца; каждый записавшийся иа службу ие имеет права оставить ее ранее этого срока под страхом ответствеииости перед судом.

3) Доступ в ряды Народиой Армии открыт для всех граждаи ие моложе 17 лет, готовых отдать жизиь и силы для защиты родииы и свободы.

4) Все без исключения добровольцы состоят на готовом полиом довольствии и получают жалованье в 15 р. в месяц.

5) Ввиду различиых условий службы, ответствеиности и знаиий добровольцев устанавливаются следующие суточиые деньги: рядовому бойцу — 1 р. в сутки, отделеииому комаидиру — 2 р., взводиому — 3 р., ротному — 5 р., батальоииому — 6 р., полковому — 8 р., иишпекторам по обучеиию войск — 8 р.

Воин, добровольно принявший на себя обязательство защищать свободу и родину от насилия, является выразителем идеи беззаветного мужества.

Поэтому Комитет членов Учредительного собрания постановляет установить для добровольцев Народной армии отличительный знак — Георгиевскую ленту наискось околыша.

Ребров с Шатровой без труда нашли рабочий район. Эта часть города называлась Молоканскими садами. На Невской улице у рабочего сняли они небольшую комнату.

Хозяева радушно встретили квартирантов. Беременная жена рабочего быстро подружилась с Валей. Она была еще в том периоде замужества, когда занятие хозяйством дает удовлетворение, и поэтому не успела сделаться расчетливой и сухой хозяйкой. Мекеша, как звали самого хозяина, оказался мобилизованным рабочим и работал в гараже чехословацких мастерских. В Молоканских садах не один Ребров укрывался от воинской повинности. Мекеша скоро понял, что его квартирант не из защитников Комуча.

Тревога чувствовалась повсюду. Сибирское правительство не скрывало своей вражды к Комучу. Атаман Дутов демонстративно просил разрешения Сибирского правительства покончить с «эсеровской сволочью» в Самаре. Генералам очень хотелось предоставить ему эту возможность, но чехи и военные агенты англичан и французов были против такого разгрома, и волей-неволей приходилось выжидать. Только неукротимый атаман Анненков, не спрашивая ничьего разрешения, двинулся со своим отрядом на Самару.

Высадившись на вокзале, атамановцы потребовали себе обед из буфета. Толстый буфетчик не торопился с обедом.

— Позвать сюда! — крикнул официанту один из офицеров.

Буфетчик мгновенно явился.

— Подадут-с, сейчас подадут-с. Не извольте беспокоиться...

— Молчать, стерва! — прервал офицер. — Подадут-с, подадут-с, — передразнил он его. — Ты думаешь, мы тут будем

ждать, пока ты спекулянтов кормишь, — ткнул он пальцем в сторону соседнего стола. — Тебя, сволочь, учить надо, как подавать анненковцам. Получай! — ударил офицер буфетчика по физиономии. — В другой раз расторопней будешь!

Анненковцы повскакали со своих мест и бросились к буфетной стойке. Через три минуты буфет был пуст. Батарея бутылок стояла на столах атамановцев. Штатская публика потихоньку исчезла, прячась за горшками с искусственными пальмами, за газетным киоском и за чем попало. Офицеры неистово бросались от одного стола к другому, и повеселевшие анненковцы после закусок и выпивки ревели «Боже, царя храни».

Вечером анненковцы рассыпались по городу. Их траурные погоны с красной полосой посередине и накладным изображением черепа с перекрещенными костями, казалось, напоминали каждому о том, как легко перейти из нашего мира в другой. Несколько анненковцев забрели на улицу, где над одним из зданий развевался красный флаг. Не веря своим глазам, они подошли ближе к зданию и над входом, к еще большему своему изумлению, прочли вывеску:

СОВЕТ РАБОЧИХ ДЕПУТАТОВ

На этот раз храбрые анненковцы растерялись. Они невольно начали оглядываться по сторонам, соображая, не попали ли нечаянно по пьяному делу к большевикам. Но нет, врагов не видно, и улица мирно отдыхала после сутолоки дня.

— Большевики?!

— Да нет. Это эсеры.

— Ребята, сорвем! — крикнул, задыхаясь от гнева, старший.

— Сорвем! — загалдели анненковцы.

На стук в двери вышла сторожиха. Удар кулака отбросил ее в сторону. По лестнице застучали каблуки сапог и зазвенели шпоры. По пути анненковцы сшибали письменные столы и били стекла. Красный флаг был сорван и унесен в виде трофея.

В тот же вечер били аииеиковцы по ресторaиам дирижеров, били артистов и певиц, отказавшихся петь «Боже, царя храии», адмииистраторов театров и ресторaиов и всех, кто пробовал защищать тех, кого оии били.

Поздио иочью, когда закрылись все самарские рестораны и кабачки, аииеиковцы собрались на вокзале. У иих все еще ие пропало желание «показать себя учредиловцам». В буфетиом зале продолжалась попойка. Диваиы и столы были сдвинуты в сторону, а посредиие зала, в тесиом кругу зрителей, двое «атаманов» отплясывали трепака.

— Господа! — иеожидаиио выскочил вперед худой и длииный офицер. — В тюрьму! Большевиков бить. За мной!

Круг расстроился. Все повскакали с мест. «Ура!» — загремело по залу, и толпа аииеиковцев, гремя шпорами, высыпала иа площадь перед вокзалом.

Тюрьма мертва. В душиых камерах беспокойио спали. Соиные крики то и дело будили задремавших в коридоре надзирателей. Вместе с большевиками тут же сидели уголовиые и спекуляиты. Был тут и какой-то иеудачливый баикир, арестоваииый за злостиое баикротство. Его привезли в тюрьму больиым. Деиьги и болезиь дали ему возможиость устроиться в отдельиой камере. Его иедавио оперировали, и ои лежал в тюремиой больиице.

Еще по дороге в тюрьму аииеиковцы сговорились взять из каждой камеры для расстрела по два человека. Но иашлись и такие, которые были ие согласиы с этой «иормой».

— Пять, семь, десять! — кричали пьяиые голоса. — Чего жалеть большевиков!?

Четырехэтажиое красиое здаиие тюрьмы показалось в конце улицы. Аииеиковцы затаились и тихоиько подходили к воротам.

— Стой! Кто идет? — раздался окрик часового, и щелкиул затвор.

— Свои! Анненковцы! — крикнул ему в ответ предводитель пьяной шайки, худой и длинный офицер.

В железных воротах открылся глазок. Тюремная охрана не сопротивлялась анненковцам. Надзиратели и конвойные привыкли к ночным посещениям добровольных палачей. В глубине души они были даже рады, так как знали, что анненковцы — народ богатый, вряд ли польстятся на одежду расстрелянных. Кое-что перепадет, значит, и на долю надзирателей.

Выстрелы на тюремном дворе затихали. В сером предутреннем мраке чернели груды неподвижных тел. Атамановцы добивали тех, кто еще хрипел. Вдруг одному из них бросился в глаза отдельный флигель тюремной больницы.

— А там что? — крикнул он ближайшему надзирателю и бросился бежать к флигелю. — За мной, ребята!

— Там больница! — кричал вслед надзиратель, но его голоса уже никто не слышал.

Неудачливый банкир после перенесенной операции спал тяжелым сном. Дежурный надзиратель не торопясь открыл дверь.

— Больница. Ночью не допускаем, — слабо протестовал он.

— Пошел к черту! — цыкнул на него офицер, бежавший впереди всех, и оттолкнул его прочь с дороги. — Эй, кто там! — крикнул он бежавшим сзади. — Выводи всех!

Солдаты подбежали к камере банкира. Он лежал один, и кроме него выводить было некого.

— Вставай! — крикнул офицер.

Банкир вздрогнул, недоуменно взглянул на него, не понимая, в чем дело, и, повернувшись на бок, тихо застонал.

Это был еще молодой человек. Темные волосы резко оттеняли белизну его кожи. Даже полузакрытые глаза казались большими и выразительными. Как избалованный ребенок, он окружил себя причудливыми безделушками из уральских камешков. На его столике каменная мышка сидела на камен-

ном кусочке сыра, а на кроватн вместо икоикн внсела куколка-балериика в ярком платьице и шапочке.

— Не притворяйсь. Выходн, а то околеешь иа месте, собака! — Офицер исступлеиио тыкал баикира нагаиом.

— Операция у него была вчера, — пробормотал иадзиратель. — Не может ои подияться-то.

— Чего врешь? Зиаем эти операции. Взять его!

Солдаты схватили баикира и поволокли по коридору.

В конце коридора бросили его, как мешок, иа стоявшие за дверями иосилки. Незажившие швы у больиого лопиули. Раздались хриплые, произительиые крики. Арестаиты, н без того встревожеииые иепрестаииыми выстрелами и уводом товарищей, заметались по камере, стуча чем попало в дверн и окна своих клеток. Небывалый шум наполиил тюрьму и несся через улицу к ближайшим домам.

— Да что вы там с иим возитесь, — подлетел к солдатам офицер. — Не видите разве, что ои в самом деле недорезаи. Получай, стерва! — Офицер выстрелил больиому в голову — раз, другой, третий, толчком иоги опрокииул иосилки и вместе с солдатами выбежал во двор.

— По домам. Хватит иа сегодия.

Аиненковцы построились и в пятом часу утра с песиями пошли к вокзалу.

На другой деиь весь город зиал о расправе в тюрьме. Может быть, учредиловцы и иа этот раз постарались бы как-нибудь ие заметить иочиого разбоя сибирских моиархистов, если бы ие расстрел баикира. Какие-то высокие покровители нашлись у погибшего баикира в среде чешского комаидовання. Оин поставили вопрос ребром о бесчииствах аииеиковцев. Делать было иечего. Комуч, в конце коицов, попроснл аииеиковцев честью удалиться восвояси. Атамаиовцы хмуро смотрелн на остающийся позади самарский вокзал и грознли:

— Ну погодите, господа эсеры, посмотрим, куда вы от большевиков побежите. Мы поговорим с вамн по-настоящему в нашей родной Сибири.

Свои угрозы анненковцы выполнили через несколько недель: они расстреляли сибирских эсеров.

Видно было, что все ближе и ближе подвигается к Самаре фронт. Митинги и собрания учащались с каждым днем. Афиши кричали аршинными буквами о предстоящих выступлениях вождей. Рядом на заборах красовались приказы Галкина и Чечека о новых сроках призыва.

— Василий Михайлович, — обратился как-то раз к Реброву Мекеша, — сегодня приказ пришел: готовиться к свертыванию мастерских. Наверное, удирать собираются чехи. Куда ж я-то от беременной жены поеду? Для других Сибирь сладка, а мне на что сдалась?

— Подожди, Мекеша. Время еще не вышло. Может быть, и ехать никуда не надо будет, — ответил ему Ребров.

Мекеша взглянул на Реброва, и оба почувствовали, что они друг другу не враги.

— В гараже билеты раздавали. Пойдем на митинг, Василий Михайлович? — неожиданно предложил Мекеша.

— Пойдем, — охотно согласился Ребров, и они пошли в город.

Митинг был назначен в кинотеатре «Триумф». Еще задолго до начала большой освещенный зал был полон. Бросалось в глаза огромное количество рабочих, главным образом из железнодорожных мастерских, в засаленных и черных от копоти рубахах. Рабочие сидели, стояли в проходе, висели на подоконниках, перилах, облепляли колонны...

— Это боевые, вишь, приперли, — мотнул головой Мекеша на железнодорожников. — Запарят министра, — довольно усмехнулся он.

На трибуне зашевелились. Сухой большеголовый человек в темных очках звякнул колокольчиком, выждал минуту, посмотрел на свои большие высохшие пальцы и сказал:

— Митинг объявляю открытым. В порядке дня два вопроса: текущий момент и вопросы заработной платы. От имени комитета членов Учредительного собрания доклад сделает министр общественного благополучия товарищ Краска.

Большеголовый сел и ударил несколько раз в ладоши. По залу пробежали редкие аплодисменты.

Ребров пристально посмотрел на идущего к трибуне человека: маленький, толстоватый, похожий на юркого подрядчика.

«Краска! Он самый!» — узнал Ребров и невольно спрятался за чью-то спину.

Краска поправил черные усы, погладил себя по чуть лысеющей голове и заговорил:

— Товарищи! Я только что вырвался из Совдепии. Поэтому, быть может, вы отнесетесь к моим словам с бо́льшим доверием, чем к обычным сообщениям из третьих рук...

Он сделал паузу, отпил воды из стакана и продолжал:

— Сегодняшний день характеризуют три момента: изживание большевизмом самого себя, рост консолидации здоровых демократических сил, рост влияния и авторитета демократических сил в глазах общественного мнения Западной Европы. Начнем сначала. В самом деле, какие задачи ставил большевизм перед захватом власти? Вы все помните. Их можно купно определить как осуществление социализма в кратчайший срок. И вот этот большевистский «социализм» определяется на сегодняшнее число как величайшая разруха, гражданская война, похабный Брест-Литовский мир, голод и нищета...

Я социалист в течение полутора десятков лет и имею смелость прямо заявить, что исхожу из того основного положения, что до социализма нам в России еще далеко и что сейчас мы живем и долго еще будем жить в обстановке капиталистического строя... Поэтому я самый решительный противник большевистских социалистических опытов, которые только разрушили наше народное хозяйство... Вы здесь купаетесь в изобилии сельскохозяйственных продуктов... Московский рабочий умирает с голоду на восьмушке овсяного хлеба... Вы здесь хозяева своей страны. В Москве хозяйничают немцы! Вы свободны. Никто не смеет посягнуть на ваши личные права. В Совдепии чрезвычайка день и ночь расстреливает рабочих.

Краска долго говорил перед молчаливой аудиторией. Он уже давно покончил с «консолидацией демократических сил», с телеграммой Пишона, приветствовавшего Комуч, и снова громил большевиков, призывая на их голову громы небесные. Наконец, утираясь платком, опустился на стул.

Большеголовый председатель снова ударил в ладоши. Словно по команде, опять пробежали жидкие аплодисменты и замолкли. В зале зашевелились, задвигали стульями, защелкали пружинные сиденья. Вдруг с задних рядов, где-то рядом с Ребровым, звонкий голос на весь зал уверенно прокричал:

— Врешь! Не верим!

Зал замер на мгновение, и в следующую минуту оглушительные аплодисменты разорвали тишину.

Председатель схватился за колокольчик. Бешено зазвонил, растопырив пальцы левой руки. Но еще более сильные, продолжительные аплодисменты заглушили колокольчик, крики председателя и Краски.

Зал долго не успокаивался. Большеголовый, передав колокольчик Краске, сам подошел к трибуне. Он заговорил о тяжелом финансовом положении страны, об огромных военных расходах и призывал рабочих временно подождать с увеличением заработной платы.

— У комитета сейчас нет денег, — кричал он, — и вы, как сознательные граждане, должны понять это и не настаивать на осуществлении невыполнимых требований.

Едва он отошел на свое место к столу, как снова тот же громкий и уверенный голос прокричал:

— Врешь! В Казани золото взяли. Придут большевики — деньги найдутся!

Зал второй раз затрясся от рукоплесканий, вихрем ударивших со всех сторон.

Краска подскочил к трибуне, красный от волнения и негодования, и, силясь перекричать шум аплодисментов, казалось, ловил ртом воздух:

— Казань... Благодаря мне...— доиеслись отрывки его реплик до Реброва,— я сам... Завтра в «Вечерней заре»...

Но рабочие уже не слушали Краску и торопились к выходу. Ребров вышел на улицу и остановился у темного подъезда. Мекеша куда-то исчез. Из «Триумфа» валила толпа. Она разбнвалась на группы, пары, одиночки и постепенно редела.

— Предатель, чего его слушать...— говорил какой-то рабочий юноше, шагавшему рядом.— Вкручивает: «Социалист полутора десятков лет». Когда же социалисты рабочих расстреливают?..

— Ты скажи,— говорили в другой группе,— куда золото дели?

— Куда? Конечно, не в твой карман припасено...

— Дураки мы были, дали им...

— Ты помалкнвай,— цыкнул на разговорчивого соседа хмурый усатый рабочий и подозрительно посмотрел иа Реброва.

Перед «Триумфом» было почти пусто, когда из подъезда вышел тот, кого ждал Ребров.

— Куда мы? — спросил Краска председателя.

— А что, если в «Подвал»? — предложил тот.

— Да все равно,— ответил Краска,— лишь бы забыть сегодняшний день.

— Ну вот, вы уже расстроились...— засмеялся большеголовый.

— Вам не понять,— перебил его Краска.— Я работал при Керенском, я работал у них,— махнул рукой куда-то за Волгу Краска,— и ннкогда не чувствовал между собой и рабочей аудиторией той глухой стены, которую чувствовал сегодня, вчера и каждый день с тех пор, как оказался в Самаре.

— Пройдет. Мы вас назначили министром...

— Что мне это «назиачнли миннстром»? — горячо возразил Краска.— Мне иужио, чтобы мой авторитет был закреплен не словесными обещаниями, а уступкой: повышением, хотя бы на время, заработиой платы, создаиием хоть видимых рабочих оргаиизаций. Я у большевиков видел иа деле, как

они покупают доверие рабочих, и, поверьте мне, нам до них далеко.

— Не обижайтесь, — ответил спутник Краски, — но вы еще не отвыкли от Совдепии и немножко ее идеализируете... Да вот мы и у цели, — переменил он тему разговора, показывая на блестящие круглые шары у входа в «Подвал».

Ребров остановился, дал время Краске и его спутнику войти в «Подвал» и подошел к стеклянной двери...

Швейцар с золотыми галунами принимал одежду. На длинных вешалках лежали картузы, кепи, несколько котелков и большое количество пестрых дамских шляпок.

«Кабак», — подумал Ребров и прошел немного дальше вдоль дома... «Подвал» кончился, и освещенные окна уходили во двор. «Не видно ли оттуда?» — заглянул Ребров в ворота и вошел во двор.

Темные занавески не везде плотно закрывали окна. Из открытой форточки одного окна неслись звуки пианино, и чей-то голос пьяно декламировал:

Друг мой, брат мой,
Усталый, страдающий брат,
Кто б ты ни был, —
Не падай душою...

Пианино замолкло.

— Браво! Браво! — послышались из окна визгливые женские голоса.

— Просим! Просим! — вдруг совершенно отчетливо услышал голос Краски Ребров.

Пьяный декламатор неожиданно громко, с подвыванием запел:

Быстры, как волны,
Все дни нашей жизни...

Его пробовали поддержать другие, но спутались и замолчали.

— Клянусь, как вечный студент, — снова закричал декламатор, — высшая школа в Комуче будет процветать!

— Ха-ха-ха! Ура! Ура! — кричали ему в ответ.

Гаудеамус игитур,
Ювенес дум су-умус... —

пробовали хором запеть за окном и снова, очевидно не зная слов, замолкли.

Ребров подошел к форточке. Ветер колебал занавеску. В комнате за большим столом, уставленным бутылками и закусками, сидели мужчины и женщины. С краю сидел Краска, перед ним стоял полный стакан. Ветер захлопнул штору. Комнату стало не видно. Из форточки донеслись слова:

— Тост! Тост!

— Просим! Просим!

— Могу, — ответил прежний голос. — Я пью за мертвую Самару! — выкрикнул он.

— Что?.. Что?..

— Правительство... — захохотал он. — Мы — правительство? Хи-хи-хи!

— Армия... Где наша армия?! Скажите, где наша армия?! — хохотал пьяный.

— Уберите его, — услыхал Ребров кем-то сказанные слова.

«Эх, гранату бы им туда», — подумал он и вдруг, нагнувшись, схватил большой булыжник, валявшийся у стены, и с размаху швырнул его в окно.

«Дзинь!» — раздалось позади. А он, выскочив за ворота, как ни в чем не бывало медленно прошел мимо входа в «Подвал», мимо бегущего навстречу швейцара, мимо официантов, спешивших за швейцаром.

Вышедшие утром самарские газеты на все лады взволнованно обсуждали «таинственное» ночное происшествие. «Вечерняя заря», к примеру, сообщала:

> **В ночь на сегодняшнее число в художественном ресторане „Подвал“, во время происходившего там частного совещания некоторых членов правительства, неизвестными лицами было произведено неудавшееся покушение на собравшихся.**

Первые результаты следствия показывают, что метательный снаряд, брошенный в окно, был пущен со стороны двора. К счастью, разрыв снаряда, очевидно, произошел еще до момента проникновения его в комнату, так как осколков его в комнате не обнаружено, за исключением влетевшего с улицы в момент оглушительного разрыва камня.

Присутствующие отделались испугом, и двое легко контужены осколками стекла. Предполагается, что покушение произведено большевистской подпольной организацией. Меры к задержанию преступников приняты.

В том же номере газеты Ребров неожиданно наткнулся на большой фельетон Краски, в котором он описывал свой переход через фронт. Очевидно, этот фельетон был не первым, потому что в заголовке стояло:

Л. Краска

Письмо четвертое

Мы выехали из Казани на пароходе «Амур». Это был не пассажирский, а пароход специального назначения. Он вооружен пулеметами и имеет на борту не совсем обычную публику. В каютах разместились члены Учредительного собрания, эсеровские и эсдековские партийные работники, солдаты добровольческих отрядов, сформированных Комитетом членов Учредительного собрания. На пароходе, кроме того, едет почти вся Академия Генерального Штаба во главе с профессором Андогским, в сопровождении жен и детей. Они едут в Самару, чтобы потом двинуться далее в Сибирь.

Хотя путь от Казани до Самары очищен от большевиков, тем не менее наш пароход идет с большими предосторожностями. Ночью он гасит огни, и на палубе выставляют часовых. В нескольких местах пароход окликают стоящие на реке сторожевые суда. Мы приостанавливаем движение, обмениваемся паролем с вопрошающими и затем идем дальше. Уже на рассвете я внезапно разбужен сильным шумом и стуком на палубе. Поднимаю голову. Прислушиваюсь. С берега стреляют. Частые пули стучат по железной обшивке парохода. Наши солдаты с грохотом поворачивают пулемет. Еще момент — пулемет запел свою песню.

Утром на палубе профессор любезно и детально рассказывал нам о предстоящих военных операциях под Москвой. Он говорил:

— Линия Кама — Волга решающая для исхода кампании. Как только падет Пермь, дни и часы Москвы будут сочтены. На всем протяжении военной истории я не встречал более удивительного, более разительного явления, чем демократическая армия Комитета

Учредительного собрания. Ее солдаты — образец для любой европейской армии! Ее руководители были бы украшением нашей Академии!

Я говорил с командующим Поволжским фронтом Лебедевым. Он очаровывает, он подавляет...

— Вы высоко рвцениваете его операцию под Казанью? — спросил я профессора.

— Да, это было похоже на взятие Очакова Петром Великим. — ответил генерал.

Между тем пароход подходит к Симбирску. Этот тихий провинциальный город даже сейчас, в эпоху гражданской войны, напоминает собой старинное дворянское гнездо. Управляющий губернией сообщил нам, что фронт от города еще близко, и просил похлопотать в Свмаре, чтобы выслали подкрепление. Я обещал.

Потом мы все вместе вышли на высокий берег Волги, с которого открывается дивная панорама на величавую реку и на степи противоположного берега, — вероятно, одна из лучших панорам в России,— и стали рассматривать линии расположения комитетских войск.

К вечеру пароход покинул Симбирск и, быстро проскочив под покровом ночи расстояние, отделяющее его от Самары, утром оказался в виду берегов столицы Учредительного собрания.

Наконец-то я в Самвре. Наконец-то окончательно и бесповоротно вырвался из Совдепии в самую демократическую страну в мире.

Вот мы и в городе. Все прекрасно, все необычно. Выстввки магазинов полны всевозможными товарами, являя резкий контраст с товарной пустотой, зиявшей в московских магазинах. Вся картина города носит хорошо знакомый, привычный, старый характер, еще не нарушенный революцией. Эти горы белого хлеба, свободно продающегося в ларьках и телегах, это изобилие мяса, битой птицы, овощей, масла, сала и всяких иных продовольственных прелестей меня ошеломили.

Мы пошли в помещение Комитета. Дружеская беседа закипела. Все смотрели на нас как нв героев, прорвавшихся через фронт. Через час, утомленные долгой беседой, мы вышли на балкон. День выдался прекрасный, тихий, ясный, с ярким солнцем, с хрустальными далями.

С балкона открывался прекрасный вид на Самару, уступами сбегающую к берегу Волги, на широкую полосу волжской воды и на еще более широкие, уже слегка желтеющие степи за Волгой.

Оттуда, из этих степей, доносился легкий аромат умирающей травы и веяло свежестью безграничных просторов. Пораженный этим видом, я воскликнул:

— Разве вы не видите, как чудесна Самара? Мы ни за что, никогда не отдадим Самару.

— Клянемся, что не отдадим ее никогда! — откликнулись мои спутники.

Так встретил меня первый день в Самаре...

«Даже соврать не сумел, — подумал Ребров, бросив «Вечернюю зарю». — Какие же степи за Волгой в Жигулях? Теперь неделю будут шуметь», — вспомнил он заметку о покушении в «Подвале» и весело засмеялся.

Самара волновалась с каждым днем все больше и больше. Ребров давно уже понял, что происходит негласная эвакуация города. Там, за Сызранью и Ставрополем, что-то неладное случилось с учредиловскими войсками. Трудно было судить по газетам Комуча о положении на фронте. Но однажды Ребров наткнулся на сообщение, которое не оставляло сомнений в успехах красных. «Волжское слово» писало:

> . . . За крупную сумму вывезенных ценностей с Урала большевики пригласили в состав Красной Армии виднейших германских генералов, чем и объясняется возросшее за последние дни упорство красноармейских частей, укрепившихся к западу от Волги. На нашем участке вместе с немецкими военспецами руководит операциями красных царский генерал Запригаев, прославившийся бесчеловечностью и зверствами еще в мировую войну. Командование войск Комуча приняло меры к ликвидации укрепившегося сопротивления.

— Этот царский генерал нас с тобой познакомил, — засмеялся Ребров, протягивая газету Шатровой.

С некоторых пор появился на Волге и стал на якорь около Самары гигантский пароход «Граф Александр Васильевич Суворов». На нем, как было известно всем, помещался главный штаб комучевского командования. В городе поняли, что фронтовая линия находится уже не так далеко от Самары.

Как-то во время прогулки Ребров и Валя натолкнулись на неожиданную процессию. Одна из улиц была закрыта для движения пешеходов. Двойная цепь пехоты и кавалерия протянулись на всем расстоянии от Волги до вокзала. На грузовиках, наполненных мешками, сидели тесно прижавшись

друг к другу солдаты с винтовками. Несколько бронированных автомобилей с пулеметами открывали и закрывали процессию.

— Золото везут, золото, — шептал кто-то в толпе зевак.

— У большевиков в Казани отняли, — добавлял другой.

— Комиссар-то, что был к золоту приставлен, говорят, в окно выскочил, тем и спасся.

Ребров внимательно вглядывался в процессию. Она ему напоминала другую, которую недавно возглавлял он.

— Ребров, тут и твое, наверно, попало? — сказала шепотом Валя.

— Не знаю. Мы хорошо спрятали, — ответил Ребров. — Вот если его достали и отправили в Казань...

Дождавшись конца процессии, они пошли домой.

— Золото увозят в Сибирь, значит, эсеры не надеются на свои силы.

— Ты думаешь, что учредилка кончается?

— Да. Они доживают последние дни.

На другой день Реброва разбудил Мекеша в неурочное время.

— Почему не работаешь? — спросил спросонок Ребров.

— Пойдем на улицу, Василий Михайлович, дела есть важные, — ответил тот.

Ребров на скорую руку оделся и через пять минут полупустынными еще улицами шагал рядом с Мекешей по направлению к городу. Там около первого забора Мекеша остановился и ткнул пальцем в одну из бесчисленных афиш, только что наклеенных разносчиком.

— Читай, Василий Михайлович.

Ребров посмотрел на забор. Белая афиша вопила о тревожных событиях:

Граждане и братья,

настал грозный час: враг у ворот.

Бесчисленные орды китайцев, латышей и венгров, под предводительством лучших тевтонских полководцев и озверелых большевистских комиссаров, надвигаются на демократическое Поволжье.

Пала Казань. Пал Симбирск. Враг стучит в ворота Сызрани и угрожает Самаре — последнему оплоту демократической России.

Но в наших сердцах не должно быть места унынию и печали.

Русский народ уже пробуждается от большевистского угара, и в тылу Красной Армии пылают зарева восстаний; наша победа близка, несмотря на тяжелые испытания, посланные нам судьбой.

Верные сыновья России, приказываю вам всем без различия возраста, рода занятий и состояния здоровья явиться в двухдневный срок на приемочные мобилизационные пункты для зачисления в резервные ополчения обороны г. Самары. Верю, что не найдется ни одного человека среди жителей Самары, который бы в эту тяжелую минуту для родины пренебрег ее интересами.

Главнокомандующий
Волжским фронтом Лебедев

Прочитав адреса приемочных пунктов в конце воззвания, Ребров перевел глаза на соседнюю афишу. Там кратко и без лишних слов сообщалось:

Объявляю осадное положение. Под страхом смертной казни ни один мужчина не имеет права отбывать из города без разрешения штаба войск Комуча.

Свободное время для движения по городу разрешается от восьми утра до шести вечера.

Замеченные в нарушении приказа штаба войск будут расстреляны на месте.

Генерал Галкин

— Ну, что скажешь, Василий Михайлович? — прервал чтение приказа Мекеша. — Никак нам идти на призывные пункты надо, а ты у меня не прописан. Как бы мне не попало за это дело...

— Не бойся. Я сегодня от тебя съезжаю.

— И я бы рад сам от себя съехать, да как? — ответил Мекеша.

— Не шутишь?

— Какие там шутки, Василий Михайлович. Надя едва ходит, не сегодня-завтра ей рожать, а я — в ополчение. Знаем мы, кто в ополчение-то попадет. Наш брат! А те, что побогаче, давно в Сибирь подались, пятки салом смазали. От кого мне Самару защищать — от своих, что ли, Василий Михайлович?

— Смотри, Мекеша, не прогадай. Я съезжать от тебя хочу не потому, что красные для меня милы, а воевать надоело, пять лет воевал, — ответил Ребров.

— А кому она не надоела, война эта?—согласился Мекеша.

Ребров молча шел несколько минут, раздумывая, стоит ли покидать город вместе с Мекешей. Все попытки узнать Мекешу поближе кончились неудачей: он соглашался со всем, что бы ни говорил его собеседник. «А, впрочем, — думал Ребров, — чем я рискую?»

— Так что же, Мекеша, поедем вместе?

— Чего же не поехать? Поедем, Василий Михайлович.

— У тебя поблизости никого не найдется из родственников, у кого бы укрыться на время?

— А как же: в Зуевке Надины отец с матерью живут. Они всегда укроют.

— А сколько это верст от города?

— Шестьдесят будет.

— Ну, если решил, так давай к ним и пойдем. Согласен, что ли? — спросил Ребров, — подходя к дому.

— А с бабами как, Василий Михайлович?

— С собой, конечно.

— Ой! Беременную-то?

— Обеих с собой.

— Не дойдут.

— Подсадим к кому-нибудь. В городе их обидеть могут.

Пришли домой. А вскоре все вместе ушли, как будто собрались на прогулку, не взяв с собой ничего. Только у Вали небольшой сверток: в нем по бутерброду на каждого.

Город еще не проснулся, и грозный приказ украшал пока заборы улиц, не привлекая ничьего внимания. Через весь город надо было пройти из Молоканских садов, чтобы попасть за реку Самару. Ребров решил идти на Зуевку, так как она находилась к югу-востоку от города, в стороне от главного фронта. «Там, где-то у начала Уральских степей, — думал Ребров, — будет легче перейти фронт; ведь главные массы войск должны были двигаться на самую Самару».

У элеватора иад Самарой в последиий раз закусили путиики перед тем, как выйти из города и пуститься в опасиое путешествие. Ребров первый дошел до моста. К его удивлеиию, на мосту ие оказалось ии души. Тогда Ребров смело двииулся вперед, а за иим последовали его товарищи. Оии шли и ждали, что их вот-вот окликиут иевидимые часовые. Но мост кончился, а путников иикто ие окликиул, иикто ие погнался за ними. Кругом по-прежиему было пусто и безлюдно.

Ребров усмехиулся:

— Приказы грозиые пишут, а часовых ставить забывают. Эсеры везде одииаковы. — И вдруг вспомиил «Подвал»: «Я пью за мертвую Самару...»

Заречная слободка также окоичилась. И на ее околицах тоже ни одиого человека.

Перед беглецами развериулась широкая степь. Вдали, верстах в пятиадцати, белела церковь села Лопатино, к нему пролегала извилистая проезжая дорога, а прямо иа иего, казалось, стрелкой нацелилась пешеходиая тропинка. Прошли версты две, сзади по дороге затарахтели пустые телеги. Облако пыли стало быстро приближаться.

— Эй, земляк! — закричал Мекеша проезжавшему мимо подводчику. — Сделай милость. Посади баб, истомились оии. Довези до Лопатина.

— Садись. По красиеиькой с рыла.

— Что ты? Живодер иашелся...

— Ну, ищи другого. Комитетские, видать? — захохотал мужик. — Пятки салом смазали? — И дернул вожжи.

— Стой! — закричал Ребров. — Черт с тобой, получишь по десятке. Вези.

Жеищии посадили, мужик ударил по лошади. Облако пыли скрыло телегу. Ее рассыпчатый стук то удалялся, то как будто виовь приближался и иакоиец замер в отдалеиии.

Мекеша и Ребров шли по тропинке напрямик, собираясь выиграть время и расстояиие и прийти в Лопатиио раиьше подводчика.

— Не торопись, Василий Михайлович, — говорил утомившийся Мекеша. — Успеем. Во, видишь — бахча? Свернем на минуту, арбузом закусим — быстрее дойдем.

Ребров пробовал отговорить товарища от ненужной задержки, но в конце концов уступил ему, и они свернули на бахчу. Ни сторожа, ни хозяина не было видно. Бахча, очевидно, была заброшена. Арбузы оказались мелкие, недозрелые.

— Говорил тебе, напрасно время теряем, — сказал Ребров, и они снова двинулись в путь.

Бесконечная, сливающаяся с горизонтом степь располагала к молчанию. Некоторое время шли молча. Реброву не верилось в скорое освобождение от белых. Мекеша мечтает о радостях деревенской жизни. Его, как всякого горожанина, деревня прельщала отдыхом, тихой природой и вкусной едой. Самара, оставшаяся позади, становилась все меньше и меньше, только золотые купола ее соборов резко выступали на белом фоне слившихся в одно зданий, да элеватор причудливой башней разрезал горизонт. Степь как-то заставила забыть давешние страхи, и Ребров с Мекешей беспечно шли по убегающей вперед тропинке. Вдруг Мекеша замер на месте:

— Казаки, Василий Михайлович!

Ребров тотчас различил на расстоянии полутора-двух верст прыгающие фигурки всадников. Они мчались навстречу — по направлению к городу.

— Василий Михайлович, бежим, — схватил за руку Реброва Мекеша.

— Куда ты от них убежишь, чудак? Они нас лучше видят, чем мы их. Обгонишь их, что ли? Надо идти навстречу.

— Нет, что ты, убьют. Вон стог. Зароемся в него.

— Да пойми ты, они нас, наверное, уж увидели.

— Нет, я в стог. — Мекеша бросился бежать к стогу и в одно мгновение врылся в него, только кончики его сапог чернели у подножия.

— Ноги спрячь, — ткнул в сапог Ребров. Он прилег с

противоположной стороны стога, чтобы не попасть всадннкам иа глаза.

Мекеша в стоге заворочался н стал кашлять. Пыльное сеио донимало его. Ребров считал время.

А вдруг казакам придет в голову остановнться у стога покормить своих лошадей и отдохнуть? Тогда онн наверняка заметят Мекешу, и расстрела не миновать. Стук копыт послышался н внезапно исчез. Ребров с полчаса выждал, прежде чем подняться на ноги. Ннчего подозрнтельного вндно не было.

— Мекеша, вылезай. Уехали, — окликнул он.

Мекеша вылез и стал внимательно осматрнваться по сторонам. Потом полез на стог н оттуда снова оглядел степь.

— Опять казаки, — иеожиданно вскрнкнул он н кубарем свалился со стога.

— Ну, этих не бойся. Они нас не могли заметить, — успокаивал его Ребров.

— Нет, я опять в стог.

И снова Ребров остался в одиночестве лежать у стога, считая минуты. Когда скрылся нз виду и второй отряд всадннков, Мекеша, отряхиваясь, вылез из сена и сказал Реброву:

— До вечера не пойду дальше, Василий Михайловнч. Тут их рыщет видимо-невидимо. Как есть, попадешь в лапы.

— Что ты говоришь, подумай! А Надя н жена моя как? Они уже наверняка беспокоятся, не понимают, почему нас до снх пор нет в Лопатнне. Пойдем, не бойся. А что, если онн попадут к казакам?

— Не пойду, Васнлий Мнхайловнч, мне жизнь самому мила.

— Да ты в село не заходн, я однн нх пойду разыскнвать. А стогов в степн на тебя хватит. Всегда найдешь себе подходящий.

Наконец Мекеша уступнл.

Осениий вечер быстро накрывает.

В какне-нибудь полчаса расползлнсь и исчезлн очертания приближающегося Лопатина и далекой уже Самары. В горо-

де не горелн огнн и не было вндно нн одной светящейся точки. Чехи боялнсь летчнков.

Непроезжая дорога вместе с темнотой расшнрилась н слилась со степью. Все труднее н труднее путникам было отыскнвать тропннку. Только какнм-то особенным чутьем угадывал ее Мекеша, н Ребров целнком положнлся на него.

Осенней ночью степь молчалива, как кладбнще.

Кузнечнков уже давно не было, н онн своим свнстом не наполняли пространства; летучне мышн также, наверное, залеглн на зимнюю спячку и не шарахалнсь над головой. Не слышно было н ночных птнц.

— Ну н тьма, Мекеша. Хуже, чем в лесу.

— А ты как думал? Степь — она всегда так: днем на сто верст смотри, а вечером на встречного найдешь — лбом стукнешься. Да вот же недалеко н до села. Слышнш ь, собаки лают?

Ребров прнслушался, остановнвшнсь на месте. Где-то далеко в самом деле лаялн собакн.

— Я тебя до околицы доведу, — продолжал Мекеша, — а там ты уж однн дойдешь.

Прошло еще мннут двадцать, прежде чем Мекеша остановнлся.

— Прнш ли. Вот так прямо все ступай, Василий Мнхайлович, — махнул он перед собой рукой, — а обратно пойдешь по тракту, я тебя там ждать буду. Не опасайся — услышу, как пойдешь. Шаг у тебя тяжелый. Я тебя окликну. Только по тракту своротн около церкви налево, а то направо пойдешь — обратно в Самару прндешь.

— Хорошо.

Ребров зашагал, не вндя перед собой впередн н на два шага. Мннут через десять он наткнулся на плетень, промазанный глнной, н пошел вдоль него до блнжайшего переулка. Лопатнно спало. Нн одного огонька не вcovнелось в хатах. Пустые улнцы хранннн молчание, где-то в стороне однноко залнвалась собака. Только войдя в село, Ребров понял, что

искать Валю и Надю в такой поздний час бессмысленно. Будить всех мужиков подряд и спрашивать, не у них ли остановились две городские женщины, опасно и бесполезно. Он все же решил поискать церковь и у ночного сторожа узнать, нет ли в селе постоялого двора. Стараясь наугад попасть в середину Лопатина, Ребров прошел еще две улицы.

Где-то впереди раздался стук многочисленных копыт. Сначала топот был слышен очень далеко, потом ближе и вдруг почти совсем затих.

«Почему так поздно гонят стадо?» — подумал в первую минуту Ребров. Но не успел он отдать себе в этом отчет, как тот же топот вырвался из тишины совсем рядом. По бокам замелькали черные тени людей на лошадях. Ребров отскочил в сторону и вдруг почувствовал, что находится между круто остановившимися всадниками. Морды храпящих коней лезли в его лицо. Один из всадников пригнулся, всматриваясь, и громко окликнул:

— Где староста живет?

— Не знаю, — ответил Ребров, разглядев у спрашивающего за плечами карабин.

Всадники хлестнули по лошадям и помчались.

«Казаки! Надо бежать», — решил Ребров и быстро пошел вперед. Дорога, твердая до сих пор, прервалась песком и заглушила шаги. Реброву стало ясно, почему так внезапно на него налетели казаки. Он вошел в первый же переулок налево. Перескочил через забор, через другой. Снова прошел переулок. Кругом стояла та же тишина.

Ребров уже выходил из переулка в степь, когда за ним послышались удары копыт и оклик:

— Стой, гражданин!

Ребров остановился. Всадник подъехал ближе, чиркнул спичкой и закричал, осветив на минуту Реброва:

— Куда ты?

— В Дубовый Умет, — назвал Ребров близлежащее село.

— Кто такой?

— Тамошний учитель, — соврал Ребров.

— Не велено пускать никого из села, — уже менее враждебно сказал кавалерист.

— Да вы-то кто такие? — сердито спросил Ребров.

— Мы учредиловские драгуны. Идите, граждане, обратно.

Пришлось повиноваться, и скоро всадник потерялся позади в темноте.

«Надо через дворы», — решил Ребров и, не дойдя до первого переулка, перемахнул снова через двор, по задам пробираясь в степь.

Ночь еще мрачнее насупилась над степью. Разыскивать трактовую дорогу было бы трудно, но вдали громыхали телеги, и по их стуку легко можно было найти тракт.

Через десять минут Ребров шагал по дороге, рассчитывая у кого-нибудь с первой попавшейся подводы узнать, в которой стороне Самара, чтобы не попасть обратно в город. Вдруг неожиданно от ближайшего телеграфного столба отделилась тень и окликнула голосом Мекеши:

— Василий Михайлович, ты?

— Я, я, Мекеша. В Лопатине драгуны. Наших надо искать днем. Придется ночевать в степи. Давай поищем стог и устроимся на твой манер.

— Что ты, Василий Михайлович! Коли драгуны близко, надо подальше бежать. Вот хоть бы до Дубового Умета добраться. Может, давешний мужичок и их провез подальше — драгунов испугался.

Мекеша не хотел остаться в близком соседстве с драгунами и все настойчивее уговаривал Реброва двинуться дальше.

— Пусть будет по-твоему, — согласился, наконец, Ребров. — Только знай: завтра утром ты пойдешь со мной обратно в Лопатино, если не найдем наших в Дубовом Умете.

— Ладно, завтра пойдем, а сейчас вон туда, — двинулся в сторону Дубового Умета Мекеша.

Они прошли верст пять, когда сзади послышалось тарахтение подводы и посвистывание возницы.

— Попросим его, Василий Михайлович, может, подвезет, — сказал Мекеша.

— Эй, стой! — крикнул Ребров, поравнявшись с мужиком в телеге. — Нам тебя надо.

— Я знаю, что вам меня надо, — ответил мужик, останавливая лошадь.

— А ну, подвези до Дубового Умета, — подошел Ребров к подводе.

Подводчик нехотя подвинулся в сторону и сердито пробормотал:

— Чего спрашиваешь? Садись. — Резко хлестнув вожжами по лошади и отвернувшись от попутчиков, он замолчал.

— Неразговорчивый хозяин, — минут через десять прервал молчание Мекеша. — Да шут с ним. Покуда ляжем спать. — И он удобно устроился на соломе.

Ребров сидел молча. Впереди Дубовый Умет — большое село, не меньше Лопатина; разыскать в нем Валю и Надю невозможно. И если там нет казаков, то придется сегодня обойти только постоялые дворы, а утром поискать по-настоящему.

— А я ведь думал другое, — неожиданно повернулся подводчик к Реброву.

— Что другое? — не понял тот.

— Да тут передо мной ближе к Самаре одного вот так же остановили, выручку, что с базара вез, отобрали... Ну, вот я про вас, значит, и подумал, что эти самые.

Ребров засмеялся; возница сразу повеселел.

— Ну, коли вы добрые люди, то и угостить вас не грех. Не хотите ли соленого арбуза с ржаным хлебом покушать? — Он достал откуда-то из-под себя два арбуза, ковригу хлеба и нож. — Буди товарища: наверное, тоже есть хочет.

Мекеша мгновенно проснулся, как только услышал, что есть что закусить. Мужик с усмешкой наблюдал, как быстро исчезает его угощение.

Часа через два началась околица Дубового Умета. Собаки с диким лаем выскакивали из подворотен на шум телеги и пры-

гали около морды лошади н у задиих колес. Подводчик ехал на знакомый постоялый двор, н это было на руку его седокам. На стук в ворота ответили скрипучие шаги по деревянной лестнице, кто-то в темноте растворил обе половины ворот и ввел лошадь под иавес. Возинца топтался около лошади, распрягая ее, а Ребров и Мекеша поднялись вверх по лестнице в избу, где на полу вповалку уже спало около десятка человек. Вслед за иими вошла и открывавшая ворота хозяйка. Она подошла к иочнику, подняла прикрученный фитиль, посмотрела при усилнвшемся свете иа новых проезжих, снова прикрутила фитиль и молча направилась спать.

— Постой, хозяйка, — остаиовил ее Мекеша, — заезжих двух женщин у тебя тут не остаиавлнвалось?

— Мы этим ие занимаемся, — недружелюбио бросила оиа в ответ и прошла в соседнюю комнату.

— Вот тут и ищн, Василнй Мнхайловнч, — развел руками Мекеша, — я ее по-людски, а она думает, что я балую.

Постоялых дворов больше на селе не было, и беглецы улеглись рядом со спящими на полу. Мекеша мгновенно захрапел. Заснул и Ребров.

Валю и Надю мужик высадил у первой избы лопатинской околицы.

— Тут уж пешком в село идите. А то с вами свяжись, кабы худа не было, — сказал он, хлестнул свою лошадь, и телега утонула в надвигающейся ночи.

Женщииы минут пятиадцать шлн по улицам. Кой-где в нзбах открывались окна, и любопытные бабы спрашивали:

— Чьи будете?

— Пустите переночевать, — попроснла Валя одну из крестьяиок, лицо которой ей показалось более добродушным и простым, чем у других.

— Да никак вы из города? Сейчас отопру! — ответила та н побежала открывать калитку.

Валя и Надя поднялись на высокое крыльцо. Спросили разрешения умыться из висевшего тут же медного рукомойника и после этого вошли в опрятную горницу. Хозяйка задала несколько вопросов, захлопотала возле самовара, загремела трубой, корчагой с углями, ведром с водой. Выбегала куда-то во двор по хозяйству, потом снова быстро возвращалась и радушно угощала чаем. За окном быстро темнела улица. Замолк деревенский шум. Зажглись на несколько минут робкие керосиновые огоньки в домах и потом быстро потухли.

— Как же они найдут нас? — спросила Валя Надю, безучастно дремавшую за столом.

— Мудрено сыскать, — согласилась Надя.

— Надо пойти по селу: может быть, встретим их.

— Я бы рада, да меня так растрясло, что я на ноги не встану, — пожаловалась Надя.

— Ты побудь дома, а я пойду, — сказала Валя, надевая жакет.

Она прошла несколько улиц по разным направлениям. Молчаливые избы, казалось, неодобрительно хмурились на позднюю путешественницу и были загадочны. Валя добралась до площади, где стояла церковь. В большом доме светились огни. Она подошла ближе и сквозь окна увидела в первом этаже несколько мужиков, сидящих около стола. «Наверное, волостное правление», — подумала Валя и поднялась по лесенке до дверей. Двери легко открылись. Мужики подняли головы, уставившись с недоумением на незнакомую посетительницу.

— Чего ты? — спросил один из сидящих поближе.

— Где у вас земская квартира? — спросила Валя.

— Земская — напротив. Да ныне там никого нет, — ответил опять тот же мужик. — Ты кого ищешь-то?

— Мужа, — ответила Валя и повернулась, чтобы идти, как вдруг под окном раздался топот копыт; кто-то застучал палкой о перила крыльца и закричал:

— Староста, выходи. Разведи людей по квартнрам!

Мужнки повскакали с мест. Валя вместе со старостой вышла на крыльцо. Перед домом стоял отряд всадинков в воеиной форме. Староста торопливо засеменнл куда-то в стороиу, отряд троиулся за ним.

Валя быстро спустилась с крыльца и побежала. Оиа долго плутала в темиых улицах, прежде чем иашла свой дом.

— Надя, — запыхавшись, сказала она, дергая за рукав подругу, — в селе учредиловские драгуны.

На другой деиь раио утром Ребров н Мекеша обошлн весь Дубовый Умет, но иигде ие нашли своих потерявиых спутниц. Прнходилось возвращаться в Лопатиио. Мекеша приуныл и иаотрез отказался идти с Ребровым иазад.

— Не пойду, — упрямо твердил Мекеша, — опять попадешь к драгуиам. На тот свет мие еще раио торопиться.

Ребров не стал уговаривать Мекешу. Ои понял, что его не переубедишь.

— Эх ты, товарищ, — сказал Ребров и один двииулся в путь.

За околицей опять степь, залитая лучамн утреннего, еще красиого солнца. Та же тишииа, что и вчера, и сиова видна вдалн белая Самара с золотыми куполами церквей. Уже версты три отшагал от села Ребров, иаблюдая, как далеко по бокам деревеискне стада рассыпались по сжатым полосам. Черные и белые овцы правильиыми цепями двнгалнсь с пригорка на пригорок, и близорукому их легко можио было принять за солдат, наступающих в стороиу невиднмого непрнятеля. Вон там, впереди, оин бросились бегом через дорогу, словно желая пересечь ее, отрезать и преградить путь ему, Реброву. Пробежали дальше, оставляя за собой облако пыли. Вдруг смешалнсь. А иа дороге сиова замаячнлн какие-то точки, как будто другое стадо бежит за первым. Откуда оно? Ребров пристально стал всматриваться в этн двнжущиеся фнгуры и только тут заметил, что иавстречу ему верстах в двух впереди скачут верхом какие-то люди.

«Опять драгуны», — выругался про себя Ребров. Он огляиулся по сторонам, почувствовав, как пробежал по телу холодок. Но прятаться было некуда, надо было идти навстречу.

Всадники не торопились. Заметив Реброва, они поехали шагом. Впереди иа черном коне ехал офицер в непромокаемом плаще, широколицый н угрюмый. Коренастая фигура н плащ делали его похожим иа Наполеона. Молча проехал он мимо Реброва, а за ннм человек двадцать пять учредиловскнх драгун с кокардами из георгиевской ленты на фуражках. Одии из нних отделился от товарищей и подъехал к Реброву:

— Откуда идешь?

— Из Дубового Умета.

— Красных не видал?

— Нет.

Всадник хлестнул лошадь и догнал уехавших вперед.

«Вернется или нет?» — думал Ребров, идя вперед и не оборачиваясь. Топот копыт замолк. Ребров обернулся. За пригорком исчезли последние всадники.

«Почему, — думал Ребров, — оии спрашивают о красных? Ведь красные еще вчера, по самарским газетам, были где-то далеко под Сызранью. А они здесь, в тридцати верстах от Самары, спрашивают о красных. Может ли быть, что за одну ночь фронт подвинулся на сто двадцать верст? Нет. Просто трусы. Ведь если бы красные были так близко, то неужели на подступах к Самаре вместо сильных воинских частей болтались бы вот такие кавалерийские отряды из двадцати-двадцати пяти человек. Нет, этого быть не может».

Через три часа показалось Лопатино. Ребров вошел в село и направился в ту сторону, где виднелась белая церковь с голубым куполом. Деревенские улицы, как и вчера ночью, были пустынны. Даже днем трудно разыскать двух исчезнувших женщин. После долгих поисков Ребров снова подошел к белой церкви с другого конца улицы. Вдруг из крайней иаправо избы застучали в стекло, и послышались чьи-то голоса. Ребров оглянулся. К нему через улицу бежала Валя.

— Борис, Борис! — радостно кричала девушка и, схватив его за руку, потащила в избу.

Через полчаса, напившись чаю, Ребров лег отдохнуть. Вчерашняя ночь и сегодняшнее раннее путешествие давали себя знать. Ребров быстро заснул. Он не помнил, сколько времени спал, но проснулся от почудившегося ему орудийного выстрела. Сел на скамью, прислушался. В деревенской горнице — леденящая тишина. Вали и Нади не было: они, очевидно, вышли в другую половину, чтобы не мешать ему. Мирно горела лампада перед образами (какой-то праздник был в эти дни). Белые деревянные стены избы, чисто вымытые и как-то по-особенному уютные, располагали ко сну. Ребров снова лег, закрыл веки и хотел еще немного вздремнуть, как вдруг удары далекой орудийной стрельбы нарушили тишину. «Опять стреляют», — вскочил Ребров. В ту же минуту открылась дверь, и в ней показалась Валя. Она быстро подошла к Реброву.

— Я тебя не хотела беспокоить, но это уже второй раз. Слышал?

— Надо скорей удирать из Лопатина. Здесь, под Самарой, может быть бой, — ответил Ребров.

— Я говорила с хозяевами, никто из них не дает лошади в такое время. С Надей нам не добраться быстро до Дубового Умета.

— Ничего, может быть, опять подвернется попутчик, — успокоил Валю Ребров.

В самом деле, не успели они выйти из Лопатина на трактовую дорогу, как, обгоняя их, проехало несколько деревенских подвод. На них сидели странные пассажиры: в большинстве это были женщины, одетые в яркие праздничные крестьянские платья. Ямщики, крестьяне, подгоняя лошадей, с усмешечкой поглядывали на свою живую кладь. Они прекрасно понимали, что везут горожан, убегающих от красных.

— Эй! Посадите больную женщину! — крикнул одной из проезжающих подвод Ребров.

— Нас и самих достаточно!

Однако, немного обогнав пешеходов, телега остановилась,

и женщина, подвязанная крестьяским платочком, махнула рукой Наде:

— Садитесь, мадам.

Она приняла ее, очевидно, тоже за переодетую барыню. Ребров помог усадить Надю, телега двинулась вперед. Долго облако серой пыли виднелось на дороге, постепенно уменьшаясь, и наконец растаяло без следа.

Верст десять уже прошли Шатрова с Ребровым. Орудийный гул то усиливался и учащался, то как будто удалялся и замолкал на время.

— Близко наши, Ребров? — почти после каждого выстрела спрашивала Валя.

Оба они тщательно вглядывались по сторонам в степь, но там далеко вокруг было пустынно.

— Что же это за война, — изумлялась Валя, — палят целый день из пушек, а ни одного солдата на десятки верст вокруг?

Ребров улыбнулся.

— Нынче частенько враги бьют друг друга на расстоянии десятка верст... А впрочем, — неожиданно добавил Ребров, — кажется, вон идет кто-то за нами. — И он пристально стал всматриваться в клубы пыли на дороге позади.

Пыль приближалась быстро. В ней показались сперва один-два всадника, а затем отряд человек в двадцать. Пахнуло пылью и потом. Один из кавалеристов нагнулся в седле:

— Красных не видали?

— Нет, — сказал Ребров, — никто не попадался.

Всадники с георгиевскими кокардами проскакали вперед. Человек пятнадцать из них через небольшой промежуток времени свернули с дороги к заброшенной бахче и пустили лошадей к стогу сена. Остальные пять шагом двинулись вперед.

Маленький подъем идет от самого Лопатина до Дубового Умета. Только совсем близко перед селом, версты за три до него, дорога круто вздыбливается на пригорок, а затем медленно спускается к селу.

Валя с Ребровым ие спеша двигались вперед.

Вдруг частые удары ружейных выстрелов застегали по степи. Дкиим галопом пронеслнсь обратио пять кавалеристов. Ребров и Валя шарахиулись в стороиу от дорогн н остаиовились иа месте. На бахче повскакалн сидевшне там людн. Ловили лошадей и с крнком мчалнсь назад. Успели зажечь стог. Ои запылал, задымил грязиым дымом высоко вверх.

А впереди иавстречу Реброву и Вале летело новых пять всадннков. На мниуту онн остановилнсь на пригорке, стреляя из карабииов. Пулн плюхались в дорожиую пыль, жалобио свистели и землей н пылью брызгали иа Реброва н Валю. С недоуменнем Валя спроснла:

— Стреляют?

— Да, поднимн руки вверх, — ответнл Ребров.

Всадиикн подъехалн вплотиую, все еще держа в руках карабниы.

По красиым лампасам и верхам бараиьих шапок можио было прниять нх за казаков.

Подъехавшнй белокурый детина крепко выругался, ткиул слегка Реброва коицом своего сапога н закрнчал:

— На землю чего ие лег? Убнлн бы тебя, сукин сыи!

— Я руки поднял, — спокойио сказал Ребров, заметив красные ленточкн иа плечах кавалериста. — Можио ндти дальше?

— Пшел... — И всадннк снова крикнул подходящее к случаю ругательство.

Ребров с Валей шлн скорым шагом, нзредка останавливались передохнуть и сиова шли.

Уральскнй тракт терялся в степи. Самара скрылась из виду еще после пыльиого прнгорка, на котором сражалнсь коиные разведчнкн. Сухая, пыльная колея убегала вперед, по бокам ее все чаще н чаще стали попадаться обглоданиые кем-то костякн павших верблюдов и лошадей.

Дубовый Умет медлеино приближался.

— Скорей, Борис, — торопила Валя, сразу почериевшая от пылн, — те вернутся иазад.

— Навряд ли: удирали быстро, — ответил Ребров.

Они подошли к селу. Глиняные серые изгороди сиротливо торчали среди раскинувшейся позади степи. Кругом было безлюдно. Далеко вперед уходила деревенская улица, в конце ее белело странной формы пятно.

«Что бы это могло быть?» — думал, приближаясь к пятну, Ребров. Мало-помалу он различил крылья и контуры аэроплана. Какие-то люди возились вокруг него. Из переулка внезапно выскочило несколько кавалеристов в лампасах и бараньих шапках. Они проскакали к аэроплану, спешились около него и, привязав лошадей к воротам, вошли в дом. Ребров и Валя подошли ближе. Аэроплан с трехцветными кругами на крыльях стоял перед небольшой деревенской избой. Несмотря на ранний час, деревенские ребятишки, взрослые мужчины и бабы сгрудились вокруг аэроплана и с любопытством рассматривали гигантскую птицу, залетевшую к ним впервые.

— Чей это? — спросил Ребров стоявшего рядом мужика.

— Был вчерась белый, а сёдни красный, — засмеялся мужик.

— А где командир? — спросил Ребров.

— Начальство? В избе. Спроси товарища Шарабанова.

Ребров вошел во двор и толкнул дверь в избу.

— Где тут товарищ Шарабанов? — спросил он, перешагнув порог избушки.

— Я Шарабанов, — ответил ему военный, сидевший в переднем углу за столом.

На столе стояли тарелки с гусем и несколькими курами, моченые яблоки, четверть молока и горячий самовар.

Военный был похож лицом на Петра Первого: черные гладкие волосы, завивающиеся на концах, небольшой нос и выдвинутая нижняя челюсть. Но зеленый суконный зипун, шелковый маленький шарф вокруг шеи, золотая цепочка часов, многочисленные кольца на руках, сережка в ухе, бархатные с напуском штаны и лаковые в гармошку сапоги делали его похожим на Степана Разина.

— Я комиссар, — сказал Ребров. — Только что перешел фронт.

Шарабанов порывисто вскочил.

— Да здравствуют наши вожди! — крикнул он. — Курицу ему, ребята. Угощай.

Товарищ Шарабанов закричал «ура!» и усадил Реброва в передний угол, под божницу.

— Товарищ Ребров, — рассказывал между тем Шарабанов, — мы разведчики полка имени Степана Разина, да вот поотстали от своей части: аэроплан бросить жалко. Возим его с собой. Как только соберут мужиков, поедем догонять своих.

В одиннадцать часов перед избой собрался весь отряд Шарабанова — человек пятьдесят. Все бойцы одеты, как сам Шарабанов, в зеленые зипуны с шарфами вокруг шеи и в бараньи высокие шапки с красным верхом и кистью. Они выстроились в конном строю перед Шарабановым, подняли вверх по команде карабины, дали залп в небо и с песней двинулись вдоль улицы.

Сразу за отрядом везли на крестьянских лошадях аэроплан. Мобилизованные мужики поддерживали его хрупкие крылья. За аэропланом в пролетке ехали Ребров с Шатровой, сзади — подвода с яблоками, специально остановленная Шарабановым на Уральском тракту для Вали, а еще дальше, в телеге, сидел какой-то подозрительный человек, выдававший себя за отставшего от Красной Армии артельщика и захваченный Шарабановым.

Резвились на конях бойцы. Только на улицах деревни соблюдали они строй, а в степи носились друг за другом, настегивая коней.

Шарабанов ехал впереди. Без шапки и в глубоких резиновых галошах скакал он на коне.

— Почему вы в галошах, товарищ Шарабанов? — спросила Валя.

— А это галоши товарища Чапаева. Он их забыл у нас и просил ему послать. Вот, чтобы не потерялись, я и надел их. — Шарабанов улыбнулся и дернул коня вперед.

До поздиего вечера ие мог шарабаиовский отряд догиать своих. Очевидио, иаступление красных шло быстро: армия, к которой прииадлежал полк Степана Разина, двнгаясь с юга иа юго-восток, торопнлась поглубже зайти во фланг белым.

В иебольшой деревушке отряд расположился иа иочь. К Реброву и Шатровой был прикомаидироваи Цветков, чтобы устроить их на иочлег. Цветков выбрал дом богача и к нему повернул пролетку.

— Эй, хозяни, открывай, — постучал ои киутовищем в ворота.

Двери открылись не особенно быстро, и в ннх показалась заспаниая и иедовольиая хозяйка.

— Роднмые, тесновато у иас, — встала оиа посреди ворот.

— Шевелись, — тотчас же дериул лошадей прямо на бабу Цветков. — Разоспались, когда большевиков встречаете; иебось, офицерам сама двери иастежь открывала, — сказал ои, проезжая во двор.

Баба зашевелилась быстрей и ввела лошадей под иавес. В нзбе спали.

— А ну, самовар! — виовь крикнул Цветков хозяйке.

— Давио самн ие ставили, — ворчливо ответила та.

— Самовар! — коротко повторил Цветков.

— Мы ведь и без самовара можем обойтись, — сказала Цветкову Валя.

— Врет оиа, товарищ Шатрова. Мы их зиаем. Вои и мужнка нет, у белых наверияка, — сказал Цветков. — Где мужнк? — спросил ои бабу.

— В городе. Право слово, в городе, — забожилась хозяйка. — Третьёго дни на базар поехал, н все нет. Не знаю, чего доспелось.

— Не зиаешь, — передразинл Цветков. — Все оин иа базар ездят... А ну, пожарь чего-нибудь.

— Чего пожарнть— нн мяса, нн картошки нету...

— Пожарь, тебе говорю, — снова прнказал Цветков.

Хозяйка вышла, вздыхая, нз нзбы.

Когда жаркое и самовар были готовы и все сели за стол, Цветков неожиданно увидел пустую сахарницу. Он встал и вышел за перегородку на хозяйскую половину.

— Сахару, хозяйка.

— И чего ты навязался? Сами его не видывали три месяца, — неожиданно резко взвизгнула хозяйка.

Очевидно, сахару у нее действительно не было.

— Сахару, тебе говорят! — рявкнул взбешенный Цветков.

Из-за перегородки послышались быстрые шаги хозяйки, скрип дверей и калитки. Цветков подошел к столу.

— Кулачье, — сердито сказал он, не обращаясь ни к кому.

Через несколько минут хозяйка вернулась, неся с собой добытый где-то у соседей сахар. Через час изба спала крепким сном. Только на половине хозяйки слышались вздохи и бормотание. Верно, и во сне ей не давал покоя Цветков.

На другой день разведчики въехали в село, пугая кур и свиней, валявшихся в пыли. В раскрытых дворах изб, под навесом, ржали, перекликаясь с деревенскими, оседланные кони. По улицам шли спешившиеся кавалеристы с буханками хлеба и котелками.

— Эй, разведчики! — крикнул Шарабанову поравнявшийся с ними парень в лампасах и бараньей шапке, с крынкой молока в руках. — Разведку-то в тылу делали?

— Я тебе, кобылка! Получи! — Шарабанов неожиданно огрел парня нагайкой, наезжая на него грудью лошади.

Парень отскочил, расплескивая молоко, и заругался. Шарабанов с хохотом помчался дальше по улице.

Отряд выехал на площадь около церкви. У крыльца деревенской избы с резными окнами и железной крышей колыхалось красное знамя. Несколько лошадей было привязано к перилам крыльца.

— На-пра-во! — крикнул протяжно Шарабанов и резко оборвал: — Стой!

Разведчики соскочили с коней, привязали их к церковной ограде и исчезли в ближайших дворах. Только двое карауль-

ых осталнсь у церкви да Шарабаиов показывал мужнкам, куда поставнть аэроплаи.

— За этнм поглядите, — сказал караульным Шарабаиов, указывая иа подозрнтельиого артельщика, — а мы в штаб.

В избе с красным флагом много народу. Люди в бараньнх шапках мелькают в окнах. Оии удивлеино поглядывают иа Реброва, Валю, Шарабанова. Как только оии вошли, в комнате стало тихо. Командир полка смотрит нз-за стола на Шарабанова.

— Где же ты пропадал, дьявол? — говорнт он. — У меня тут военкомдив часть осматрнвает, а ты по тылам гуляешь?

Шарабанов тнхонько постукнвает рукояткой иагайкн по лаковому сапогу.

— Задержался, — говорит он. — Сперва вон тот змей захватнли, — указал он пальцем за окно иа аэроплан, — да возле Дубового Умета поцапались немиого с беляком н вот товарища достални...

— Какого товарища?— спросил комаиднр, поглядывая иа Валю. — Вы кто? — спросил он Реброва.

— Я был комнссаром в Екатернибурге.

— У белых остался?

— На подпольиой работе.

— Как же в Самару попал?

— Из тюрьмы вышел. Решнл фроит перейтн.

— Белые комиссара жнвым выпустили? — сухо сказал командир, вставая на иоги. — Шляешься с бабой? Вкручнваешь, прохвост! — иеожидаиио крикиул он. — Арестовать!

Реброва и Шатрову отвели в соседнюю комнату. Захлопнулн дверь и щелкиули задвнжкой.

— Дурак, — ругал Шарабанова за перегородкой комаидир полка, — верншь первому встречному. Возишь с собой. Ну и влетит тебе от военкома.

Валя прнтихла. Сндеть под арестом у своих оиа ие рассчитывала.

В соседней комнате вдруг зашумелн сильией.

— Военком! — крикнул кто-то за перегородкой.

Хлопнула ставня окна, стукиула деревянная лавка: очевндио, сндевшне там бросилнсь к окну. За окном раздался топот лошадей. Через минуту послышались голоса, потом тяжелые шаги, под которымн заскрипелн половицы.

— Здорово, здорово, — говорил басом вошедший. — Ну, давай карту, — зашелестел он бумагой. — Командиры н комиссары все здесь?

— Все, — ответнл голос командира полка.

— Ладно. Теперь об операции: идет успешио, — строго продолжал говорить военком. — Самара может продержаться день-два, а надо бы нажать сегодия. Кабы ковырнуть в этом местечке железную дорогу, Самаре крышка. А? Как?

— Да кто же днем туда полезет? — ответил командир полка, — кругом видать, как на щеке. Ну, кто? — безнадежно повторил он.

— Я, — сказал вдруг Шарабаиов...

— Валн, вали! — заговорил бас иеожиданио ласково. — Поди зови охотиков. Я поеду с тобой.

Сиова хлопиула дверь, загудели голоса, и Ребров с Валей снова услышали голос командира полка:

— Чудной ои. Иной раз два-три дия иет, иеделю. Пропал, думается. А он по тылам беляков носнтся, что пьяный. Едва ногн унесет. А то в нашем же тылу потеряется, как иголка в стогу.

— Такого тут и нужно, — сказал бас, зашелестев бумагой.

— Вот только что, — продолжал комаидир полка, — привез аэроплаи н какого-то хлюста с девнцей. Барышня румяиая. С одного взгляда видио: бежали к белым, а попали к нам. А Шарабаиов в пролетке с собой их сутки вознл: говорит — комиссар.

— Комиссар? — перебил бас. — А иу-ка, дай-ка его, поговорим.

Двери раскрылись. Ребров снова увидел за столом командира полка. Рядом с иим сндел огромиого роста человек в порыжелой гимиастерке, обросший бородой. Он молчалнво

поднялся, вглядываясь в Реброва. На правой щеке его виднелась синяя сыпь, засевшая глубоко под кожей.

— Запрягаев! — вдруг вскрикнула из-за спины Реброва Валя и бросилась к военкому.

— Как, ты?! — схватил ее за руку военком и тотчас повернулся к Реброву: — Борис! Вот черти! Живы!..

— Постой, постой, что с золотом? — перебил его Ребров.

— Давно в Москве: Губахин в неделю выкопал. Ведь мы тебя искать ребят в Екатеринбург посылали. Писали: пропал — повешен. А ты жив, — с радостью смотрел Запрягаев на Реброва.

— Да ведь и тебя искали, — засмеялся Ребров. — Прочти бумажку,— вынул он старый номер екатеринбургской газеты с объявлением генерала Дитерихса.

Полковые комиссары и командиры окружили кольцом военкома, с изумлением наблюдая неожиданную встречу. Командир полка протиснулся вперед, несколько раз порывался что-то сказать и не решался.

— А я думал... — начал наконец он, обращаясь к Запрягаеву, как вдруг скрипнула дверь и в избу влетел Шарабанов.

— Готово... — сказал он и, взглянув на военкома, замялся от неожиданности: Запрягаев крепко держал за руки Шатрову и Реброва.

— Готово, товарищ военком, — проговорил через минуту Шарабанов, сообразив, в чем дело, — можно ехать.

Запрягаев выпрямился. Он снова стал серьезен и озабочен. Его рука машинально ощупала пояс, кобуру револьвера, кожаную сумку на боку. Он взял со стола фуражку с красной звездой и надел ее.

— Через три часа я буду здесь, — сказал он командиру полка. — И поговорить не успели, — с досадой повернулся он к Реброву.

— Ты в разведку? — спросил Ребров. — Так я с тобой. Поговорим в дороге.

— Вали, — радостно пробасил Запрягаев.

— Пролетку! — закрнчал с крыльца Шарабанов.
— На что ему пролетка?
— В ней поедем.
— На пролетке в разведку? Первый раз слышу, — засмеялся Ребров.
— На пролетке меньше подозренний, — серьезио сказал Запрягаев.
— А еслн иарвешься — ие ускачешь.
— Посмотрнм, — сказал Запрягаев, и все пошлн к дверям.
У крыльца стояла кованая пролетка, запряжеиная парой. Кожаный верх был поднят, несмотря иа сухую, солиечиую погоду. На козлах сидел разведчнк, в пролетке спнной к нему — двое другнх с металлнческнмн квадратнымн баиками в руках.
— Саднсь, — сказал Запрягаев Реброву н залез в пролетку, за нимн полез Шарабанов.
— Трогай! — крикиул комаидир полка вознице.
— Счастливо! — замахала рукой с крыльца Валя, когда кованые колеса пролетки застучалн по убнтой земле.
— Этот н есть Ребров — комнссар золотого поезда? — вдруг спроснл комаидир полка Валю, как только пролетка скрылась за углом.
— Он, — ответнла Валя.
— То-то я сразу понял, когда онн заговорили о золоте, — сказал командир.
Пролетка выехала за околицу. Перед глазамн открылась степь. Далеко впереди темной лентой лежала железиодорожная линия. Самара виднелась слева к северу, а направо, где-то за садами и рощнцами, должиа была быть Кннель. Дорога убегала вперед мягкой, волинстой чертой, и запряжеиная парой пролетка двнгалась быстро-быстро.
Вдруг тракт пошел под уклон, спускаясь в балку. Самара н железнодорожиая лниия нсчезли нз глаз. И, когда лошадн вынеслн пролетку на другую сторону балки, снизу навстречу, из соседней балкн, поскакалн учреднловские драгуны с георгиевскимн ленточкамн на фуражках.

Не разглядев вооруженных людей в пролетке, конники остановились не сразу. Запрягаев и Шарабанов, воспользовавшись этим, швырнули по гранате в приближающийся отряд. Возница круто заворотил. Лошади понеслись вниз и вынесли пролетку из балки. Сзади раздались взрывы, вихрем ударившие в уши. Еще сильней задребезжала пролетка. Выстрелов слышно не было. Проскакав минут пять, лошади сбавили бег. Позади было тихо и безлюдно.

— Ушли, — вздохнул свободно Шарабанов. — Теперь ночью попытаем.

— Твоя правда, лучше было ехать верхом, — повернулся Запрягаев к Реброву.

Весь день шумела канонада. Она нарастала и приближалась. Красная Армия подошла к Самаре, и орудийные удары звучали у самого города.

По Самаро-Златоустовской дороге по обеим колеям уходили из Самары эшелон за эшелоном. Они хорошо были видны и, будь у разинцев орудия, плохо пришлось бы учредиловцам.

— Подорвать, подорвать! Эх, промазали, — ругался озлобленно Запрягаев. — Не ушли бы они.

До поздней ночи гудели орудия. Вспышки выстрелов зарницами сверкали вдали. Только наутро прекратилась стрельба, и наступившая тишина была так неожиданна, что спавшие на полу в избе Запрягаев, Ребров и командир полка проснулись и вскочили на ноги.

Вдруг совсем близко раздались частые удары пушечных выстрелов. Все схватили бинокли, выскочили на улицу и стали смотреть на насыпь. Там, позади уходящих эшелонов, медленно полз по рельсам на восток серый стальной бронепоезд, выплевывая из четырех башен трехдюймовые плевки. Флаги, очевидно георгиевские, развевались над ним.

— Последний, — сказал комиссар. — Самара свободна.

Он не ошибся. Броневик прикрывал последние отступающие части.

— Смотри, — показал Запрягаев Реброву на небольшую точку, парящую высоко в небе над степью.

Ребров посмотрел в бинокль: вслед за бронепоездом, опережая его, летел на восток аэроплан с пятиконечной звездой на крыле. С аэроплана сбрасывали вниз невидимые свертки, рассыпавшиеся в воздухе тысячами лепестков.

За полчаса перед выступлением в штабной избе пили чай.

В горницу вошел Шарабанов и, улыбнувшись, протянул Вале небольшой синий билетик. На билетике стояло:

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

БИЛЕТ

на право входа
в Советскую Рабоче-Крестьянскую
Россию

Действителен на одно лицо и на целую воинскую часть до дивизии включительно.

А на обороте:

Без золотопогонников-белоручек!

Правом беспрепятственного входа пользуются все солдаты белых армий, за исключением монархистов, помещиков, кулаков, фабрикантов, купцов, спекулянтов и вообще всех тех тунеядцев, которые из Советской России изгоняются и, уже изгнанные, возвращению не подлежат.

Остающиеся свободными билеты просим передать другим частям.

Билет предъявлять в Политический отдел любой из советских армий.

Втыкай в землю штык!
Переходи в Красную Армию!

ЭПИЛОГ

Взятие Самары Красной Армией было последним ударом по Самарскому правительству. Не прошло месяца, как адмирал Колчак совершил «государственный переворот» в Сибири: расстрелял и разогнал остатки эсеров.

Восемнадцатого ноября 1918 года телеграф разносил по всей Сибири сообщение:

К НАСЕЛЕНИЮ РОССИИ

18 ноября 1918 г. Всероссийское временное правительство распалось. Совет министров принял всю полноту власти и передал ее мне — адмиралу Русского Флота Александру Колчаку.

Приняв крест этой власти в исключительно трудных условиях гражданской войны и полного расстройства государственной жизни, объявляю:

Я не пойду ни по пути реакции, ни по гибельному пути партийности. Главной своей целью ставлю создание боеспособной армии, победу над большевизмом и установление законности и правопорядка, дабы народ мог беспрепятственно избрать себе образ правления, который он пожелает, и осуществить великие идеи свободы, ныне провозглашенные всему миру.

Призываю вас, граждане, к единению, к борьбе с большевизмом, труду и жертвам.

18 ноября 1918 г.

Верховный Правитель
Адмирал Колчак

гор. Омск

Не сам собой произошел «переворот». Верховного поддерживали англичане и французы. Они снабдили его оружием и амуницией и потребовали наступления.

Под Уфой были красные части, когда в районе Перми белые сосредоточили крупные силы для удара.

Глубоким снегом занесена маленькая Пермь. Она уже не тиха и не безлюдна. Все екатеринбургские учреждения разместились здесь. Тридцатитысячный гарнизон. Штаб армии. Круто хозяйничает в городе Голованов. Не хватает места для лазаретов, шесть церквей закрыты, и в них помещены школы. Не хватает квартир военным работникам — пермские купцы и чиновники поживут в публичных домах на окраине, «Сахалние».

Ребров неделю назад приехал в Пермь и уезжает на фронт. Шатрова работает в Совете.

Комиссары областного Совета разъезжают по уездам, собирая хлеб и продовольствие для Красной Армии и населения. Но все меньше становится хлеба: южные кулацкие уезды восстали, в северных хлеб не растет. Голод усиливается. Матери прячут от детей корку хлеба. Дети тайком от родителей съедают свой пай. Ропщут жители и ждут белых.

Трудно живется и комиссарам. Только военные специалисты из штаба армии имеют все необходимое. Ими командует Расторопный. Он сам пожелал остаться в Перми и не поехал с Андогским. Теперь он — главный советник при штабе. Красивый генерал носится по улицам Перми то в автомобиле, то в легких санках, запряженных беговым рысаком. Рысак хлещет комьями желтого снега в передок саней, роняет белую пену, размашисто вскидывает ноги и пугает прохожих.

С разбегу останавливается он у одинокого большого дома с колоннами на берегу замерзшей Камы. Занесенный снегом генерал откидывает полость и идет в штаб армии. Часовой спрашивает пропуск, и Расторопный — в своем кабинете. Его ждет чай с настоящим белым хлебом, сахаром, а иногда с шоколадом. Расторопный снимает тяжелую шинель. Он, как и в Екатеринбурге, в выутюженном прекрасном кителе, с пышно подбитой ватой грудью, на ногтях — маникюр.

Подчиненные сотрудники штаба с достоинством входят в кабинет с папками в руках.

Расторопный слушает доклады, красиво откинувшись в кресле.

— Отмечаются случаи взятия в плен, — говорит Расторопному штабной специалист, — рядовых шестого стрелкового корпуса, до сих пор не находившегося на нашем участке. Перебежчики называют командующим корпусом Ханжина...

— Ханжина? — переспрашивает Расторопный. — Не помню такого: подо мной не служил.

— И начальником штаба корпуса, — продолжает штабной, — полковника Заболоцкого...

— Как?.. Нашего Заболоцкого?.. Из академии?.. Мальчишку! — вскакивает в негодовании Расторопный. — Они голову потеряли?! На корпус — Заболоцкого! Чего же Матковский смотрит? Ведь он «военный министр» у них, кажется, — иронически говорит Расторопный штабному.

— Александр Иванович не допустил бы, — отвечает штабной, соглашаясь с Расторопным. — Но он в Сибири, не у дел...

— Да, я знаю, — перебил Расторопный, — его японофильские взгляды пришлись не ко двору американским советникам при Колчаке. А планы грандиозные строил...

Они долго еще возмущаются непорядками, по их мнению, царящими в армии противника. Пьют чай и курят.

Из штаба Расторопный едет в областной Совет. Его вызвали сделать сообщение о положении на фронте.

Расторопный, не волнуясь, ровным голосом докладывает:

— Под давлением противника мы оставили ряд пунктов. В наших руках линия: Кушва — Кын — Шаля. Может быть, мы отойдем еще западнее. Но даже в этом случае перед нами прекрасный плацдарм с базой — Пермь. Я распорядился вокруг города поставить сектором цепь орудий. Это будет непреодолимое артиллерийское заграждение.

— Будете драться за город и в городе? — спросил Голованов.

— Будьте спокойны, — уверенно ответил Расторопный.

— Ну, ты, хрен милый, — ткнул в спину задремавшего ку-

чера Расторопный. — Пшел... В «Колибри»! — крикнул он. Рысак помчал легкие санки по улице по направлению к кинематографу.

Двадцать пять градусов мороза. Холодно. Спит голодный город. В областном Совете дремлет дежурный. У Чрезвычайной комиссии одиноко стоит часовой в огромном, тяжелом тулупе.

Рано утром с Сибирского тракта незаметно прорвалась рота Енисейского полка белогвардейской Народной армии. Ее командиры не думали наступать на город и хотели занять только окрестные деревни, как вдруг они наткнулись на орудия, расставленные вокруг Перми. Генерал Расторопный точно выполнил свой план: пушки стояли в порядке. Рядом с ними — снаряды. Все было готово. Генерал забыл только поставить охрану и артиллерийскую прислугу.

Енисейцы, не торопясь, повернули орудия хоботами к Перми и дали залп.

Город проснулся и вдруг превратился в водоворот. По улицам бежали полураздетые, только что мобилизованные красноармейцы местного гарнизона, женщины, дети, рабочие. Они искали убежища от снарядов и хотели спастись, бросаясь к вокзалу. Сплошная волна людей катилась к станции Пермь II.

Никто не думал о сопротивлении.

Голованов выскочил на улицу сразу после первого залпа.

— Стой! Дезертиры! — закричал он красноармейцам, в панике бежавшим мимо. — Назад! Сюда! — звал он их к себе.

Но людская волна катилась дальше, не задерживаясь ни на минуту.

— Нашелся командир! — зло прокричал бежавший рядом красноармеец и погрозил винтовкой.

Голованов вернулся обратно, вывел со двора лошадь и, вскочив на нее, помчался вперед — туда, откуда бежала толпа. У Вознесенской площади было уже пусто. Сквозь туман-

ный мороз плохо видно, что впереди. Вдруг сзади раздались выстрелы. Голованов оглянулся — никого нет. Стреляли, очевидно, из окон. Он повернул коня и поехал в Чрезвычайную комиссию. Но и там ничего не могли сделать с паникой и готовились уезжать. Енисейцы усилили огонь. Пристрелялись к железнодорожному мосту и прервали железнодорожное сообщение. Через несколько часов город был занят.

Голованов ехал в санках. Длинная вереница подвод растянулась по дороге. В простых дровнях сидели женщины с грудными детьми, замерзая на ветру. Рядом шли их мужья — рабочие. Красноармейцы — без винтовок и мешков. Советские служащие. Позади гремела канонада.

Голованов обогнал подводы и вдруг увидел человека, идущего без шапки, в кителе и легких сапогах.

«Замерзнет», — подумал Голованов и стегнул лошадь.

— Эй, садись! Замерзнешь, — окликнул он пешехода.

Тот оглянулся. Голованов с изумлением посмотрел на него. Это был Расторопный.

«Как же это вы...» — хотел что-то спросить Голованов, но раздумал, откинул полость и посадил генерала рядом. — Наденьте, — вытащил он из-под себя большую теплую деревенскую шаль.

Несколько тысяч вагонов досталось в Перми белым. Два бронevика. Миллионы пудов соли. Мануфактура. Красноармейские склады с обмундированием, огнеприпасами и продовольствием. Почти весь гарнизон остался в городе. Более тысячи офицеров, служивших в Красной Армии и советских учреждениях, перешли на сторону белых. Несколько сот коммунистов попали в руки врагов. В числе их оказалась Шатрова.

— Шатрова! На допрос! — крикнула надзирательница, с шумом открывая дверь камеры.

Валя быстро вскочила с койки и, повязав стрижеиую голову легким платком, вышла. Надзирательиица захлопнула дверь и, позванивая ключамн у пояса, пошла вслед за Валей.

Валя прнвыкла к допросам. За зниму их было много н в Перми, н вот здесь, в Екатериибурге, куда перевели ее весной. Вначале она боялась сказать что-нибудь лишиее. Волиовалась. Часто сбивалась. Следователь пользовался этим н усилнвал допрос. Валя вспомнила арест Реброва в Екатеринбурге, его виешнее спокойствие н слова: «Я вернусь через часдва...» Она поияла, что выгодиее прнтворяться равиодушиой, и с улыбкой шла сейчас перед надзирательннцей по обсохшему уже, голому песчаному тюремному двору.

Из окон камер, выходящих во двор, смотрелн арестанты. Они приветлнво махали Вале рукамн, что-то крнчали. Валя, улыбаясь, смотрела по сторонам. Очевидно, надзирательинце ие понравнлась беспечиость арестантки.

— Нашкодила, голубушка, коли к главному потребовали, — зло сказала она Шатровой.

— Нашкодила, — спокойно ответила Валя.

— Еще хвастает! — поглядела надзирательннца на Валю и ввела ее в двери тюремной коиторы.

За столом, покрытым зеленым сукном, сндел высокий блоидни. Длинная шея в стоячем воротничке. На узкой груди блестят позолоченные пуговицы формеииой тужурки. Волосы гладко зачесаны на сторону. Не брнтый, но совершенно голый подбородок делает следователя похожим иа женщииу. Ои что-то пнщет в блокноте и иесколько миаут не обращает внимания на Шатрову. Потом поднимает большую квадратную голову.

— Саднтесь, — говорит он.

Надзирательница уходит за дверн.

Валя подвннула кресло, смотрит на блокнот. Наверху бумагн иадпись: «Следователь по особо важным делам».

«Не соврала», — думает Валя о словах иадзирательиицы.

— Вы — Шатрова? — спрашнвает следователь.

— Да, — отвечает Валя.

— За что арестованы?
— Не знаю.
— Не зиаете?
— Нет.
— Вы считаете долгом говорить иа следствнн иеправду.
— Я говорю правду.
— Прекрасно. Вы когда-инбудь бывали в Екатериибурге?
— Да, — отвечает Шатрова.
— Давио это было?
— Давио.
— Когда нмеиио?
— Не помню, — говорнт Валя. «Неужели узнали?» — думает оиа со страхом.
— Вы всегда носили фамнлню Шатровой? — спокойно продолжает допрашивать следователь.
— Да, — говорнт Валя и уже почтн уверена, что следователь зиает все.
— Это у вас называется «правдой», госпожа Чнстякова? — ехидио спрашивает следователь.
— Я вас ие понимаю... — пробует Валя сопротнвляться.
— Довольно, — резко обрывает следователь. — Извольте прочесть и говорить настоящую правду, — бросает ои Вале синюю папку.
Валя раскрывает папку.
Внутри папки напечатаниые на машнике выдержкн нз допросов.
Валя читает:

Долов, 30 лет. Комендаит города... — Знаю, что особо секретный поезд отправлялся якобы с золотым запасом. Полагаю, что еслн бы это было на самом деле, то большевикн, опытиые конспираторы, никогда бы не допустнлн до того, чтобы весь город знал об эвакуации ценностей. Кроме того, охрана поезда в 30 человек явио недостаточна для такого опасиого дела. Я отнесся ко всему этому подозрительно. Через шофера мне известно, что комиссар Ребров был перед отъездом в Ипатьевском доме. Недоумеваю, почему маршрут поезда был изменен, когда лично при мие Голованов отдавал прнказ ехать по горнозаводской. Я сообщил в Невьянск, ио

поезд мнмо ие проходил. Да, в этой карточке я узнаю то лицо, которое мие было нзвестио как комнссар Ребров. Ои был высок, сухощав, скорее шатеи, чем блондни...

А. И. Аидогскнй, 45 лет. Начальиик Академии Геиеральиого Штаба... — Я узиаю в предъявлениой мие карточке комиссара Реброва. Ои был назначен комиссаром к нам. Это сущий дьявол — он, ие говоря ии слова, отобрал у иас оружие, в том чнсле золотое георгиевское и даже родовое. По звериному лицу, по совершеиио сумасшедшим глазам видно, что это фаиатик, который кончит свою жнзнь иа внселнце. Подтверждаю, что ои совершенно иеожидаиио, ие предупреднв ннкого, нсчез нз Академин. В комиссаривте говорили, что он выполняет «дело государственной важности»...

Пахомов, 57 лет. Сторож товариого двора... — Я смотрю — толкач пассажнрский пихает ко мие иа двор. Говорю сцепщику: «Чего их сюда?» — «Комнссары секретиые», — говорит. Только сказал, смотрю: н на самом деле едут. Открыл я двери, глянул и обомлел: ои, голубчик, государь наш, батюшка, в драной рубахе сидит наверху, и, видно, закованы ножеиькн, только до поясу видать его...

Вахрамеев Спнридои, 60 лет. Крестьяннн... — Мы на Куигур пробиралнсь. Поездов иету. Суткн ждем, другие. Другой придет — ие влезть. А тут прилетел совсем пустой. Я говорю старухе: «Сесть иадо». Она — тудв. Гляжу, вертается — лнца на ней нет. «Бвтюшка, — говорит, — царь там, царь». Не поверил я, побег, и нв самом деле он. Стоит, в окошечко смотрит, жалостио так.

Вахрамеевв, 58 лет. Крестьяикв... — Твк ведь неграмотная я. Мужнк уж скажет. А я неграмотная...

Краска, 35 лет. Бывший миииcтр общественного благополучня Комитета членов Учредительного собрання... — Прекрасно внжу предъявлениую карточку и узиаю изображениое на ней лицо: это Ребров — комиссар. Реброва я зивл еще в Перми. Его вызвали в Екатериибург, как мие говорили, для чрезвычвйно важиого делв. Потом ои совершнл какую-то поездку, но цели ее и назначения я знать ие мог. Зато прекрасно помню, что незадолго до взятия Екатеринбурга войсками Народной врмии ои отправился туда (с какой целью, ие зиаю, но предполагаю, что нв подпольную работу). Позднее узиал, что поехал ои вдвоем с дочерью известного революциоиера Шатрова и под фамилией Чистякова. Дальнейших сведеиий о нем ие нмел. Знаю его как человека решительного, дерзкого и безусловио способного принести много вреда в нашем тылу. Ои высок, наружность, я бы сказвл, открытая и, пожалуй, привлекательная. Молчалив и сдержаи. Говорили — силеи...

Валя с трудом дочитала показания.

«Значит, правда, оии предполагают, что Ребров увез царя, — подумала она, — теперь не выпутаться». И вдруг пол-

ное безразличие охватило ее. Она равнодушио закрыла папку и положила ее иа стол.

Следователь виимательио наблюдал за Шатровой, и, как только она кончила читать, ои быстро сказал:

— Говорите, где Ребров?

— Я ие желаю отвечать на вопросы.

— Вы получите свободу, если скажете, где Ребров, — пообещал следователь.

— Что? Ха-ха-ха, — засмеялась Шатрова.

Следователь вскочил иа иоги.

— Молчать! — крикиул ои, потом вдруг, очевидно сдержнвая себя, замялся и тихо сказал: — Идите.

— Сука, — пробормотал он себе под иос, когда Шатрова вышла.

В июле белые уходили с Урала иавсегда. За сутки до падеиия Екатеринбурга к тюрьме подошел большой отряд Народиой армии. Застучали тюремные калитки. Надзиратели забегали по гулким коридорам.

Оии подбегали к камерам и выкликали по спискам арестаитов.

— Шатрова! — крикиул старший надзиратель в жеиском отделеиии.

— Я!

— С вещами! — предупреждали надзиратели.

Скоро иа тюремном дворе мокло под дождем иесколько сот арестаитов, иавьюченных узелками, корзииками, постелями. В тюрьме остались только уголовиые и те, кто сегодня доживал последиюю иочь.

— Ста-а-иовись! — протяжио крикиул иачальиик коивоя.

На Сибирском тракте за городом Валя поияла, что мииуты Екатериибурга сочтеиы: сплошиая лавииа коииых и пеших беглецов двигалась по тракту.

Чем дальше от города, тем ýже стаиовится Сибирский тракт: его давят с обеих сторои надвииувшиеся высокой сте-

ной леса. Валя смотрит вперед: там далеко вниз убегает дорога, потом поднимается и, кажется, висит в воздухе.

Колонну арестантов со всех сторон сжимают люди. Им не до арестованных. Конвой с трудом соблюдает порядок. Небольшой мостик лежит внизу. Валя видит, как на нем сбились в кучу повозки, люди. Арестанты медленно двигаются к мосту.

— Посторонись! — кричит начальник конвоя.

Солдаты прикладами отпихивают наседающих со всех сторон людей. Люди приостанавливаются, но испуганные лошади врезаются в колонну и делят ее надвое.

Конвоиры бросились к лошадям.

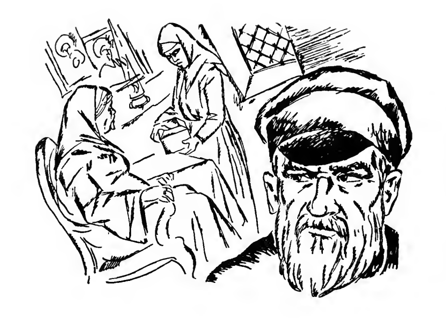
Валя оглянулась: сбоку от нее в три ряда стоят и ждут прохода колонны — телеги, повозки, нагруженные всяким скарбом.

«Уйду», — подумала Валя и вдруг, наклонившись, исчезла под брюхом рядом стоявшей лошади. Потом нырнула под другую, третью и очутилась в глубокой канаве, заросшей травой. Она села на траву и начала перешнуровывать ботинок.

Колонна двинулась вперед после минутной задержки. Арестанты молча пошли дальше, как будто не заметив исчезновения Шатровой.

Валя поднялась и пошла в лес.





ЮРИЙ КУРОЧКИН

ТОБОЛЬСКИЙ УЗЕЛОК

Запутанной и сложной операции уральских чекистов *— поиску драгоценностей, запрятанных в Тобольске семьей последнего русского царя, Николая Романова, посвящена повесть Ю. Курочкина «Тобольский узелок». Лишь пятнадцать лет спустя после кропотливых и настойчивых поисков чекистам удалось вернуть драгоценности их истинному хозяину — народу.*

Автор этой книги Юрий Михайлович Курочкин — уроженец Пермской области (родился в 1913 году в г. Чусовом). По профессии он журналист, со дня основания журнала «Уральский следопыт» заведует в нем отделом краеведения. В Свердловске, Челябинске и Перми издал семь книг, в том числе в «Библиотеке путешествий и приключений» книгу «Легенда о Золотой Бабе» (Пермь, 1963 г.). Очерки Ю. М. Курочкина печатались во многих журналах и газетах.

ОТ АВТОРА. Изложенная здесь история одной операции, проведенной уральскими чекистами в начале 1930-х годов, не претендует, однако, на документальную хронику ее. Время не сохранило многих подробностей, без которых немыслима полная документальность. Поэтому автор счел себя вправе прибегнуть иногда к смещению событий во времени и пространстве, к вольной трактовке сцен, свидетелей которых уже нет в живых, к домыслу фактов, возможно имевших место, но не зафиксированных в документах; наконец — позволил себе представить облик и характер действующих лиц (естественно, в документах не отраженные) такими, какими их подсказывал ход событий, но которые, возможно, на самом деле были иными. В связи с этим автор вынужден был изменить имена многих действующих лиц.

ПРОЛОГ

— Пиши... Головные шпильки с бриллиантами, по тридцати шести каратов каждая, две штуки по триста пятьдесят тысяч, — диктовал Блиновских, принимая из рук Колташева тонкие металлические стерженьки, увенчанные сверкающими самоцветами. — Так, Данилыч?

— Точно будет, — согласился Колташев.

— Триста пятьдесят... тысяч?! — переспросил Михеев, оторвавшись от описи. — Такая-то фитюлька?

— Какая же это фитюлька! — укоризненно взглянул на него Блиновских. — Голубой алмаз великолепной огранки.

Уникум, можно сказать... Фитюлька! — фыркнул он, подмигнув Колташеву. — Скажет тоже.

Колташев и Блиновских снисходительно похихикали.

— Пиши, — продолжал Блиновских, принимая от Колташева очередную вещицу. — Головные булавки с бриллиантами и жемчугом... Шляпные булавки с изумрудами... Шпилька кунцитовая... Опять булавка, в форме якоря... А вот тебе еще «фитюлька». Прикинь-ка ее, Данилыч.

Колташев поколдовал над булавкой с крупным бриллиантом, величиной с лесной орех-лещину, и, беззвучно пошептав что-то про себя, доложил:

— Сорок четыре карата, однако. Баской уж больно, — не удержался он от похвалы, поворачивая на свету блещущий цветными искрами кристалл.

— Выходит, тысяч семьсот стоит, — резюмировал Блиновских. — Так и пиши...

Удерживая легкую дрожь пальцев, Михеев послушно проставил в описи очередную цифру. Ахать он больше не решался.

Вот уже который день они сидят с утра до ночи за столом, освобожденным от всего лишнего, в кабинете Михеева на третьем этаже здания Полномочного представительства ОГПУ по Уралу. Он, Михеев, и двое экспертов.

Эксперты... Михеев невольно усмехнулся, вспомнив первую встречу с ними: так не вязался их вид с его представлением об экспертах, людях, по его мнению, высокоученых, импозантных, с холеными профессорскими бородками и золотыми очками. А тут...

— Звали? Колташев я. Кондратий Данилович, — представился, тщательно закрыв за собой дверь и остановившись у порога, невысокий старичок с широкой седой бородой и расчесанными надвое седыми же, стрижеными под горшок волосами.

Он чинно подал лопаточкой свою маленькую жесткую ладошку, пристроил в угол березовый, видавший виды бадо-

жок и сел на предложенный ему стул. Поправив узкие, в железной оправе очки со связанными назади ниткой кончиками дужек, он изучающе оглядел, не поворачивая головы — одними глазами, — комнату и лишь потом остановил взгляд на Михееве: готов-де слушать, что скажете?

— А где же другой... эксперт? — спросил тот, тоже усаживаясь.

— Петр-то Акимыч? А в коридоре он. Думали, может, по раздельности нас надо, вот и решили по очереди. По старшинству, значит. Петьку-то я еще маленьким знавал, почтение оказывает. Мне-то уж восьмой десяток доходит, а ему седьмой все еще.

Михеев выглянул в коридор. Недалеко от дверей, пристроившись на краешке дивана, сидел худощавый, костистый и очень сутулый человек с плоской соломенной шляпой в руках и с потертым кожаным чемоданчиком у ног.

— Товарищ Блиновских?

— Я буду, — встрепенулся тот и поспешил, чуть заметно прихрамывая, к стоявшему в дверях Михееву.

Он был, конечно, моложе Колташева, но морщинистее и желтее лицом. Зато франтоватее, что ли. Колташев — в обычной ситцевой косоворотке под серой рабочей курткой, в сатиновых, заправленных в носки штанах. А Блиновских — в бывшей некогда добротной пиджачной паре, в штиблетах с резинкой на боку и при галстуке — старомодном самовязе с булавкой. Его крупные рабочие руки с задубелыми коричневыми подушечками пальцев как-то не вязались с нарядом мелкого чиновника дореволюционной поры.

Но не такими уж простачками, как казалось, были на самом деле деды. Колташев считался признанным авторитетом в минералогии. Долгая жизнь, целиком отданная уральскому камню, поискам самоцветов, сделала его знаменитым на весь край горщиком, выдающимся знатоком своего дела. С ним советовались академики Кокшаров, Вернадский, Ферсман, считали честью учиться у него профессора Крыжановский и Федоровский, его не раз приглашали на консультацию

в Академию наук, и под протоколами ее ученых заседаний, рядом с подписями знаменитых ученых, можно видеть и его «приложение руки»— три жирных креста: горщик до старости оставался неграмотным.

Его друга, Петра Акимовича Блиновских, знали как «мастера — золотые руки». Талантливейший гранильщик, умевший глубоко проникнуть в душу камня, он на примитивном ручном станочке создавал такие шедевры ювелирного искусства, что слава о них шла в свое время по всей Европе. За «акимычевой гранью» охотились перекупщики и ювелиры, зная, что, дав за нее любую цену, не прогадают. Сам «поставщик двора его императорского величества» всемирно известный ювелир-художник Фаберже посылал на Урал тайных гонцов за поделками Петра Акимовича и не раз пытался сманить его к себе в мастерскую.

Вот с такими экспертами и предстояло поработать Михееву, чтобы описать и оценить найденный им, наконец, богатейший клад.

Деды выслушали Михеева внимательно, но спокойно, словно речь шла о рядовом, будничном деле. Так же спокойно, словно бы даже равнодушно, оглядели выставленные на стол коробки с драгоценностями. Лишь когда Михеев вывалил на стол сверкающий клубок золота и самоцветов, он уловил в глазах стариков огонек удивления и восхищения: они-то понимали толк в этом.

Петр Акимович достал из своего чемоданчика складные весы с тонкими черепаховыми чашечками на никелированном коромысле, набор пинцетов и щипчиков, скляночки с какими-то жидкостями, кусочки замши, и михеевский стол приобрел вид уголка обычной кустарной мастерской. Дед Колташев протер платком очки. И оба, переглянувшись, враз деловито подвинулись к столу. Михеев достал заранее разграфленную ведомость для описи вещей.

Долго он потом вспоминал эти часы, проведенные стариками в его маленьком кабинете, скупые отрывочные рассказы — воспоминания, которыми они обменивались, не отры-

ваясь от дела. Он любовался их уверенными, профессиональными движениями и приемами. С удивлением смотрел, как оживает невзрачный с первого взгляда, миниатюрный, прихотливой огранки камешек в грубоватых, плохо гнущихся пальцах, повинуясь еле уловимому повороту...

— Пиши. Цепь золотая с изумрудом и бриллиантовой осыпью, — диктовал Блиновских, поворачивая перед светом выложенную из коробки вещицу. — На сколько карат, думаешь, Кондратий Данилович, потянет?

— Пиши — восемнадцать, не прошибешься. Можешь не взвешивать, точно будет, — отвечал Колташев и, поиграв подвеской, добавлял ласково: — Наш, уральский. С Рефта.

— Будто уж точно с Рефта? Так и помечено? — пробовал шутливо подзадорить его Михеев.

— Помечено. Мать-земля метила, только не каждому видно... А ты не смейся. Владимир Ильич, профессор Крыжановский, этак-то у нас однажды преступника словил.

— Как так?

— А вот так. Приехал он как-то в одну партию. Народец там с бору да с сосенки, с большой дороги да с торной тропки, оторви да брось, словом. Однако не скажи — камень знают, народ по этой части бывалый. Ну, увидели они, что профессор приехал, и давай его вроде экзаменовать: откуда, мол, изумруд этот? А это, говорит, не изумруд вовсе. Берилл, говорит, с Адуя. Ну и прочее такое. Видят мужики, что профессор вроде кумекает, знает камень-то. Тогда один из них, угрюмый такой, молчун, и говорит: а вот это тебе, хоть ты и профессор, ни в жизнь не угадать — откуда. Новое, говорит, место нашел, никто еще не знает... Посмотрел Крыжановский камни, похмыкал, и так и сяк повертел, на мужика этак зорко глянул и спрашивает его: как, мол, они к тебе попали? Это, говорит, с Забайкалья, аквамарины-то. Мужик с лица побледнел, забрал камни, сложил их в кисет и говорит: ничего ты не знаешь, профессор, век я живу на Урале, никуда с него не

уезжал, наши камни, местные, а где нашел, не скажу. И ушел. Владимир Ильич сначала смутился будто, а потом — к начальнику партии. Стал документы смотреть. И, что ты думаешь, нашел ведь там бумагу, где сказано, что был тот мужик в Забайкалье. А зачем скрывает? Навели на том забайкальском руднике справки. Оттуда пишут: было у нас такое дело, контору ограбили, аквамарины марочные выкрали. Трое рабочих после этого убежали — их рук дело, значит. Среди них и тот, о ком запрашивали. Так вот и поймали субчика. Это тебе не хита наша горемычная, а самонастоящий грабитель.

...Хита, хитник. Забытые за ненадобностью слова. Так звали на старом Урале горщиков, промышлявших камни-самоцветы тайком, без оформления заявок на месторождение. Но что тут было хищнического и тем более хищного, Михеев понять не мог. Охота за камнем — это свободный поиск. На всю тайгу заявку не подашь, никакой мошны не хватит. Вот и промышляли тайно, храня каждый при себе приметы своих фартовых местечек.

Перед первой мировой войной, на съезде горщиков, созванном знатоком и любителем уральского камня художником Денисовым-Уральским, выяснилось, что 93 процента участников съезда привлекались к ответственности за хиту. Кто-то крикнул из зала, что из 150 участников не найдешь и десяти, которые не побывали бы в тюрьме.

Трудное это было дело, неблагодарное, и только истинная любовь к камню двигала теми, кто не оставлял этого занятия. Хорошо, если «фартнет», тогда — кум королю. Можно коровенку купить, одежонку справить, прохудившуюся крышу починить. А если нет — соси лапу целый год, слушай, как ревут голодные ребятишки, смотри, как жена, роняя в квашню слезы, замешивает на них отруби с лебедой...

Да и пофартит если, сколько еще горя примешь с находкой! Тут же, как муха на мед, прилетит перекупщик, подпо-

ит, заберет за гроши камни, а сам их продаст в городе за большие рубли. Избежишь перекупщика, сам в город пойдешь — еще больше намучаешься. Крупные дельцы-магазинщики, всякие там Липины да Барчевы, знали, как обвести мужика вокруг пальца. Так собьют цену, что и обратной дороги домой не оправдаешь — копейки какие-то выпросишь за добрый камень. А он, камень-то, через месяц-другой уже в Петербурге, а то и в Париже за сотни, да что сотни — за тысячи рублей идет у видных ювелиров.

А сколько вокруг ожидало мошенников, вымогателей, темных грабителей! Сколько горщиков осталось у своих закопушек в тайге с проломленными черепами, скольких в вечную кабалу обратили пауки-перекупщики!

Нет, не мед это дело, не мед. Недаром в сказках, легендах и песнях Урала самоцветные камни всегда сравниваются с застывшими слезами людскими!

— Кулон с аметистом бразильским. Хорош камень, да только наши, мурзинские, погуще цветом будут. Так, Данилыч?

— Так, так, Петя. А ты помнишь, как Сергей Хрисанфыч Южаков ожерелье из аметистов подбирал? Все с Ватихи да с Тальяна — копей мурзинских... «Вот добуду, говорит, сюда, в леву сторону, еще два камня, и сам в Париж повезу, у них глаза на лоб полезут». Восемь лет подбирал.

— Диадема бриллиантовая с кунцитами,— продолжал Блиновских.

— Хороши бриллиантики, — задержал в руках Колташев драгоценное украшение. — Африканские, я думаю.

— Похоже, — поддержал Блиновских.

— А что, наших, уральских, не попадалось ли? — спросил Михеев.

— Наших — нет, — ответил Блиновских. — На Урале алмазов, можно сказать, нет. Вот, правда, Кондратий Данилович со мной не согласен по этой части.

— А как согласишься, если сам их находил, — с неожиданной для него живостью откликнулся Колташев. — Есть на Урале алмазы. Только мало их еще искали. Павлик Попов на Крестовоздвиженских промыслах еще в прошлом веке находил. Граф Шувалов на Нижегородской выставке шкатулочку с алмазами со своих уральских приисков показывал. Сам я на Положихе находил. Это еще Дмитрий Наркисович Мамин-Сибиряк описывал...

— А ты расскажи, расскажи, — подзуживал его Блиновских.

— И расскажу. Не совру. Хоть и не все верят. А вот Александр Евгеньевич верит. Спроси Ферсмана-то, он скажет. А было, значит, так. Мыл я рубины на Положихе. Осенью. Да что осень — зима, считай, была, уже снег лежал, в варежках робил. Ну, отмыл я в ковше два камешка. Светлые, но на тяжеловес не похожие. Один — маленький, с карат, а то два, другой — много поболе. Карат, думаю, в сорок. Ну, я маленький-то кристалл — в рот, за щеку, чтобы не потерять. А большой куда? Много не думая — в варежку его, в напалок. Вечером пришел домой, трясу, трясу варежку — нет ничего. Смотрю: в напалке-то дыра. Потерял, значит. Потом маленький-то камень в Тагил снес, к Шорину Дмитрию Петровичу. Хорошая коллекция у него была, любил камень, знал его. Посмотрел он мою находку, кричит: «Где взял?» На Положихе, говорю. «Да ведь алмаз это, Кондратий!» Неуж, говорю, алмаз? Не попадало еще мне такого. «Алмаз, алмаз, точно тебе говорю». Тут-то я и пожалел, что большой камень потерял: шутка сказать — сорок карат! Дмитрий Петрович потом все это рассказал своему другу, Дмитрию Наркисовичу, а тот уж после в книге описал. Есть алмазы на Урале, есть. И сам еще не раз находил, но только уж махонькие, в дело не годные. А кристаллизации правильной — чистый октаэдр, восьмигранник, значит.

— Пиши, — прервал его Блиновских, видимо не раз слыхавший этот рассказ. — Пояс из мелкого жемчуга с одиннад-

цатью крупными рубинами, с осыпью из мелких бриллиантов и рубинов. Цена камней... Сейчас подсчитаем... Выходит — семьдесят пять тысяч записать надо.

— Славная опояска, толково сделана, — похвалил Колташев.

— ...Колье бриллиантовое, с жемчугом и рубиновой подвеской. Пятьдесят тысяч... Давай, что там еще есть?...



ОЖЕРЕЛЬЕ ЦАРИЦЫ

Сегодня Патраков снова держал в руках это письмо. Пришло оно давно, больше года назад, но ему тогда так и не дали ход: начальство не сочло перспективным дело, о котором там говорилось. Однако Патраков оставил письмо у себя. Написано оно было на двух тетрадных листочках модным тогда в канцеляриях пером «рондо»:

«Тов. Леткенс!

В бытность мою в 1923—24 годах в Тобольске, при ликвидации Ивановского женского монастыря (он от города в 6—7 верстах), мы

обнаружили много спрятанных ценностей, закопанных в могилах, замурованных на колокольне и в подвалах и т. п. Среди найденного, помню, было немало имущества, принадлежащего семье последнего царя Николая Романова (белье, посуда, письма Распутина и др.). Большинство этого обнаружили с помощью самих же монашек, среди которых был антагонизм, что помогало нам. Нам сообщили тогда, что в монастыре спрятано и ожерелье бывшей царицы, его хранила в царской же шкатулке сама игуменья Дружинина. Но когда мы собрались к ней, оказалось, что она накануне скоропостижно умерла. Знали еще одна схимница, очень старая, спавшая вместо кровати в деревянном гробу, у нее вначале и хранила игуменья шкатулку. Но схимница была дряхлой, почти ничего не помнила, и от нее невозможно было добиться толку. Вскоре и она умерла. Так это дело и забылось, у нас хватало других хлопот — с бандитами и белым офицерьем, осевшим здесь со времен колчаковщины и организовывавшим восстания против Советской власти. Но сейчас, я думаю, надо бы об этом вспомнить и возобновить поиски — ожерелье очень ценное, за него можно получить много валюты, так нужной государству сейчас.

Вот и все. Желаю успеха.

В. Корецкий.

27 декабря 1931 года».

Письмо поступило в Свердловск из одного окружного отдела ОГПУ, где некогда работал автор, старый чекист, ныне инвалид и пенсионер.

— Беллетристика! — сказало Патракову начальство, когда он доложил о письме. — Тайны монастырского двора. Если уж они тогда, по горячим следам, не нашли, то что можем найти мы через десяток лет? Сдайте в архив.

Патраков письмо в архив не сдал. Нередко перечитывал знакомые строки, будто ожидая, что между ними проявятся какие-то другие, которые сразу откроют все. И тогда останется взять перо и написать в левом верхнем углу резолюцию: «Т-щу такому-то. Приступить к разработке», заключив ее датой и привычным росчерком.

Конечно, зацепиться, как видно, совсем не за что. Игуменья и схимница унесли тайну клада с собой в могилу. Времени с тех пор прошло много. И если о кладе знал кто-то еще, то наверняка сумел перепрятать его или сбыть. Искать наугад? Это все равно что искать иголку в стогу сена. В мо-

настыре давио уже разместнлся детский дом, там все перестроено и перерыто. Вездесущая ребятия безусловно облазнла все закоулкн бывшей обнтели н нашла бы эту иголку не хуже группы чекистов. Старые моиашкн разбрелись по белу свету — где их теперь сыщешь? А если н иайдешь — что оии могут сказать? В тайну такую миогих посвящать игумеиья, коиечно, ие стала бы...

Нет, слншком маловероятиа иадежда иа успех, очень уж пеясиы возможные путн поисков! Такой узелок ие развяжешь.

И все же сдать письмо в архив ие подымалась рука...

Сегодия Патраков держал письмо в руках ие вечером, как обычио, а утром. Он только что просмотрел дела, прннесеиные ему иа подпнсь, и одно из иих отложил в стороиу.

Стаидартная корнчневая папка с надписью «Хранить вечно». Протоколы допросов, очиых ставок, справки, акты, повестки. За ннмн полгода упориой, кропотливой и, прямо сказать, иногда нудиой работы, нтог которой будничен и скуп, как трехстрочиая заметка из газетиой колоики «Происшествий»: «Разоблачена шайка расхитителей золота иа Н-ском прииске. Похнщениый металл сдан в Госбанк». Металл-то сдан, три кнло золота тоже чего-то стоят, но суть ие в этом, а в том, что наглухо закрыта лазейка, через которую ои утекал.

Дело это Патраков зиал в деталях, и просматривать его, пожалуй, было иезачем — так, формальность. Но вниманне остановил лист первого допроса Аниы Теленковой, привлеченной виачале в качестве соучастиицы храиеиия похнщениого золота. Ее иадо освобождать до суда: оиа и в самом деле не зиала, что в банках с медом, поставлеииых в ее погреб заезжим человеком, был не мед. Но не в этом дело...

«До 1923 года была моиахиней Ивановского моиастыря в Тобольске», — гласнла одна из первых строк ее жизиеописания.

Интересно, что она помннт нз того временн?

Патраков позвоннл, чтобы прнвелн Теленкову.

Монашка оказалась румяной, жнвой, суетлнвой, не так уж н старой («58 лет», — отметнл про себя Патраков, заглянув в протокол), какой-то уютно-домашней н уж вовсе не нспуганной, как это можно было предполагать.

— Что скажешь, батюшка? — спроснла она, чннно усевшнсь на предложенный стул, н, прнвычным жестом поправнв складкн шнрокой темиой юбкн, прнготовнлась слушать.

— Да вот побеседовать хочу напослед.

— Будто все переговорено у нас с кем надо. Вкновная я — суднте, нет — выпускайте меня, рабу божню. О чем бы еще говорнть-то?

— О монастыре хочу расспроснть. Ты ведь, кажется, монашкой была?.. Нничего, что я на «ты» разговарнваю? — довернтельио наклоннлся к собеседннце Патраков. — Оба мы на возрасте, да н сама ты со мной по-простому.

Телеикова крнтнческн оглядела его редкнй ежнк седых волос с глубокимн залысннамн на лбу, резкне морщнны на щеках н меж бровей, увечную левую руку с негнущнмся указательиым пальцем.

— Говорн. Мы по-простому прнвыкли. А о монастыре... Была, батюшка, была. Хотела до конца дней своих в обителн грехн замалнвать, да вот не прнвел господь. В мнру жнть приходнтся.

— Остальные-то вашн монашкн куда подевалнсь?

— Кто их знает. Разбрелнсь по белу свету. Кого уж бог прнбрал, кто у роднн век дожнвает. А нз молодых которые н замуж, простн нх господн, повыскакнвалн. Ну да Хрнстос им судья, пусть жнвут кто как хочет. Все люди, все человеки, — фнлософнчно заключнла она.

— И вот что еще... Анна Матвеевна — так, кажется? — сверннлся снова с протоколом Патраков.

— Так-то так, да не совсем. Агрнппнна мне нмя прн пострнженнн дано. Так, значнт, н зовут меня людн. А ты — как хочешь.

— Это что же, кличка вроде?

— Зачем кличка, — обиделась Теленкова. — Это в миру фамилия, прозвище. А у нас имя божье, православное. Фамилия говорит, чей ты, какой семьи. А мы, как постриг принимаем, от мира, от семьи отрекаемся. Фамилия уж тогда ни к чему. Одно имя, да и то новое, не то, что при крещении было дано.

— Понял, — серьезно заметил Патраков. — Но не в этом дело, Анна Матвеевна... Агриппиной-то мне все же звать тебя неудобно... Хочу спросить, не встречала ли кого из знакомых монахинь?

— А что? — улыбчиво прищурилась Теленкова. — Монастырь хочешь основать? Эти, как их там... кадры понадобились?

Патраков улыбнулся, дав понять, что оценил ее юмор.

— Понадобились, Анна Матвеевна.

— Тут я тебе, батюшка, не помощница. Сам посуди, около десяти лет живу за тридевять земель от Тобольского. В глуши. Никого наших тут нет, письменным делом не занимаюсь, где мне взять?

— Слыхала, может?

— Так ведь не всякому слуху верь. Мало ли что скажут... Баяли люди, что живы Препедигна, Селафаила, Агния... Мелания и Серафима преставились. Тонька Непутевая замуж вышла. В самом Тобольске многие поныне живут.

— Фамилии их не вспомнишь?

— Где упомнить и не знала николи. Редко кто знал. Разве что из одной деревни. Да кто в послушницах долго жил, про тех известно было.

«Вот и найди их теперь по этим кличкам!» — досадливо отметил про себя Патраков, складывая гармошкой кусок бумаги — дань давней привычке, нередко служившей для знакомых объектом шуток. Пробовал отвыкнуть — не получалось, это помогало сосредоточиться. Сложит рубчик за рубчиком, один к одному, в рифленую стопочку — думает. Не удалось — разгладит и снова складывает. А потом, когда

вроде получилось, выбросит в корзину, сцепит руки в замок на столе, выставив негнущийся палец, как штык, и уж про бумажку больше не вспоминает.

— А ты ценности монастырские прятала, Анна Матвеевна? — отбросил Патраков бумажку.

Теленкову вопрос не удивил. Ответила спокойно и даже досадливо, как о чем-то надоевшем.

— Кто их не прятал. Повеление настоятельницы — как ослушаешься? И я прятала. И многие другие тоже.

— Как же вы их прятали, куда?

— Так вот и прятали, носились, как кошки с котятами, прости господи, с места на место. Там закопаем, там замуруем, а потом выкопаем, размуруем да в другое место тащим. Сами запутались после, где что захоронено. А толку — чуть. Все равно Чека все нашла.

— Считаешь — все?

— Надо думать — все. Что сама Чека не нашла, другие показали. Особливо мать-казначея постаралась. Искать сейчас — дело пропащее. Все рыто-перерыто не по одному разу.

«И она тоже!» — уныло подумал Патраков.

— Кто это — мать-казначея?

— Ну, помощница игуменьи, что хозяйством всем ведает. Елшина, кажись, по фамилии, — сердито ответила Теленкова, но тут же оживилась, заалела старческим, в прожилках, румянцем на выпуклых, яблочком, щеках и, сложив руки на коленях, как перед долгим рассказом, поведала: — Надо тебе сказать, когда Чека к нам пришла и стала у игуменьи ценности требовать, в обители раскол получился. Понимаешь? — округлила она глаза.

— Понимаю, — серьезно подтвердил Патраков.

— Так вот, игуменья все добро прятать велела, говорила, что большевикам ничего отдавать не надо, все равно старая власть придет. Многие держали ее сторону и слушались. А часть была несогласная. Говорили — надо отдать, от греха подальше, опять же голодным ребятам помощь. А на икону молиться и без золотого оклада можно. Христос тоже,

мол, не любнл этого... Заводнлой у инх, у матушкиных супротнвннц, н была эта мать-казначея.

— Такая уж она сознательная?

— Она такая... — нроннческн протянула Теленкова. — Ей пальца в рот ие кладн. Ты думаешь, ей добра было не жалко? Еще как жалко-то. Да ведь знала, что все равно заберут его. А она отдаст и на этом выслужится перед иовой властью. Может, н настоятельинцей поставят. И, что ты думаешь, поставили. Не власть, конечио, — архнерей. Опела она ему уши после смертн нгуменьн, вот он н благословнл казначею на ее место. Пройдоха, прости меня господи. И иасчет добра, ие думай, маху не даст. Пока одно указывала, другое про себя прнпрятывала. Да только и это потом нашли. — И она удовлетвореино поджала губы.

— Царскнх драгоценностей не бывало лн в монастыре?

— Как, подн, не бывало. Да мы, серотá, до иих ие касалнсь. Там свон людн былн, доверенные.

— Кто же это?

— Кто их зиает. Нам не докладывали. В моиастыре закон на этот счет строгнй: что кому поручено, то и делай, в чужне дела не суйся. Наше дело малеиькое.

— Моя хата с краю? — усмехнулся Патраков.

— С краю, батюшка, с краю...

Отпустнв Теленкову, Патраков надолго задумался, потом сложил пнсьмо Корецкого и свои запнсн в отдельную папку и направнлся к иачальству.

Час спустя он вернулся и, достав пнсьмо, взялся за перо. Вывел в левом верхнем углу: «Тов. Мнхееву. Приступить к разработке. Патраков». И поставнл дату.

В Управлеиии Михеев ходнл в «середнячках». Считался исполннтельным, грамотным, честным и когда нужио решнтельиым, но ие особенно энергичным — мягковатым, что ли, парнем. Он н сам несколько стесиялся своего мешковатого, сугубо штатского вида, сутулости, свойственой высокнм и

худым людям. Зато в способности разобраться в хитросплетениях противоречивых показаний, в умении извлечь за еле заметный кончик всю ниточку и распутать клубок — в этом был «не безнадежен», как говорил сдержанный на оценки Патраков.

В ГПУ Михеев пришел по путевке комсомола. Потеряв в голодном двадцать первом году отца и мать, он беспризорничал, попал в трудколонню, быстро освоился там, стал помощником воспитателя, а потом и воспитателем, сменив на этом посту своего наставника, сгоревшего от застарелой чахотки, одного из верных «солдат Дзержинского». С сыновней нежностью вспоминал Михеев этого чистого, неподкупной веры в революцию человека, выпрямившего его покореженную в беспризорных скитаниях душу.

— Чекист, — говорил он Михееву, — это кристальная честность, беспредельная вера в победу революции и готовность в любую минуту пожертвовать всем для нее. Надо, чтобы ты был таким, пусть это и нелегко. Значит — готовь себя к этому.

И Михеев готовился, хотя и считал, что стать таким, как его наставник, едва ли сможет. Однако на предложение стать профессиональным чекистом ответил радостным согласием.

Конечно, новая работа потребовала от Михеева настойчивой учебы «на ходу», но то, что он сумел получить в свое время от старого чекиста, было лучше многих курсов и надолго определило его линию поведения.

Особо серьезных дел за три года работы ему самостоятельно вести еще не приходилось, начальство не выделяло его. Патраков, по обычной своей сдержанности, не баловал похвалами, разве что иногда дольше, чем на других, задерживал на нем холодноватый, изучающий взгляд своих разноцветных — один серый, другой синеватый — глаз.

Поэтому Михеев, выслушав новое задание Патракова, прикидывал про себя: что это, свидетельство возросшего до-

верия к нему или вполне понятное решение свалить на «среднячка» дело, заранее признанное бесперспективным?

Патраков же был как обычно серьезен, но с особенным на этот раз старанием подгонял друг к другу рубчики бумажной гармошки.

— Дело непростое, — говорил он словно в раздумье. — Можно ткнуться в него, зайти в первый тупик и бросить. Так и так, мол, дело темное, что мог сделал. И осудить за это будет трудно. А вот сможешь ли выше того, «что смог»? Здесь — надо. Хочу надеяться на успех. Уж очень было бы важно это сейчас — принести в валютный фонд страны такую... — он пощелкал пальцами, подбирая слово, — ...весомую вещицу.

— Можно идти? — спросил Михеев, отреагировав на последовавшее за этим молчание начальника. — Когда ехать?

— Не торопитесь, — поморщился Патраков. — Может, вопросы есть? Они будут. Должны быть. Узелок сложный. С налету тут ничего не сделаешь. Возьмите книг, почитайте. О Тобольске, о монастырях, о Романовых. Вы ведь книгочей, я знаю. И письмо это обсосите. Наизусть запомните. Каждую строчку сто раз прочтите, представляйте себе, что за ней стоит, обстановку тех дней.

— Может быть, съездить к Корецкому?

— Умер он, — нахмурился Патраков. — Пока мы тут... Ну, ладно идите. Через неделю поедете. Помощников не даю, там, если надо, возьмете, на месте. Ясно?

— Ясно, — ответил Михеев и вышел со смутным чувством, что ему все-таки пока еще не все ясно.

В Тобольске Михеев никогда не бывал, и этот город был для него просто одним из окружных центров обширнейшей Уральской области, раскинувшейся от Каспия до Ледовитого океана; пунктом, откуда поступали служебные бумаги и сводки да изредка приезжали товарищи по работе.

Теперь же, напитавшись, по совету Патракова, кое-какой

литературой, Михеев готовился встретить «знакомого незнакомца»: этот древнейший город Сибири был уже населен для него множеством знакомых лиц, вещей, событий.

Он видел стоящего на крутом холме у слияния Тобола и Иртыша татарского князька Кучума, злобно глядящего из-под козырька железного шлема на подплывающие из-за поворота струги Ермака.

Видел склонившегося над «Чертежной книгой Сибири» подьячего Семена Ремезова, создателя первой географии своего обширного края. Ставленника Великого Петра, воспитанника Киево-Могилянской академии, десятого Тобольского митрополита Филофея Лещинского — среди семинаристов, разучивающих под его руководством «комедийное действо», сочиненное на досуге самим архипастырем. Пленных шведов, участников Полтавской битвы, строящих крепостную стену и башни кремля. Слышал разноязыкий гул красочной толпы перед Меновым двором, видел яркую пестроту этого необычного торжища, где можно было встретить и скуластого китайца, сидящего на корточках перед штабельком зашитых в шкуры черных плит кирпичного чая, и одетого в оленью малицу вогулятина со связкой соболиных пупков в руках, и бородатого нижегородца с набором фряжских материй, и земгорских — восточных — купцов с еркецким товаром...

Видел ссыльного гвардейского офицера, недурного пиита и рисовальщика Панкратия Сумарокова, просматривающего только что отпечатанную в типографии купца Корнильева книжечку первенца провинциальной журналистики — журнала со странным названием «Иртыш, превращающийся в Ипокрену». Видел застрявшего здесь по дороге в сибирскую ссылку, на далекий Илим, «государственного преступника» Александра Радищева, при свете сальной свечи записывающего свои дорожные впечатления. Видел собравшихся в уютном салоне жены декабриста Натальи Фонвизиной (как говорили — прототипа Татьяны Лариной) ее друзей — Александра Муравьева, Владимира Штейнгеля, Ивана Анненкова с супругой, большеокой красавицей Полиной Ледантю; долго-

вязого Кюхлю с черными зонтиками на слепнущих глазах; читающего свои вирши молодого, но уже известного поэта Петра Ершова...

Видел кладбище со святыми для иас могилами — того же Кюхли, закончившего здесь многострадальные дни свои, его собратьев по мятежному декабрю — Барятинского, Муравьева, Башмакова, Вольфа, автора бессмертного «Конька-горбунка» Ершова, украинского поэта-революционера Грабовского...

На пристани Мнхеева встретили знакомый сотрудник, часто бывавший в Управлении, и молодой чернявый парень с лихо выпущенным нз-под фуражки кудрявым чубом.

— Саидов, — отрекомендовался он. — Звать Сашей. Назначен вашнм помощником. Не возражаете?

— А чего ж? — отозвался Михеев, отвечая на его крепкое рукопожатие.

Дружно стуча каблуками по широким деревянным тротуарам («иаш тобольский асфальт» — назвал их Саидов), еще влажным от подтаявшего утреннего инейка, они направились к центру города. Михеев с любопытством осматривался по сторонам, полной грудью вдыхая весеннюю свежесть.

Сандов оказался толковым малым, жнвой и открытой натурой, энергичным и старательным, но несколько безалаберным. Типичный комсомолец двадцатых годов — простецкий в обращении, презиравший «всякие там фигли-мигли», вроде «хорошего тона», галстука и танцев, хотя был явно неравнодушен к своей внешностн, старательно ухаживал за кудрявой, смолисто-черной действнтельно красивой шевелюрой и кокетливо поправлял скрипучую новенькую портупею. Был он не высок, но строен, с юношески гибкой тонкой талией; монгольскую скуластость лица, унаследоваиную от отца-татарина, пристанского грузчика, скрашивали большие темные глаза с длнными, по-детски загнутыми ресницами — дар матери-сибирячки.

При разговоре он не мог долго сидеть на одном месте, вскакивал и, засунув руки в карманы, прохаживался по комнате, изредка присаживаясь то на угол стола, то на подоконник. Михеева удивляло, что он говорит без нужды громко, почти кричит, как-то нелепо размахивая руками, и продолжает говорить даже когда кашляет или жует. Руки его вечно липнут ко всему — не глядя, нашарит пепельницу, открутит винтик державки для ручек у письменного прибора, поколупает отогнувшийся уголок сукна на столе. Любит иногда, особенно при посторонних, напускать на себя таинственность, учреждение свое называет «органы», солидно понижая при этом голос.

А в общем-то славный, неглупый парень, и Михеев быстро сошелся с ним. Своим участием в ответственной операции Саидов был очень доволен, на Михеева смотрел с мальчишеским уважением и заботливо опекал его.

Жить Михеева устроили не в гостинице — там шел ремонт, а в доме, где квартировали работники милиции. Две комнаты в нем занимал разъездной инспектор окружного отдела, а маленькая угловая служила чем-то вроде комнаты для приезжих. В нее-то и поселили Михеева. Анисья Тихоновна, мать инспектора, приняла его под свое покровительство.

— И мне веселее будет, — встретила она Михеева. — Мой-то все в разъездах, одна да одна. Будем теперь вместе вечерами чаи гонять.

Наутро Саидов повел Михеева знакомиться с городом. Местный уроженец, он хорошо знал его, по-своему любил, хотя о старине, составлявшей одну из главных достопримечательностей города, отзывался пренебрежительно. Все старое выглядело в его глазах отжившим, ненужным, в лучшем случае подлежащим перестройке на новый лад. Однако, надо отдать ему должное, историю города он знал неплохо — по книгам, по богатой экспозиции известного во всей Западной

Сибири музея, по рассказам старожилов, учителей. Толковаиие обо всем этом имел все же свое.

— Вот кремль наш, — говорил ои Михееву, размахивая руками и цепляясь за его пуговицу. — Скажи ты мне, пожалуйста, отчего это так поставлеио? «Москва, Кремль» — адрес-то какой! А тут — «Тобольск, кремль». Петрушка какая-то. Переимеиовать иадо.

— Нельзя, — улыбнулся Михеев. — Это ие имя иарицательиое, а поиятие. Ну, как крепость, например. Ои и был когда-то крепостью. Детинец еще звали его. Не у вас одних, в Нижнем, в Казани, в Новгороде...

— А все же ие то что-то, — не сдавался Саидов, ио больше, пожалуй, для видимости.

Они почти до вечера ходили по городу, лишь изредка присаживаясь отдохиуть — то в парке, серо-зелеиом от только что проклюиувшейся листвы, то на берегу Иртыша, у пристаии, то иа просториом, мощеиним плитами дворе кремля. Слушая рассказы своего иеутомимого спутиика, Михеев «вживался» в Тобольск семнадцатого-восемиадцатого годов, в ту пору, когда завязался «тобольский узелок» — дело, приведшее его сюда.

Как это примерио было?..

Вот по этим, щербатым от времеии, скрипучим плахам пристани прошествовала 26 августа семиадцатого года семья последнего русского монарха, заработавшего титул Кровавого. Ои еще не в силах был выйти из той роли, которую играл столько лет, и шел, как иа привычиом официальном шествии, во главе виушительиой, пусть уже ие такой блестящей, свиты — важиый, невозмутимый, привычио вбирающий в себя сотии любопытных взглядов.

Обочь, справа, любимец-наследник, бледноватый, чистеиький подросток в тоикошерстиой солдатской форме, с леиивой походкой, уже позиавший цеиу лести, славы, раболепиого восхищеиия.

Чуть отстав от иих, следовала «августейшая супруга» Александра Федоровна — иадмеииая и чопорияя, со злым

пронзительным взглядом и брезгливой гримасой на тонких бледных губах. Вокруг нее чинной стайкой в модных английских костюмах — дочери.

Нагруженные «вещами первой необходимости» — чемоданами и чемоданчиками, корзинами и корзиночками, кофрами и баулами, портпледами и сумками, портфелями и ридикюлями, с палубы парохода потянулись камердинеры и камерлакен, камер-юнгферы и няни, горничные и комнатные девушки, повара и официанты, парикмахеры и гардеробщики, кухонные служители и поварята, прислуга свиты, прислуга прислуги... Сорок... нет, скажем точнее — тридцать девять человек сошли вслед за царской семьей и свитой с парохода на пристань в качестве добровольных (на жалованье, конечно) спутников ссыльной царской семьи.

Пароход «Русь» выкинул на берег «русский императорский двор» и убрал сходни. А на реке, подавая причальные гудки, разворачивался к пристани еще один пароход — «Кормилец», с пузатой баржой «Тюмень» на буксире, — с дополнительной охраной и багажом.

Отказавшись от поданных экипажей, семья и свита пешим порядком направились к новой своей резиденции, бывшему губернаторскому дому. На долгих девять месяцев стал этот дом объектом любопытства обывателей, предметом хлопот и неусыпной бдительности новых властей.

Дом как дом, — осмотрел его Михеев, — каменный, двухэтажный, с полуподвальным цокольным этажом и деревянным балконом на торцовом фасаде. Пятнадцать комнат, при коридорной системе — совсем как какие-нибудь губернские «меблирашки» средней руки.

Все это уже далеко и ныне прочно забыто. Как и подробности жизненного калейдоскопа той поры. А кое-что стоило бы знать и помнить.

Трудно устанавливалась в городе Советская власть — лишь две недели спустя после Октябрьского штурма пришла о ней весть в Тобольск. Но и после этого городом по инерции

правили представители Временного правительства и городская дума. Служа «Временному», городские воротилы мечтали о возврате монархии.

Купцы по-прежнему чувствовали себя хозяевами города, и хотя в заварившуюся кашу не лезли, настороженно наблюдая за ходом событий, но исподволь пытались влиять на развитие их в свою пользу, не забывая, однако, повседневных коммерческих дел. Как и прежде, тянулись к причалам рыбной пристани караваны барж, груженных сельдью, нельмой, осетром. Шли вниз по Иртышу плоты с заготовленным за зиму «для англичан» золотым мачтовым леском, грохотали на ухабах городских мостовых обозы с маслом, мукой, пушниной, с мешками «сибирского разговору» — кедровых орешков.

А в гостиных местного чиновничьего бомонда все так же до хрипоты (то ли от речей, то ли от водки) спорили городские витии, выдвинувшиеся — за умение много и красно говорить — в представители правительства, в первые ряды губернских властей. Спорили до глубокой ночи, хотя и сходились в одном, в главном: основная опасность — красная зараза, при ней порядку не бывать. Александр Федорович Керенский, конечно, не гений, как писали о нем некие газетки, но — человек дела, и хоть сам социалист, эсер, но эсер эсеру рознь — с большевиками на коалицию не пойдет. Жаль вот — сбежал.

В архиерейском доме, у недавно назначенного епископа Гермогена, близкого дружка и ставленника покойного «старца» Распутина, под перезвон рюмок с монастырскими наливочками, епископальное начальство делило доходы, назначало и смещало провинциальных пастырей, приберегая для нужных людей выгодные местечки. Деловито обсуждали проблему дня — о посильной помощи и связях с императорским домом, о тактичном сохранении верности помазаннику божию и — дай-то бог! — о спасении его и августейшего семейства. Церковь — опора самодержавия, а самодержавие — куда денешься! — опора церкви.

А в харчевнях и на базарах пьяные бородачи-дезертиры в папахах из бумажной мерлушки, в изодранных и прожженных шинелях, то плача, то матерясь, орали привезенные из мазурских окопов лозунги — «Долой войну», «Землю и волю!», добавляя к ним свои, импровизированные — «В расход Николашку! К ногтю Сашку, распутинскую подстилку!» Смачно закусив огурцом поднесенный доброхотом лафитничек, уходили, покачиваясь, к себе на заимки — подальше от войны, подальше и от греха: как-нибудь и без нас справятся с построением новой жизни...

Те, кто понимал, что к чему, кто не просто кричал «Долой войну!», а знал, что за это еще надо бороться и бороться, — те долго не засиживались в стоявшем вдалеке от решающих схваток Тобольске. Снарядив «сидора», снова ехали туда, куда звала их совесть, — сражаться за новую жизнь.

Обыватель — насторожившийся и притихший, испуганный отдаленным гулом грозных событий, жался по дворам, судачил втихую на врытых у ворот лавочках, вздыхая «Господи, пронеси!», хотя, что именно «пронеси», твердо не знал — то ли царя, то ли большевиков. Впрочем, все равно — лишь бы привычный покой, привычный достаток, привычная рюмка водки к обеду да варенье и медок к вечернему чаю, гусь к рождеству и поросенок к пасхе, пьяная трехдневная карусель в именины и недельная — в свадьбу сына или дочери, привычная благолепная обедня в «своей» церкви — устоявшийся, от дедов ведущийся распорядок и настрой жизни, под который так хорошо ни о чем не думать, ни о чем не болеть, а пребывать в счастливом, без тревог, полусне...

Сложное было время. Его по одной странице учебника не поймешь, не охватишь всей мощи событий, величия и сложности эпохи.

— Вернемся в настоящее? — предложил Саидов. — Обед... впрочем, что обед — ужинать пора.

— Вернемся, — охотно согласился уставший Михеев.

Списки «личного состава» монастыря не сохранились, и Саидову, выполняя задание Михеева, пришлось изрядно помыкаться, чтобы разыскать оставшихся в живых монахинь. Отчасти помогли в этом сохранившиеся в архиве Окротдела материалы 1923—1924 годов. По ним же удалось расшифровать некоторые клички.

На свою долю Михеев оставил знакомство с самим бывшим монастырем.

Монастырь встретил его гамом ребячьих голосов, оживленной кутерьмой разнокалиберных, но одинаково одетых огольцов на просторном мощеном дворе, грязными, давно не беленными, с отбитой штукатуркой, стенами храмов, жилых корпусов и подсобных служб.

Михеев в сопровождении детдомовского завхоза, хмурого человека в старой красноармейской шинели, обошел все помещения, дотошно осмотрел собор, облазив не только алтари, приделы и притворы, но и колокольню, исходил вдоль и поперек старое заброшенное кладбище, сад, огород. Даже древнюю каменную стену, окружавшую монастырь, обошел всю кругом, внимательно осматривая, только что не обнюхивая ее. Иногда, сверяясь с записями в блокноте, подолгу присматривался к чему-то. Путаясь в длинных полах шинели и припадая на больную ногу, завхоз молча следовал за ним, бряцая связками ключей.

Михеев понял, что никакие, даже самые дотошные поиски ничего не дадут: время стерло все признаки былых тайников, хранивших монастырское добро.

— Хозяйство большое, но запущенное, — вздохнув, сказал завхоз, когда они, окончив осмотр, уселись в его сводчатой комнатке с узким, похожим на бойницу, оконцем и закурили. — Денег много надо, чтоб привести все в порядок. А дают мало.

— Все же, я смотрю, что-то перестраивали, ремонтировали, — не то спрашивая, не то утверждая, заметил Михеев.

— Приходится. Изворачиваемся как умеем.

— А не приходилось ли при этих ремонтах и перестройках находить какие-нибудь тайники с добром?

— И это было. Банку с медяками, помню, под полом в келье бывшей казначеи нашли. Ребятишки на кладбище могилу провалившуюся увидели, раскопали — а там ящик с крестиками медными да серебряными. В столовой, трапезной по-ихнему, когда дымоходы перекладывали, на нишу наткнулись. Деньги царские, кредитки, в шкатулке железной — пачками. Бумажки ребятам отдал — пусть играют. А шкатулка — вот она, вместо сейфа держу, только вот замок исправить все не могу.

Михеев с интересом посмотрел на массивную коричневую шкатулку, стоявшую на тумбочке.

— Да вот еще, — сказал завхоз, открывая шкатулку, — книжица там была. «Русские обители» называется. Тут и про нашу есть. Проглядываю иногда — любопытно. Сколько их, захребетников, в России было! Более тысячи, считай, монастырей. Больше ста тысяч дармоедов на шее народа сидело...

— А больше ничего не находили? — спросил Михеев, листая все еще хранившую запах ладана книгу.

— При мне нет. Я бы знал. Без меня, может? Слышал, раньше тут все вдоль и поперек перерыто было.

— Можно, я возьму у вас эту книгу на денек-другой? — попросил Михеев, прощаясь.

— Да хоть совсем возьмите, зачем мне она?

Вечером, перед сном, Михеев с любопытством просмотрел взятую у завхоза книгу. Чем-то невероятно далеким и диковинным повеяло на него с закапанных воском страниц.

«А ведь всего пятнадцать лет прошло!» — удивленно отметил про себя Михеев.

В книге нашел он и страничку, посвященную интересовавшему его монастырю.

Тобольский Иоанно-Введеиский (в просторечии — Ивановский) моиастырь был основаи в первые годы открытия Сибирской мнтрополии, то есть еще в допетровские времена, как оплот православной церкви на языческом Севере, как штаб миссионерской деятельиости. Монахи этой обители иа протяжении миогих лет рьяно, не гнушаясь жестокостью методов, проводили массовую «кампаиию» крещения северных иародностей, обращая их в православие крестом и мечом. Особеино прославился крестительским азартом десятый тобольский митрополит Фнлофей, основное ядро крестовой ратн которого составили монахи Иваиовского моиастыря. В яростном ослеплении они требовали у Петра дать им право казнить неверных лютой казнью. Согласия иа это не получнли, но насилия чиинили и без царского разрешения — «до бога высоко, до царя далеко».

Расположеиный на правом берегу Иртыша, вблизи крупного города, на перепутье важных торговых дорог, монастырь год от года богател и расширялся. Но в середние XIX века он иеожидаино «изменил профиль»: из мужского стал женскнм. Дело в том, что мужских обителей в крае развелось много, а жеищииам «спасаться» от мирских соблазнов было негде.

Как прошла эта «реоргаиизация», теперь уже установить трудно, одиако похоже, что братия не положила охулки иа руку при дележе имущества. Скопленные за двухвековую историю монастыря ценностн, очевидно, перебазировалнсь вместе с их прежиимн владельцами. Иначе ничем не объяснить строк нз исторической справки, написанной спустя полвека: «В настоящее время, несмотря на крайнюю бедность, бывшую до последних лет в обители...». Но понятие крайией бедности, видимо, было весьма относительным, ибо справка далее гласила: «...она теперь имеет величественный собор, вмещающий 4 тысячи человек, с обилием света и церковным благолепием».

Продолжая линию, проводимую ее предшественииком, женская обитель также стала вскоре видным «агитпропцент-

ром» православия. При ней действовала школа для детей местного духовенства (подготовка миссионерских кадров) и «приют для подготавливающихся к крещению инородцев и для школьного их образования». На дальнем Севере, на Конде, монастырь имел свое миссионерское отделение.

К моменту революции монастырь представлял собой целый городок с храмами и общежитиями, гостиницами, подсобными помещениями, мастерскими и обширным хозяйством. В банке на счету обители лежали крупные суммы доброхотных вкладов разных небедствующих благодетелей и отчисления от повседневных поборов с многочисленной толпы паломников, странниц, слетавшихся сюда чуть ли не со всей Западной Сибири. Приманиванию их помогала и собственная святыня — «чудотворная» икона Почаевской божьей матери, испытанное средство «привлечения средств населения».

Имелись у Ивановского монастыря и соратники — две мужские обители. Одна — верстах в тридцати от Тобольска при селе Абалакском, так называемый Абалакский монастырь, переведенный сюда из Невьянска в 1783 году и ставший знаменитым на всю Сибирь своей «чудотворной» иконой, о которой существовала целая литература с приложением «Летопись чудес». Другая обитель, самая древняя в крае (основана в 1627 году), находилась прямо в городе и тоже имела свою «чудотворную», но рангом пониже и меньшей известности. Зато Знаменский монастырь всегда был основной резиденцией митрополитов — высшего духовного начальства в крае — и поэтому милостями никогда обойден не был.

Вся эта армия воинствующих ревнителей православия неплохо преуспевала. Монашеские рясы и клобуки мелькали в толпе тоболяков едва ли не чаще, чем зипуны и малахаи.

После революции духовные владыки Тобольска, встав во главе всех контрреволюционных планов и заговоров, интриг и провокаций, втянули в них и монастыри. Многочисленные «дела», сохранившиеся в местной Чека, убедительно свидетельствовали об этом.

Саидов, которого Михеев оставил наедине с грудой архивных дел, встретил его, довольно потирая руки.

— Как дела, дорогой? Нашел клад? А я тоже кое-что нашел. Давай хвали заранее. Я похвалу люблю.

— Дела такие, что в монастырь можно больше не ездить, — ответил Михеев, усаживаясь за свой стол. — Если ехать, то только с планом, где этот клад зарыт. Как у разбойников, знаешь — десять шагов на восток, три сажени в сторону гнилого дерева и так далее... А что у тебя, за что хвалить-то?

— Вот адресочки. Уже проверены. Получай первую партию.

«Адресочки адресочками, а вот что они дадут?» — сразу поскучнев, подумал Михеев.

Они и в самом деле мало что дали, первые из разысканных Саидовым бывших «сестер христовых». Отнекивались, отмалчивались, ссылаясь то на плохую память, то на неосведомленность. Что какие-то ценности в монастыре прятались — не отрицали, но что именно и где, сказать не могли.

Иные из них утверждали, что царские драгоценности надо искать не в монастыре, а в другом месте. Один такой рассказ Михеев попросил Саидова записать, надеясь со временем разобраться — что тут сплетни и вымысел, а что правда.

«...В Знаменской церкви Тобольска служил иеромонах Феликс (Филикс по святцам). Лет пятидесяти, среднего роста, худенький, чернявый, как цыган. Так его за глаза и звали Феликс-Цыган. Фамилии, конечно, никто не знал. Был очень плутоватый, охочий до баб. В Тобольске он обжулил многих. В 1919 году, когда умерла Чемодурова, вдова бывшего царского камердинера, Феликс как-то сумел заполучить все оставшиеся после нее ценности. Пытаясь соблазнить одну из монашек, показывал ей, еще в 1920 году, четверо или пятеро часов с царскими гербами и вензелем «Н. II». Часы были с боем, цифры на них светились. Потом показывал круглое кожаное портмоне с тремя отделениями, наполненными до-

верху золотыми монетами — империалами, полуимпериалами и пятерками.

Когда белые отступали, Феликс ходил по тобольским купцам и предлагал им сохранить ценности у себя в Знаменском монастыре. У жены городского головы выманил таким путем шкатулку с драгоценностями. У купца одного — банку с золотом, запаянную. А после никому ничего не возвратил, сказал, что при обыске отобрали, хотя обыска у них в монастыре не было. Говорят, что к нему и какие-то царские драгоценности попали.

Где теперь Феликс, неизвестно. Из Тобольска он уехал в 1923—1924 году. Когда уехал, вытребовал к себе монашку Евсетию, свою любовницу. Потом стало известно, что Феликс отравил ее: слишком многое она про него знала. Такие штуки он и до этого проделывал, заметая следы. Зарезал монаха Иннокентия, говорили также, что и другой монах, Прокопий, скоропостижно умер не без его участия, да, похоже, и сам игумен, Павел Буров, который очень его боялся, — тоже. Его все привыкли бояться: при царе был связан с полицией, при белых — с контрразведкой и всегда стращал: кого хочу — предам, кого хочу — выручу.

Была еще в городе жена крупного торговца и пароходчика Голева. Он богатый старик, а она из бедной семьи, молодая и красивая. Звали ее за бойкую жизнь попросту — Нюркой. Когда Романовых привезли, она метила поживиться от них чем-нибудь — бриллианты любила. Удалось ли ей это, неизвестно, но, когда она бросила Голева и, обокрав его, уехала с новым любовником в Омск, то бриллиантов у нее в шкатулке было немало. А потом в Омске у нее еще любовник был...»

— Тут уж ты перестарался, — смеясь, заметил Михеев, читая записи Саидова. — Зачем в протокол тащить всех ее любовников?

— А я знаю? — сам удивился Саидов, озорно хмыкнув. — Вдруг пригодится...

— Это верно, нам все может пригодиться, — задумчиво подтвердил Михеев.

А Саидов каждый день прибавлял к списку бывших монахинь новые имена. Подолгу рыскал по городу и окрестным деревням, устанавливая адреса, добывая сведения о бывших жилицах обители.

— Эка, сколько ты их откопал, можно заново монастырь создавать, — заметил ему, смеясь, Михеев. — Только игуменьи не хватает.

— Будет и игуменья, — довольно щурясь, успокоил его Саидов. — Дай только срок.

— Где ж ты ее возьмешь? Она ведь умерла.

— Одна умерла, а другая жива. Та, что сменила Дружинину. Липина ее фамилия.

— Так давай ее сюда, — обрадовался Михеев.

— Обожди, дай срок. Липина в Омске. Ее еще разыскивать надо. И доставить сюда.

— Даю, даю срок. Неделю хватит?

— Думаю, что раньше успеем. А пока давай работать с теми, что здесь, под боком. Только, я смотрю, мямлишь ты с ними. Нас так не учили. Построже надо. Враги ведь. Что с ними нянчиться.

— Нельзя, Саша. Не все враги. Есть и просто заблудшие души, случайный элемент. Да и с врагом надо быть сдержанным, спокойным. Бить его логикой, а не жестокостью. Криком да грубостью ничего не докажешь, истины не добьешься.

— Ну, твое дело, — сказал Саидов, видимо не очень убежденный в его правоте.

А «свидетели» тем временем шли и шли: по два-три в день доставлял их Саидов в кабинет Михеева. Однако в большинстве это были рядовые монахини, мало или вовсе непричастные к укрытию ценностей. Нового почти ничего они добавить не могли. Были и такие, что лишь путали Михеева, указывая на неизвестные якобы тайники, которые на поверку ока-

зывались ложными. Иные болтали невесть что о фантастических, никогда не существовавших драгоценностях, хранившихся будто бы в монастыре, но нетрудно было убедиться, что это лишь отголоски обывательских слухов, нараставших в свое время подобно снежному кому.

Встречались и фанатички, глубоко затаившие злобу и ненависть к «нехристям», разрушившим их привычный уклад. Они либо упорно отмалчивались, ссылаясь на незнание, либо прямо заявляли, что ничего не скажут, ибо отвечать не желают. Однако Михеев терпеливо, подолгу сидел с ними, пока не устанавливал, что и сказать-то им чего-нибудь нового, собственно говоря, нечего. А если и есть что, то незаметно для себя они так или иначе это выбалтывали в разговоре.

Особенно колоритной среди таких была Карпова — Селафаила по монастырю. Сухая, костистая старуха с фанатично горящими на длинном лошадином лице глазами, без единого зуба во рту — она явно стремилась «пострадать за веру». Даже на обычные вопросы отвечала злобно, с вызовом, прямясь на стуле, как на костре.

— Какую должность в монастыре вы занимали? — спрашивал ее Михеев.

— Келейницей была у матушки игуменьи, царство ей небесное, несчастьями убиенной. Накажет вас бог за ее святую душу.

Михеев, устав от обходных и наводящих вопросов, на которые никаких интересных ответов не получил, решил пойти напролом.

— Мы знаем, что при вашем участии в монастыре прятались драгоценности бывшей царской семьи, в частности шкатулка с ожерельем царицы. Где они сейчас?

Селафаила, с загоревшимся взглядом, брызжа слюной из беззубого рта, закричала кликушески:

— В узилище пойду, огнь и пытку приму, а не скажу! В геенне огненной на том свете мучиться не хочу. Вам, безбожникам, тайну святую выдать? Жги меня, режь меня, ничего не узнаешь. Удостоюсь муки-мученской с верою и лю-

бовью во имя отца и сына и духа святого, именем коих клятву давала...

— Большое ожерелье-то было? — перебил ее Михеев.

— Не было никакого ожерелья, враки это. А четки иерусалимские, с частицей креста Христова, святыню царицы-матушки, так захоронили, что вовек никому не найти. И не пытай лучше. Я не Препедигна-грешница, коей вечно гореть в аду, в смоле кипящей, клятву не нарушу.

— А что она сделала, Препедигна эта?

— Передала я ей от игуменьи узелок с золотом для укрытия. Тыщи на две, как сказали, рублей. А она, клятву нарушив, яко тать покусилась на добро обители, прикарманила. Говорит — украли. А кто на базаре за золото баретки новые покупал, спроси-ка у нее? То-то. В геенне ей место, греховоднице толстопузой. А меня — хоть режь, хоть жги... И о шкатулке царской не спрашивай, не скажу.

— О какой шкатулке? — насторожился Михеев.

— В которой четки святые хранились...

Михеев, улыбаясь, перемигнулся с Саидовым и прервал Селафаилу:

— Ладно, бабушка. Идите, отдыхайте. Резать и жечь мы вас не будем. Нет нужды.

Старуха растерянно посмотрела на него, затем перевела недоуменный взгляд на Саидова, словно прося перевести — о чем это ей говорят.

— Идите, идите, — встал, чтобы проводить ее, Саидов. — Идите с богом, отдыхайте.

Но Селафаила встала не сразу, все еще ожидая чего-то, не веря, что ничего более от нее не требуется.

— Кто бы это такая — Препедигна? Имя-то какое, ни в жизнь не слыхал. Нет там ее в наших списках? — спросил Михеев, когда Селафаила вышла.

— Есть такая, — сказал, просмотрев свои списки, Саидов. — Только вот фамилии нет. Никак не доищусь.

— А поискать надо. Даже без фамилии. Может, ее по

фамилии-то до сих пор никто не зовет. И еще — что это за шкатулка царская? Только ли четки святые в ней хранились?

Царская шкатулка снова всплыла в несколько курьезном разговоре с другой келейницей игуменьи, древней старухой Чусовлянкиной.

— Агния мне имя дали, за кротость, — представилась она в ответ на вопрос об имени и фамилии, кротко глядя на Михеева тусклыми слезящимися глазами и держа ладошку ковшичком у уха.

— Долго вы в монастыре прожили? — спросил ее для начала разговора Михеев.

— Ой долго.

— Лет двадцать?

— Двадцать, милый, двадцать, — кивала головой Агния.

— А может, тридцать? — улыбнулся Михеев.

— Тридцать, — охотно соглашалась бабка.

— Может, и больше?

— Кто его знает. Давно. С малолетства в обители.

— В каких вы там ролях были, в обители-то?

— В ролях не бывала, как можно! — испуганно отстранилась Агния. — Келейницей была я у матушки.

— Доверяли вам, значит?

— Доверяли, касатик. Волосы утром причесывала, постелю заправляла, в бане спину терла, перед сном иногда пятки чесать доверяли.

Саидов еле удерживал смех, несмотря на укоризненную мину Михеева.

— И тайны тоже доверяли?

— И тайны тоже.

— Какие же?

— А всякие. Сон какой привидится — расскажет, скоромное в пост при мне покушает, наливочку за пазухой принести доверит. Доверяли, милый, как не доверять, давно я при

ней... — наставнтельно, как заблуждающемуся мальцу, объясняла Агння.

— Значнт, зналн вы н о том, как пряталось монастырское добро?

— Зналн, как не знать.

— Вот н расскажнте нам об этом.

— Что рассказывать-то?

— Ну — как прятала.

— Да я н не прятала вовсе. У меня своих делов хватало — в передней сндеть, доложнть, кто прншел, подать что.

— А царского добра у нгуменьн не сохраннлось какого-ннбудь?

— Было н царское. Портреты былн царскне. За шкафом потом стоялн, прн новой-то властн...

— Я про другое, бабушка. Не было лн драгоценностей какнх?

— Былн и драгоценностн. Панагня была, царнцей посланная. Ложечка серебряная с вензелем царскнм — у послушннцы отобрала, что певчей в царскнй дом ходнла.

— Может, кольца былн, брошн, ожерелья, ну — бусы, что лн?..

— Бусы тоже былн.

— Какие онн с вnду, нз чего сделаны?

— Бусины кнпарнсовые, нз креста Хрнстова сделанные. В одной-то, большей, частнца мощей святых. Тоже царнцей даренное. Четкн, по-нашему, называются.

— А нз камней драгоценных не было лн чего? Говорят людн, что было, дескать.

— Чего не вндала, того не вндала, врать не буду. В шкатулке разве что у нее храннлось. Потайная шкатулочка, «Боже, царя хранн» на ней вырезано н вензель государя.

Мнхеев н Сандов переглянулнсь.

— Где же она ее хранила?

— А за кивотом. Ннкого к ней не допускала. А глядела когда, так лншь в одниночестве. Окна завеснт да прн лампаде и разглядывает, перебнрает.

— Пришлось, значит, видать — что там в ней было?

— Не довелось. Не любопытная я. Зайду не в пору, матушка зыркнет глазами, ну я и ходу назад, к себе в угол, от греха подальше. Видела, блестит что-то; а что — не пойму.

— На бусы не похоже?

— Может, и похоже, не разглядела.

— Куда ж она потом девалась, шкатулка-то?

— Кто ее знает. Только что после смерти игуменьи не нашли ее. Накануне еще была, знаю. Мать-казначея, что потом настоятельницей стала, все обшарила, много чего всякого нашла, а шкатулку — нет. Меня пытала, не знаю ли я. А я, говорю, почем знаю. Посмотри за кивотом, там была. Разворотила казначея кивот, а там пыль одна. Место, правда, знатко, где стояла шкатулка-то.

— Выходит, передала ее игуменья кому-то?

— Может, как не может.

— Кому, например?

— Вот уж и не знаю, что сказать. Мало кому она доверяла, игуменья-то наша. Недоверчивая была.

Разговор заходил в тупик: старуха в самом деле ничего не знала о передаче шкатулки в другие руки. Да и была ли она передана, не осталась ли где-то там же, в монастыре, укрытая той же игуменьей в новом месте? Видно было, что Агния ничего не собиралась скрывать, о тайнах она имела свое понятие: зачем скрывать то, в чем нет ничего плохого? Да и знать она, несмотря на близость к игуменье, могла немногое — нелюбопытная, кроткая, исполнительная слуга, с которой не церемонится, но и близко к тайнам не допускает ее хозяин.

Михеев поймал себя на том, что он с совершенно, казалось бы, неуместным чувством теплой жалости смотрит на сухонькую, глубоко согнутую старушку в стареньком дырявом платке, выцветшей латаной юбке, глухую и почти слепую — кроткое, беспомощное существо, жалкое в своей неприкаянности. У ног ее на ковровую дорожку натекла лужица грязи. Подошва одного из дряхлых опорков отстала,

и в ощернвшнйся деревяииыми зубамн просвет выглядывает голый палец.

— Ну что ж, бабушка, спаснбо н на том, что вспомнила. Далеко жнвете-то?

— Да ведь как тебе сказать. Тебе — близко, мие — далеко. Ползу-то я как улита.

Михеев наклоннлся к Саидову:

— Отправь-ка ты ее, пожалуйста, на вашей пролетке. Будь другом, сделай...

Саидов удивлеиио посмотрел иа иего, но отложил перо и, взяв старуху под локоть, повел ее к выходу.

Как иа очеиь близкое к игумеиье лицо моиахиии указывали иа бывшую благочиниую моиастыря — Мезенцеву. Найтн ее оказалось иетрудио, оиа иикуда нз Тобольска не выезжала.

«Я, Мезенцева Марфа Аидреевиа, по моиастырю Рахиль, — записывал Саидов ее ответы иа вопросы Михеева, — родилась в 1875 году, в селе Блиииииково, в семье зажиточиого крестьяииив. Кроме земли и хозяйства, отец имел еще н торговую лавку. Я до двеиадцати лет жила в семье, а потом переехала в Тобольск, к брату, заиимавшемуся там мучной торговлей, и помогала ему управляться по дому. Восемнадцати лет ушла в моиастырь...»

— Почему? — спросил в упор Мнхеев.

Мезеицева — высокая, статиая, степеииая н медлительная в движеииях — повела на иего темиыми, глубоко посаженными глазамн.

— В те поры это ие запрещалось.

— А все же? По своей или по чужой воле? Или случай толкиул? — иастаивал Михеев, с интересом оглядывая ее скромиую, ио добротиую и аккуратиую одежду, ие по возрасту свежее, почти без морщии лицо с крупиым красивым ртом. «Красавица, иавериое, в молодости была», — подумал ои.

— По своей доброй воле, по собственному хотению, — ответила Мезенцева, но почему-то отвела глаза.

— Продолжайте, — предложил Михеев.

«...Когда брат женился, я, испросив родительского благословения, ушла в обитель. В 1915 году игуменья поставила меня хозяйкой монастырского подворья в Тобольске. На исходе 1920 года вернулась в монастырь, была рукоположена в благочинные...»

— Но ведь вы, кажется, до этого не были полноправной монахиней? — спросил Михеев, доставая из стопы папок на столе какое-то старинное «дело» с черным восьмиконечным крестом на обложке. — До революции вы числились в белицах, то есть в послушницах.

Мезенцева проводила медленным цепким взглядом «дело», легшее перед Михеевым.

— Постриг я приняла в двадцатом году, — неохотно ответила она.

— Что же так поздно? Двадцать пять лет жили в монастыре, а постриг не принимали?

— Так уж получилось, — вздохнула Мезенцева. — Думала, может, домой вернусь, мать у меня хворая, уход нужен.

Михеев молча перелистал «дело» и отложил его обратно в стопу папок.

— Дальше? — попросил он.

«...В монастыре я прожила до его закрытия, а после поступила в услужение к архиепископу Назарию. Когда он в 1930 году умер, жила в частных домах, заработывая тем, что услужала знакомым людям по хозяйству, а летом — на поле и в огороде...»

— Биография интересная, — заметил Михеев.

— Да уж какая есть, — спокойно парировала Мезенцева.

— А за что вы сидели, Марфа Андреевна?

— Кто не сидел, — так же спокойно ответила Мезенцева. — От сумы да от тюрьмы не отказывайся. А за что, вам лучше знать.

— Ну, все же. Чтоб старые бумаги не ворошить, — потянулся опять Михеев к папкам.

— За имущество... обители, — с вызовом глядя на Михеева, ответила Мезенцева.

— Как это за имущество? Растратили, что ли, на своем подворье?

Мезенцева не приняла иронии.

— Прочитали в бумаге, что, значит, за сокрытие монастырского имущества и за сопротивление при его изъятии.

— Вот это понятнее, — захлопнул папку Михеев.

— Что ж тут понятного? — зло переспросила Мезенцева. — Свое прятали, не чужое.

— Свое? — не удержался Сандов. — Да была ли там вашего-то хоть кроха? Народное все... Народ нес, а вы у него последнюю медную копейку...

Мезенцева не удостоила его взглядом.

— Так за что все-таки посадили вас тогда? — повторил вопрос Михеев.

— Укрыли добро свое — утварь церковную, иконы, евангелия не сдали, как приказано было.

— А может, не только иконы и евангелия?

Мезенцева молчала — дескать, я все сказала.

— А серебро, ранее описанное, не прятали? — чувствуя, как в нем накипает злость, но сдерживая себя, откинулся на стуле Михеев. — А муку и сахар, что с подворья были привезены? В землю зарывали — пусть сгниет, да ребятишкам Поволжья не достанется, пусть пухнут с голоду — так? Что ж молчите, Марфа Андреевна?

— Как все, так и я, — угрюмо выдавила Мезенцева. — Отсидела сколько положили, две недели, и ладно. Что, снова сажать будешь? За старое...

— Царскую шкатулку вы прятали?

— Нет, не я, — быстро, без раздумья ответила Мезенцева. — Я за муку да за сахар сидела.

Михеев удовлетворенно отметил: значит, шкатулка с оже-

рельем все же не миф. Была. А может, и есть еще... Мезенцева, однако, сидела спокойно, с непроницаемым лицом.

— А кто?

— Не знаю. Я на подворье была при царе-то.

— Зато когда изымали монастырские ценности, вы были там, в монастыре.

— А вот и нет, — словно поддразнивая Михеева, качнула головой вбок Мезенцева. — Я в то время в обители не была. Отпустили меня в деревню, мать хоронить. Месяц там находилась.

— Эвон как, — усмехнулся Михеев.

— Можешь проверить. Книги церковные посмотри, запись об отпевании есть. В сельсовете справься, там сторожем старичок служит, соседом нашим тогда был, помнит.

— А за муку когда садили?

— Это уж после, когда вернулась.

— И о шкатулке больше не слыхали?

— Не слыхивали. А была она? — не то интересуясь, не то сомневаясь, спросила Мезенцева. — Если и была, так...

— Что — так?

— Что с возу упало...

— То подобрать можно, — подхватил Михеев.

— Подбирай, если знаешь, где, — зло и насмешливо глянула ему в глаза Мезенцева.

— А вы знаете?

— А я и не теряла.

«Язычок остер!» — оценил про себя Михеев ее быстрые и находчивые ответы. Заглянув в составленный по допросам список знакомых игуменьи, спросил:

— Кто такой Томилов?

Мезенцева ответила не сразу. Казалось — думает, изучающе вглядываясь в Михеева.

— Нет, не припомню.

— Я напомню. У игуменьи частенько бывал.

— Я не келейница, у дверей ее не сидела. Кто там ходил к ней — где мне всех знать.

«Может, и в самом деле не знает?» — подумал Михеев.

— Не там ищешь, дорогой, — прервала его молчание Мезенцева. — Что ты меня словно по косточкам обсасываешь? Сказала тебе: непричастная я к этому. Верь, не прогадаешь.

— Где же, по-вашему, искать надо?

— У отца Алексея, вот где. А в обители все, что было спрятано, все найдено, не сумлевайся. Отец Алексей в большом доверии у царя был. Подарками царскими хвалился, да не в них дело. Шпага царевича у него хранилась, точно тебе говорю. Вся золотая, бриллиантами осыпанная. И еще что-то — не то ожерелья, не то корона царицына. Вот где щупать-то надо было. Так и увез с собой все добро — с верных слов говорю тебе, слушай меня... Пока вы там бедных монахинь за иконы какие-то таскали, отец Алексей — иерей хитрый, что и говорить, — благословлял вас за это, что не его, а нас, грешных, тормошите зазря...

— Что ж тогда не сказали властям, вам беспокойства, глядишь, не было бы.

— Не наше это дело. Не спрашивают, так не сплясывай, так у нас говорят.

Отец Алексей. Домашний священник Романовых в Тобольске. Особо близкое к ним лицо. Пожалуй, ему могли доверять больше, чем какой-то незнакомой игуменье... Был смысл прислушаться к словам Мезенцевой.

Саидов, которого Михеев спросил об отце Алексее, тоже слыхал раньше о нем, но к слухам о золотой шпаге и царской короне отнесся с сомнением: обывательской болтовни такого рода по Тобольску все эти годы ходило немало. Тем более, что отец Алексей до последних лет жил здесь же, в городе, как говорится, у всех на виду, и только лишь года два или три назад выехал в Омск к детям, где и умер.

Однако вечером, докладывая в Свердловск о ходе работы, Михеев счел нужным сообщить об этом Патракову. Тот отнесся к сообщению как будто безразлично, только лишь предложил тут же уточнить «исходные данные» о семье попа.

На другой день Михеев имел возможность допросить Липину: она прибыла с утренним пароходом из Омска.

К сожалению, надежд его Липина не оправдала. Эта ловкая в своем кругу интриганка, наглая и плутоватая, всю жизнь мечтавшая об игуменском клобуке, о власти, получила ее в конце концов тогда, когда власть эта уже была призрачной и ни доходов, ни почестей особых не принесла ей. Еще какое-то время она была игуменьей доживавшего свои дни полуофициального монастыря с двумя-тремя десятками монахинь-полукалек, которым больше некуда было податься.

Еще не такая уж старая — подходило шестьдесят, — но неожиданно потерявшая «нить жизни», надежды, которыми жила, она как-то сникла, слиняла. Из боевой прежде и крутой нравом влиятельной матери-казначеи, привыкшей и угодничать и командовать, эта бывшая «Ришелье в юбке» превратилась в скучную болтливую старуху, неопрятную и болезненную, с потухшим взглядом белесых глаз.

— Все, дорогие вы мои, все как есть, выложила я тогда Чека как на духу, — скрипела она, привалясь к столу. — Власть надо уважать, всякая власть от бога. С игуменьей я воевала, доказывала — сдать, мол, надо ценности-то. За то и потерпела, была отрешена от должности казначеи. Спасибо, преосвященный не утвердил униженне сие. Сама я ничегошеньки не укрывала, а про что знала, сообщила властям. А когда была рукоположена настоятельницей, не токмо что прятать — сама искала, чтоб передать по назначению.

— Очень вы, значит, преданы Советской власти? — невозмутимо спросил ее Михеев.

— Кого хочешь спроси, все скажут.

— Почему же тогда не сообщили никому об укрываемых в монастыре царских драгоценностях?

— Все как есть говорила. И о царской посуде, и о письмах зловредного старца Распутина...

— Ну, это, положим, нашли без вашей помощи. Я о драгоценностях говорю. О шкатулке царской, например.

— А что, иашлась оиа? — чуть ие привскочила иа стуле Липина.

— Шкатулку помните?

— Была такая, верно ты говоришь. Правду тебе скажу — искала ведь я ее в покоях игуменьи. Только ие нашла. В другие руки, видио, попала, хитнику какому-то. А ведь была, зиаю. За иеделю перед этим подглядела, куда оиа прячет ее.

— Значит, знали, что там есть драгоценности?

— Да как тебе сказать... Вот как дело-то было. Еще в девятнадцатом, при белых, пошла я как-то к игуменье по делам. Да мимо келейниц-то и шасть без предупреждеиия к ней в спальню. Смотрю, сидит это игуменья не одна, а с ией господин Волков, царский камердинер. Сидит и пишет что-то на листочке. Он и раньше у нас бывал, когда царь тут жил в Тобольске... А промеж иих, игуменьи и Волкова, иа столе — шкатулка открытая. Что в ней есть, не разглядела я, ие успела, игуменья шкатулку захлопнула и на меня сердито так посмотрела: чего тебе, дескать, надо? Только и видела, что сияние волшебное из шкатулки идет. А что сияет, не довелось рассмотреть. Я объясняю, по такому-то, мол, делу. А она рукой на меия машет: «Потом, потом. Не до тебя. Видишь, с человеком занята. Иконки ему в дорогу собираю, им у иас оставленные». А какие уж там иконки... Вот потом я все и тщилась узиать: что там, в шкатулке, было? Осталось там или господин Волков забрал?

— Так и не удалось узнать?

— Не удалось, родимый. Опоздала, видио, я. На крыльце я тогда стояла. Слышу крики в покоях игуменьи. Я — туда. А навстречу Препедигна. Кричит: «Матушка преставилась». Прибежала я в спальню, а она уж, считай, совсем остывшая. .Кругом беспорядок, будто шарил кто. Я — к киоту. Вынула икону, за которой, как видела, ставила игуменья шкатулку, а там пусто. То ли Препедигна, то ли до нее кто, только досталась кому-то, а не мне... Не обители, — поправилась, потупившись, Липина.

«И тут Препедигна, — отметил про себя Михеев. — Надо все же разыскать ее».

Липину он отпустил — нового она, судя по всему, сказать ничего не могла: зная многое, она не знала главного.

Известие об отце Алексее, по-видимому, вызвало у начальства интерес — Михеев получил распоряжение явиться в Свердловск со всеми данными о бывшем царском духовнике.

Михееву возвращаться не хотелось. Хотя внешне казалось, что он зашел в тупик: допрошены все, кого удалось найти, а дело ни на шаг не продвинулось. Разве только Препедигна... А и было ли ожерелье-то? Быть может, это тоже один из обывательских слухов.

Но все же считать работу законченной он не хотел. Пока нет убедительных данных о том, что ожерелья не было, до тех пор, — думал Михеев, — заканчивать работу нельзя.

Саидов, узнав о вызове Михеева, нахмурился. Резко отодвинул в сторону конторские счеты, на которых подсчитывал приготовленные к сдаче комсомольские взносы, и не без ехидства заметил Михееву:

— Так, конечно, легче. Нетю, мол, и все.

— Что значит — нетю? — удивился Михеев.

— А это у меня сынишка так говорит, когда лень что-нибудь искать. Потеряет чулок и просит у матери: дай другой. Она ему: ты же, говорит, в той комнате где-то бросил его, поищи сам. Смотришь, пойдет, встанет в дверях, обведет взглядом стены и потолок и докладывает: нетю. Я уж знаю: лень искать. В других случаях, шайтан такой, правильно выговаривает: нет, нету.

Михеев улыбнулся, выслушав семейную притчу, но, положив руку на плечо Саидову, невесело сказал:

— А ожерелья-то все-таки нет. И следов к нему тоже.

— Почему нет? — замахал руками Саидов, бегая по комнате. — Следов много, только мы не знаем, какие из них ве-

дут к цели. А потом... Больно уж ты мягок с ними, с монашками. Прижать бы их покрепче, кто-нибудь что-нибудь да и выложил бы.

— Что значит — покрепче? — вздохнул Михеев. — Пугать их, что ли? «Покрепче» я понимаю только лишь в одном смысле: покрепче логически строить допрос. Так знать все привходящие обстоятельства, так построить цепочку вопросов, чтобы человек неизбежно или бы сказал все, что знает, или бы соврал.

— Ага, вот видишь! — обрадованно закричал Саидов.

— Ничего не вижу. Вот и надо эту логическую цепочку вопросов строить так, чтобы ты мог твердо знать, когда он врет, а когда нет. И почему врет. Вот в этом мы с тобой, может, и оказались недостаточно крепки и умны.

— Значит, ты тоже считаешь, что продолжать дело бесполезно?

— Нет, не считаю. Но, честно скажу, как продолжать его — еще не знаю. Ты знаешь?

— Если тоже по-честному, как и ты — нет, — с улыбкой сознался Саидов, поигрывая костяшками на счетах. — Но, хоть наугад, а продолжать надо.

— Наугад — это плохо. Без системы поиск не поиск. Вот и давай-ка осмыслим сейчас, что мы имеем.

— Давай, — согласился Саидов.

— Есть сигнал: в монастыре хранилось драгоценное ожерелье бывшей царицы...

— Так, — отложил Саидов косточку на счетах.

— Нет, ты не ту костяшку кладешь. Клади ту, что означает сотню.

Саидов сменил костяшку.

— Так вот, встает первый вопрос: было оно или не было? О том, что было, все говорят лишь с чужих слов, никто из опрошенных не может утверждать, что видел именно его. Документов на то, что ожерелье было в монастыре, тоже, конечно, не оставлено. Так? Значит, из ста шансов полови-

на — долой: пятьдесят за то, что оно было, пятьдесят — **что** не было.

Сбросив костяшку, Сандов отложил ннже пять другнх.

— Предположнм, было, — продолжал Михеев. — Но сохраннлось ли оно? Могло сохранnться. А могло и нсчезнуть нз тайника уже давно: временн-то ведь прошло немало. Сбрасывай пятьдесят н кладн двадцать пять...

— Оно могло исчезнуть нз монастыря, но сохраннться в другом месте, — заметнл Сандов, пронзведя на счетах операцию.

— Это уж другая версня. Важная, ннтересная, но не та. Ее мы рассмотрим отдельно. А пока пойдем дальше... Еслн ожерелье сохранилось, то доступно лн оно нам?

— Как это? — не понял Сандов.

— А так. Представь себе, что тот, кто знал тайник, умер нлн уехал. В таком случае лншь совершенно маловероятная случайность поможет натолкнуться на тайннк. Практнческн учитывать ее нельзя.

— Двенадцать с половиной, — снова щелкнул Сандов костяшкамн.

— В другом случае мы нмеем: н ожерелье все еще в монастыре, и есть на свете человек, который знает, где оно спрятано. Но двенадцать лн с половнной наших шансов нз ста за успех? Нет, Саша, верных — меньше.

— Давай дальше, — предложнл Сандов, недовольно глядя на счеты.

— Дальше так. Если и есть человек, знающнй тайник, то в одном случае мы можем найтн его, а в другом — нет. Ведь это может быть какое-то совсем незаметное, намн не предполагаемое лицо. Никто другой о нем не знает, сам он о себе, конечно, ннчего не говорит. Может так быть?

— Может, — вздохнул Сандов, щелкая на счетах.

— Но вот, наконец, мы нашлн человека, к которому сходятся все ннтн, н мы можем доказать... поннмаешь — доказать, что он участвовал в укрытнн ожерелья. А ты уверен, что нам удастся в этом случае найтн ожерелье? Я — нет. Он

знает, что никто больше на свете не знает, где именно оно хранится. Может указать на ложный тайник и сказать, что ожерелье исчезло, кто-то уже нашел его. Может сказать, что он в свое время сам вскрыл тайник и передал ожерелье кому-то другому. Укажет на такого, кто давно умер или, скажем, уехал за границу, и попробуй опровергнуть это, уличить его во лжи.

— Уж только бы найти такого, — пробурчал Саидов.

— Значит, если мы и наткнемся на такого человека, это еще не полный успех, а возможная половина его. А сколько весит эта половина, Саша?

— Три целых и сто двадцать пять тысячных, — подвел итог Саидов.

— Вот эти три из ста и считай вероятностью успеха. Зато верными. Все остальное — может быть, а может и не быть. Три шанса. Тысячные можешь отбросить.

Саидов задумчиво курил, глядя на три костяшки, оставшиеся на счетах.

— Да... Малинин и Буренин. Арифметика.

— И логика. Хотя и примитивная. А теперь посмотрим, в чем состоят эти три шанса. Есть ли среди опрошенных нами человек, знающий тайну?

— Спрашиваешь. Знать бы...

— Кое-кого мы можем сразу вычеркнуть из списка: у кого алиби, у кого явная непричастность, у кого еще что. Но как из тех, кого можно подозревать, выбрать нужного, как уличить его?

— Чего там гадать — спрашивать и спрашивать, пока не скажут.

— Измором брать? Могут и в этом случае не сказать. Ты и знать не будешь, есть ему что сказать или нет. А время идет...

Михеев встал и с хрустом потянулся.

— На что ж ты тогда рассчитываешь? В чем они, твои три шанса?

— В чем? — переспроснл Михеев. — Один в том, что кладохраиитель — изовем его так — средн тех, кого мы иашли. Второй — среди тех, кого оии назвали, но мы еще не разыскали. А третнй — средн тех, кого н оин ие изавали, н мы еще не разыскалн, а он есть и даже где-то, может быть, совсем рядом.

— Мудреио, — покрутил головой Саидов.

— Да, особеиио еслн вспомиить, что у нас есть еще и вторая версия.

— Что ожерелье ие в моиастыре?

— И не у моиашек.

— У отца Алексея, что ли? Болтовня, я думаю, это.

— Кто его зиает... Проверить все же иадо. Да и ие он одни мог быть кладохраинтелем. В этом направлеинн мы с тобой еще тоже не работали.

— Вот н давай работать, — оживился Сандов.

— А время? Зиать бы, что идешь по правильиому следу, наплевать бы и иа время. А вдруг зря? Ведь всего-то у нас три шаиса нз ста. Год пройдет, пока все ииточки перепробуешь. Кто иам позволит год наугад работать?

— Черт-те что, — уныло согласнлся Саидов.

За день до отъезда Михеева иеутомимый Сандов сумел-таки разыскать Препедигиу. В миру оиа звалась Прасковьей Архиповиой Мнроиовой.

Дородиая расплывшаяся старуха в тяжелом ковровом — несмотря иа теплую погоду — платке, заколотом под подбородком булавкой, вошла в кабиием, тяжело дыша и отдуваясь, отчего ее нижняя губа то отвисала, то втягнвалась в беззубый рот. Уставила иа Михеева вопроснтельио-настороженный взгляд узких с отечными веками глаз из-под кустистых, похожих иа шевелящихся таракаиов, бровей.

О себе Мироиова рассказывала нехотя, словио не поиимая, о чем ее спрашивают. О других же говорила охотно, с неожидаииой живостью.

Михеев задал ей вопрос о близких знакомых игуменьи.

— Степаниду кривую запиши, оиа матушке мед с пасеки вознла н бражку-медовуху. Николая Егорыча с пристани — большой вклад в моиастырь когда-то внес, икоиостас обновил тщанием своим, за что и был у игуменьи завсегда обласкаи вниманием и молитвами, — диктовала она Саидову, как дьячку поминальник, тыча скрюченным пальцем в край стола. — Чегодаеву вдову, из города она, мадерцей снабжала матушку, а в прочем баба непутевая была, все знали... Томилова Василия Михалыча — икорку нам доставлял, лодки наши чинить своих людей посылал. Похоже, что деньги свои матушка ему в рост давала. Через Рахилю с подворья тобольского...

«Рахиль — это ведь, кажется, Мезенцева? — вспоминал Михеев. — Но оиа как будто отрицала свое знакомство с ним. Почему бы это? Кто из них врет?»

— Отец Алексей изредка захаживал, — продолжала Мироиова, тыча пальцем и колыхаясь всем своим тучным телом. — Толкование мирских событий изъяснял матушке. Газетку иногда читал... Не знаю, кого тебе и назвать еще, всех, кого вспомнила, сказала.

— А Петропавловского Степана Аитоновича не вспомиили?

— Такого не помню. Не всех ведь знала, где их всех-то знать.

— А вот он вас знал. Деньги, говорят, вы с ним прятали.

— Эку иесуразицу на человока наплетут. Не зиала я его, так как же прятать с иим что-то могла? Не говори уж ничо-то.

— Да ведь у нас это ие франко-потолок взято, — ввериул Михеев входившее в моду словцо. — Вот послушайте-ка.

Он раскрыл одну из папок на заложенном бумажкой листе и не спеша, поглядывая после каждой фразы на Миронову, прочитал:

«Моя давняя знакомая, Препедигна, просила меня в 1923 году спрятать довереиные ей монастырские цеиности —

1300 рублей в золотых монетах, серебряные ложки и прочее. Я сложил все это в железную банку и зарыл, в присутствии Препедигны, в лесу по дороге к Жуковке. А потом перепрятал все это в другое место, уже один. Здесь они и были найдены по моему указанию».

Миронова, слушая, оставалась спокойной, только шумнее засопела, расслабив отвисшую нижнюю губу. Когда Михеев кончил читать, она сипло хохотнула.

— Ловишь? Умер он, батюшка, в двадцать пятом. Как бы он сказал тебе это? Не с того же света.

— А он это даже сам и записал. И не на том свете, а на этом. И еще до двадцать пятого года. Итак, во-первых, вы его знали?

— Может, и знала, да забыла.

— Во-вторых, ценности вы все же прятали, хотя раньше отрицали это.

Миронова молчала, выжидательно глядя на Михеева.

— В третьих, вы с Петропавловским спрятали золотых монет на сумму в тысячу триста рублей, а получили для этого больше — две тысячи. В-четвертых... — перечислял Михеев, тыча пальцем в стол, как недавно тыкала Миронова. — Впрочем, давайте по порядку. Снова да ладом, как говорят. Вы же видите, что нам многое известно...

— Раз все тебе известно, так чего спрашиваешь? Пиши сам, — проворчала Миронова.

— Ну что ж, и запишу. Пишите, Саидов... Я, Миронова, признаюсь, что скрывала свое участие в укрывании ценностей. Дело было так... Может, все-таки лучше сама продолжишь?

— Что уж... Пиши, — наклонила голову Миронова, будто рассматривая свои пухлые, в переплетении вен, руки на коленях.

Саидов записывал.

— Дело было так. Когда закрывали монастырь, ко мне в келью пришла старая монашка. Ни имени, ни фамилии ее сейчас не помню, знаю, что потом она умерла...

— Я напомню, — прервал ее Михеев. — Селафаилой ее звали.

— Ну, пусть Селафаилой...

— И не умерла она. Зачем же хоронить живого человека?

— Нашли, значит?.. Пиши... Пришла старая монашка, по имени Селафаила, и передала мне узелок с золотыми монетами. По ее словам, там было на две тысячи рублей, но я не считала...

— Считала, Прасковья Архиповна, считала. Нехорошо обманывать. Стыдно это.

— Бросишь стыд — будешь сыт. Ну, пусть считала, чтоб тебя, — рассерженно отмахнулась Миронова. — Ну отсыпала себе малость. Пить, есть, на черный день, на смертный час надо?

— На смертный час семьсот золотых рублей не многовато? — заметил Сандов.

Старуха метнула в его сторону сердитый взгляд и, не отвечая, продолжала:

— Золотых монет было на две тысячи рублей, но семьсот рублей я взяла себе и хранила на черный день...

— Понемногу тратя их, — подсказывал Михеев.

— Сначала я прятала сверток... — пытаясь не обращать на него внимания, продолжала Миронова.

— В шкатулке царской... — продолжал подсказывать Михеев.

— И это знаешь? — скривилась в подобии усмешки Миронова.

— В шкатулке этой, — отстукивал пальцем слова Михеев, — у игуменьи раньше хранились разные драгоценности, в том числе ожерелье бывшей царицы...

— Разные драгоценности, — в тон ему повторила Миронова, не замечая насторожившихся вдруг глаз Михеева.

— Вот так-то лучше, Миронова, — похвалил Сандов, положив перо и встряхивая затекшую кисть руки.

— И куда вы их потом девали? — спросил Михеев.

— А их там уже не было.

— Как не было? Вы же говорили, что были.

— Это ты говорил. Может, и были, откуда я знаю. Тебе виднее.

— Хитрите, Миронова?

— И ничего я не хитрю. Слыхала я, что было так у игуменьи какое-то царское добро, а сама не видала. Игуменья-то при мне померла. Одна я при ней была. Ну и, думаю, чего добру пропадать, лучше уж я схороню. Как зашлась матушка-то в кашле, посинела вся, пала на пол, я от страха бежать хотела, да смотрю — она уж не дышит. Ну, я и обшарила келейку. Нашла за киотом шкатулку, завернула ее в платок, а тут покажись мне, что идет кто-то. Я с испугу и выбросила ее в форточку, в сад. А потом уж побежала к людям — матушка, мол, преставилась!.. Ночью подобрала шкатулку-то, принесла к себе, открыла, а там вата белая да бисеру для вышивания пригоршни две. Лéстовки у нас им разукрашивали.

— А может, и еще что-то было? С чего бы это игуменье бисер хранить за киотом?

— Вот как перед богом! — перекрестилась Миронова.

— Ну, бога-то вы, я смотрю, не очень боитесь. Вон на семьсот золотых рублей его нагрели...

— В чем грешна, в том грешна, а чужой грех на душу брать не хочу.

— Как теперь проверишь?..

— Можно проверить. Шкатулку так с той поры и не открывали. В том же платке завернутая лежит.

— Где? — удивился Михеев.

— В завозне у меня, в сундуке под лопотиной старой. Боюсь показывать: на ней «Боже, царя храни» вырезано.

В тот же день шкатулка, о которой было столько разговоров, нашлась. Она спокойно лежала на дне сундука в пристрое дома, где Миронова жила у сестры.

Похоже, что шкатулку действительно с тех пор не трогали: была она завернута в пропахший затхлостью платок с плотно слежавшимися складками. Внутри шкатулки, как и говорила Миронова, на слое пожелтевшей ваты лежала блестящая россыпь бисера.

— Вот тебе и ожерелье, вот тебе и сияние волшебное, — сказал Михеев, сердито захлопнув крышку и сдвинув шкатулку. — В этом, вероятно, и источник всех заблуждений.

Саидов, сидя на углу стола, хмуро рассматривал резную надпись: «Боже, царя храни». Старательно сделанная из грушевого дерева шкатулка была украшена не только этой надписью, но и многочисленной безвкусной резьбой. Флаги, короны, мечи, ленты, венки и пушки, взятые, несомненно, с ремесленных картинок лубочных изданий. Не верилось, что эта базарная вещица могла стоять в дворцовых палатах.

— Чепуха какая-то, — сплюнул Саидов. — Та ли все-таки это шкатулка? Давай спросим старуху еще раз.

— Давай.

Миронова, оказалось, знала и историю шкатулки.

Да, шкатулка никогда не стояла в царских палатах, хотя и называлась царской. Делал ее каторжник Хохлов в Томском остроге. По чьему-то совету он задумал изготовить и преподнести ее в дар наследнику престола, впоследствии ставшему царем, Николаю Романову, возвращавшемуся в 1891 году из августовской поездки на Дальний Восток.

Вояж этот был памятен Николаю. Над его злоключениями в Японии похохатывали в великосветских гостиных, шепотком злословили в кабаках, потешались в иностранных газетах и журналах и даже, напустив двусмысленного тумана, в некоторых русских изданиях. Дело в том, что наследнику-цесаревичу русского престола, сунувшемуся в городе Отсу куда-то без обычной в таких случаях свиты сопровождения, японский полицейский наставил шашкой на августейший лоб здоровенную шишку. Инцидент этот, скорее смешной, чем опасный, был выдан в официальных кругах за покушение на священную особу наследника, и в память «чудесного

избавлеиия от несчастья» по всей России служили молебны, закладывали храмы и монастырн.

Хохлов, в расчете на царскую мнлость, нзготовил шкатулку с затейливой, но безвкусной резьбой н с дозволеиня иачальства решнл преподнестн ее Нниколаю, посетнвшему Томск на обратном путн нз Японнн. Конечно, через вторые рукн. Подхалнмствующне чнновникн, рассчнтывая обрадовать высокого гостя, попробовалн почтительиейше вручить сне «свндетельство любви иародной», но наследннк, иервно дергавшийся прн одном упомииаини о «чудесном избавленнии», брезгливо отодвннул пальцем, затяиутым в перчатку, шкатулку в сторону и повернулся к ней спнной. Чнновннкн сконфуженно ретнровалнсь.

Непрннятый дар, к которому, однако, прнкоснулся царственный палец, забрал к себе местный архнепнскоп Макарнй. Желая осчастлнвить старых знакомых, он прн какой-то оказнн переслал ее в Ивановскнй монастырь, нгуменье Дружининой. Там н хранилась шкатулка в почете под нменем царской, хотя ее вернее было бы иазывать каторжной.

Все это подтверждалось заметкамн в местных газетах и рассказамн старожнлов, н основаиия ие верить рассказу Мнроновой не было.

Но куда девалось содержимое шкатулкн, виденное Лнпнной н другнми? Неужелн там нгуменья всегда храиила лншь бнсер?

Миронова непрнтворно всплакнула, вндя, что ей ие верят, а оправдаться нечем. В стремлеинн доказать свою нскренность оиа даже решнлась поведать о всех деталях своего участия в операцин по укрытню монастырских цеиностей, хотя об этом ее уже не спрашивалн: ценности-то этн были давно найдены.

Однако Мнхеев терпеливо выслушал, а Саидов старательно запнсал ее рассказ.

«В 1919 году, во время отступлення белых, кажется в августе, меня и монашку-канцелярнстку Серафнму Короткову вызвала к себе нгуменья Дружнннна. И сказала нам: «Надо

спрятать ценное монастырское добро, чтобы уберечь его от Чека, когда придут красные. Я для этого нашла укромное местечко».

По ее указанию мы с Серафимой, втайне от других, перетащили ночью из покоев игуменьи в старую монастырскую церковь несколько каких-то коробок и кожаный мешок. В церкви имелась заброшенная лестница, о которой никто не знал. По ней мы и забрались в какое-то темное помещение. Там игуменья показала нам потайное место, обнаружить которое было очень трудно. Туда мы сложили все, что принесли, забросали старой рухлядью, замуровали вход и разрушили лестницу, будто ее и не было.

Кожаный мешок, который мне досталось нести, оказался очень тяжелым, пуда два с чем-нибудь, хотя и невелик по размерам. Что в нем находилось, я не знаю. Помню только, что игуменья сказала: «Вся ценность здесь, в этом мешке» — и велела дать клятву, что мы никогда и никому, ни под каким видом, даже под страхом смерти, не выдадим тайну.

Больше я этого мешка не видела, но слыхала, что через некоторое время его перепрятали на новое место. Будто бы его зарыли в монастырском саду, в цветнике, под клумбой, что к стене на выход. Если заходить по задним воротам, то на правой стороне, недалеко от садовой решетки.

Как я узнала, игуменья применила хитрый порядок: один только рыли или готовили тайник, другие — только прятали в него, а третьи — или, может, даже четвертые — перепрятывали. Это для того, чтобы запутать следы, если кто выдаст тайну.

И все же после смерти игуменьи, узнав от кого-то о спрятанных монастырских ценностях и серебряной утвари, весом до восьми пудов, чекисты все это нашли и увезли. Искали тогда в саду, в малиннике, изрыли весь сад — копали канавы в разных направлениях. В те дни Серафима сказала мне: «Знаешь, ведь если бы они прокопали канаву на пол-аршина дальше, то нашли бы мешок, что мы с тобой прятали в церкви, а потом я перепрятывала. В нем и шкатулка царская

была». Но когда мы с ней пошли смотреть это место, оказалось, что мешка уже там не было, его опять перепрятали, видимо, тогда же, еще при игуменье».

Увы, все это было интересно, но бесполезно. В последние дни Саидов с помощниками несколько раз побывали в монастыре и облазили все его закоулки. Нашлось немало старых тайников, но все они были пусты.

— Не могла ли игуменья передать что-нибудь на сохранение отцу Алексею? Они, как вы говорите, знакомы были, — спросил Михеев Миронову на прощанье.

— Могла. Вполне могла. Если небольшое что. Только... — замялась Миронова.

— Что — только?

— Только едва ли передала. Ненадежный человек был отец Алексей. Бражник, картежник, жадный до чужого. Ему вон государь золотую шпагу наследника доверил на сохранение, а он, говорят, присвоил, не отдал слугам, когда пришли за нею. Слыхано ли дело — царя обокрасть! — горестно качала головой Миронова.

— Уж если бога можно на семьсот рублей нагреть, то чего же с царем церемониться? — не удержался от язвительной реплики Саидов.

Утром, собираясь к отъезду в своей уютной комнатке, к которой успел привыкнуть за это время, Михеев по инерции все еще продолжал обдумывать: все ли он сделал, что мог, так ли сделал? Насколько распутался тугой тобольский узелок?

Начальство, посылая его, дало понять, что оно и само сознает малую вероятность успеха, но его, Михеева, задача — доказать эту маловероятность, чтобы больше не возвращаться к вопросу и с чистой совестью сдать письмо-сигнал в архив. Или же, наоборот, представить доказательства перспективности дела.

Что же он, Михеев, скажет там, в Свердловске?

Доказать маловероятность, а по сути дела невозможность успеха, нетрудно. Но с чистой ли совестью он будет доказывать это? Ведь еще не все ниточки прощупаны, узелок не распутан. Существуют непреложные три шанса успеха. И вторая, совсем почти еще нетронутая, версия. Нет, о невозможности он говорить не будет...

А о чем будет? О перспективности? Три шанса из ста на перспективность. Большего же он, к сожалению, представить ничего не может.

Так как же быть?.. А пусть вот так и будет — он скажет все так, как есть, отказавшись от мысли подбирать доказательства под какой-то заранее намеченный вывод. Маловероятность? Да. Но не невозможность. Перспективность? Гм... Как сказать... Но не полное отсутствие перспективы. Так он и скажет.

— Так и скажем! — произнес он вслух, бросив в чемодан платяную щетку и оглядывая комнату — не осталось ли чего своего.

— Ты мне? —окликнула его из кухни Анисья Тихоновна. Сквозь приоткрытую дверь оттуда доносился аппетитный запах отдыхающих после печи рыбных пирогов. Заботливая хозяйка готовила Михееву дорожные постряпушки.

— Это я сам с собой, Анисья Тихоновна, — весело откликнулся Михеев.

— Приятно, значит, поговорить с умным человеком?

— Вот именно, — согласился, улыбнувшись, Михеев.

Он скинул гимнастерку и взял стаканчик бритвенного прибора, собираясь пойти за горячей водой, но у дверей остановился — хлопнула входная дверь и со двора в кухню вошел кто-то посторонний.

— Доброго здоровья! — приветствовал хозяйку женский голос.

«Ну, раз женщина, значит, надолго», — подумал Михеев и, отойдя от двери, занялся принесенной утром газетой. Однако сосредоточиться не удалось: разговор сквозь неплотно прикрытую дверь был довольно хорошо слышен.

— Нет, милая моя, не могу, не проси, — убеждала гостью Анисья Тихоновна. — Я бы ничего, да сын не велел. Дом, говорит, казенный, неудобно это — брать нам что-нибудь на сохранение.

— А ты уважь. Сын-то не узнает. Зачем ему знать... — негромко настаивала просительница. — Я в долгу не останусь.

Приглушенный голос ее показался Михееву знакомым, но гостья, по-видимому, сидела спиной к его комнате, и ее речь он разбирал с трудом.

— Да, господи, не надо нам ничего, что ты! А от Андрея своего я отродясь не таилась. Да и зачем это? Мало в Тобольске голбцев, что ли? Через весь город два мешка к нам повезешь, неуж ближе нет?

— Есть-то есть, да ведь здесь знакомее. Сколько лет жила, привыкли, — не сдавалась гостья.

Анисья Тихоновна дипломатично молчала, давая понять, что решения не изменит.

— Что, приехал сын-то? — спросила после выжидательной паузы гостья, указывая, очевидно, на комнату Михеева.

— Нет еще, на неделе жду. Гость там, Андрея знакомый.

«Умно конспиратнвничает Анисья Тихоновна, молодец! — отметил про себя с улыбкой Михеев. — Сыну следует, научилась».

— Ну, нельзя так нельзя, — заявила гостья, скрипнув стулом. — А согласишься, очень благодарная тебе буду, что уважила.

— Не обессудь, — вздохнула хозяйка.

Услышав стук захлопнутой двери, Михеев вышел в кухню.

— Что это за гостья у вас была?

— Знакомая одна. Картошку на семена купила, просится в голбец к нам. Раньше она когда-то здесь жила и привыкла, говорит, к старому месту. Я бы и пустила, да Андрей не велит. Ну, собрался? Пирожок-то уж остыл, дай уложу тебе.

— Спасибо, Анисья Тихоновна. Напрасно вы это, пропитаюсь как-нибудь.

— Вот то-то и оно, что как-нибудь. Наживешь язву в желудке от пристанской да вокзальной снеди. Знаю я вашу жизнь перелетную. Мой-то тоже все в разъездах. Приедет — худущий, в чем душа держится...

Вечером Михеев, тепло попрощавшись с доброй хозяйкой, выехал на пристань.

Найдя на пароходе свою каюту, опустил створку окна, чтобы выветрить запах карболки после недавней дезинфекции, и постелил постель, надеясь сразу же уснуть. Но быстро — не удалось. И долго ворочался, возвращаясь памятью то к одному, то к другому из впечатлений последних дней.

Как из якорного клюза, поползла длинная цепочка бессвязных мыслей-видений. Обелиск Ермака на крутом берегу... Николай Романов, разгуливающий по саду губернаторского дома... Бульвар против Управления, теперь уже, наверное, вовсю вскипевший зеленью... Анисья Тихоновна, заботливо укладывающая в его чемодан свои постряпушки...

Последнее, на чем остановилась цепочка, был голос женщины, услышанный утром за стеной, на кухне у Анисьи Тихоновны. «Где все-таки я его слыхал раньше?» — больше из любопытства, чем из нужды, вспоминал он. И наконец обрадованно вспомнил: это же голос Марфы Мезенцевой, как он не узнал его сразу! И, вспомнив, тут же заснул.



ШПАГА НАСЛЕДНИКА

Патраков внимательио выслушал подробный доклад Михеева. Но когда тот заговорнл о возвращеинн в Тобольск, молча достал нз папки бумагу н подал ему. Из Омска сообщалн, что во Владнвостоке на чериом рыике был задержан спекулянт-валютчнк с золотом н брнллнаитами. При допросе показал, что кольцо с брнллнаитом ои купил в Тюменн у преподавателя каких-то курсов Владнмирова. Александр Владимиров, уроженец Тобольска, сын священиинка, отрнцал это и иа очной ставке со спекулянтом заявнл, что виднт его в

первый раз, поэтому был отпущен, так как спекулянт признал, что мог и ошибиться.

— Так что же теперь? — все еще глядя в бумагу, спросил Михеев. — Версию с монастырем оставить совсем, ради этой — новой?

— А вы попробуйте связать их. Может быть, появится и третья, пугаться нечего.

— Конечно, нечего, — уныло согласился Михеев.

Сутки пути до Омска сулили обычную вагонную неприкаянность, при которой и интересная книга не читается дальше двадцатой-тридцатой страницы, и пейзажи, даже живописные, приедаются на второй-третий час пути, и когда после каждой большой станции невольно тянешься к расписанию, чтобы узнать, сколько осталось еще там, впереди, этого вынужденного безделья. Устроившись у окна, Михеев равнодушно поглядывал на равнинные зауральские перелески, на поймы неширокнх рек с белой осыпью гусиных стай по берегам, на унылый пейзаж сибирской степи, где лишь горделивые изваяния ястребов на вершинах телеграфных столбов служили, казалось, единственными приметами живого. И конечно же — куда денешься? — перебирал по привычке в памяти тот багаж сведений, с которым ему предстояло распутывать клубок нового дела.

...Отец Алексей — настоятель тобольской Благовещенской церкви Алексей Павлович Владимиров — был в свое время видной фигурой в духовном мире Тобольска. Известность его и, можно даже сказать, слава началась с момента, когда в Тобольск привезли низложенного царя и его семью. Начальник охраны полковник Кобылинский и специально уполномоченный комиссар Временного правительства эсер Панкратов, не желая стеснять «царственных пленников» (по терминологии Панкратова) в отправлении религиозных обрядов, разрешили им проводить ежедневные службы при доме, где они жили, а по праздникам посещать церковь. Ближай-

шей — буквально в одном квартале — оказалась Благовещенская церковь. Она и была избрана для этой цели, а ее настоятель — отправителем служб и духовником Романовых. Милость, о которой скромный провинциальный протопоп прежде не мог и мечтать, вознесла его в собственных глазах. Рьяный монархист и ревнитель православия, он воспринял это как посвящение в рыцари русской монархии, как высокое назначение, накладывающее на него обязанности всячески облегчить непривычные для монарха условия содержания его и семьи в тобольском заключении, а, может, даже и — помоги господи! — содействовать ее освобождению.

Приняв назначение, он постарался как можно благолепнее обставить ритуал домашних и церковных служб. Через тобольское подворье женского монастыря вытребовал от игуменьи четырех молоденьких монашек на роли певчих и служек и закрепил их за собой для домашних служб. А в самой церкви хор, обычно реденький и безголосый, теперь заполнял правый клирос до степени базарной толчеи — обывателей, жаждавших поближе взглянуть на недоступное им доселе зрелище, хватало.

Как ни странно, попу в этом активно помогал комиссар Временного правительства Панкратов — человек, называвший себя социалистом, просидевший за участие в каком-то террористическом акте несколько лет в Шлиссельбурге и изведавший по милости царя сибирскую ссылку, но после низвержения самодержавия вдруг принявший роль почтительного охранителя спокойствия своего недавнего политического врага.

Отец Алексей не ограничился отправлением служб, ради которых только и был допущен в дом, где содержалась семья Романовых и часть свиты. Часто видясь с ними, подолгу беседуя, принимая их исповеди, новоявленный духовник, естественно, сделался одним из доверенных лиц Николая и его окружения и вскоре стал негласным их связным. К нему невольно потянулись все те, кто хотел бы завязать связи с бывшим императором.

Николай и его семья полюбили услужливого попика, одаривали вниманием при каждом удобном случае. Проникся доверием к нему и епископ Гермоген, оценив усилия и преданность бойкого иерея. И не замедлил выручить его, когда тот стал виновником громкого скандала и над ним нависла недвусмысленная угроза серьезной кары.

Еще 3 ноября, в день, отмечавшийся раньше в церковном календаре как праздник «восшествия на престол» Николая II, выход Романовых из церкви был оформлен с соблюдением всего старого ритуала «шествия их величеств» — с громогласным трезвоном колоколов и славословием. Охрана выразила неодобрение, но Панкратов и Кобылинский замяли дело.

Осмелев от безнаказанности, отец Алексей (не без санкции своего духовного начальства, конечно) тайно приволок в церковь из Абалакского монастыря высокочтимую религиозными фанатиками «чудотворную» икону. Приволок «вне очереди» — обычно ее приносили в город летом с особой торжественностью. Произошло и «чудо», совсем не ожидаемое верующими: в соборе и на улицах появились листовки с призывом «помочь царю-батюшке и постоять за веру русскую, православную».

Икону выдворили обратно в Абалак, но отец Алексей уже вошел в раж. И зарвался. Через несколько дней, 6 декабря, в какой-то еще «царский праздник», кажется в день именин Николая, дьякон, по указанию настоятеля, широкогласно, щеголяя утробным рыком, как встарь, провозгласил столь необычное для данных обстоятельств «многолетие царствующему дому» с подробным перечислением полных титулов всех присутствующих представителей этого дома.

Этот номер уже не прошел. Отца Алексея и дьякона арестовали и потребовали к ответу. Быть бы беде, но выручил Гермоген. Убедив власти отдать ему незадачливых священнослужителей под домашний арест, он сплавил их в ближайший монастырь на покаяние и, выждав, когда пройдет шум, вернул к своим обязанностям. Властям же направил посла-

ние, составленное по всем правилам духовной казуистики и наполненное туманными философскими рассуждениями. В послании утверждалась невинность отца Алексея, ибо — как писал хитромудрый епископ — «по данным священного писания, государственного права, церковных канонов и канонического права, а также по данным истории находящиеся вне управления своей страной бывшие короли, цари и императоры не лишаются своего сана как такового и соответственных им титулов».

В Тобольском Совете (к этому времени созданном) махнули на это рукой — сложнее заботы были, — но за церковниками стали приглядывать построже. Отец Алексей и сам, поняв, что времена изменились и либеральничать с ним больше не будут, притих. Но вернее будет сказать — затаился. Ибо связи с Романовыми не оставил и с осторожностью продолжал служить им чем мог.

Не мог ли он в это время взять на себя и такой вид помощи, как укрывание царских драгоценностей? Пожалуй, мог. Но именно это сейчас и предстояло выяснить.

Почти вся семья бывшего тобольского протоиерея оказалась в сборе — в Омске. Исключение составлял младший сын Семен, еще относительно молодой человек (не было и тридцати), по специальности бухгалтер, успевший попасть в тюрьму за растрату.

Жена отца Алексея, Лидия Ивановна — типичная провинциальная попадья, некогда с достоинством поддерживавшая свое положение «матушки» обширного прихода, к этому времени как бы слиняла, став не более как обычной бабушкой своих внучат. Испуганно мигая кроткими овечьими глазками, она заискивающе глядела на Михеева, склонив по-птичьи голову набок, и всем своим видом выражала полную готовность отвечать на вопросы как на исповеди.

Да, отец Алексей был близок к царской семье, — охотно подтвердила она, — получал подарки, выполнял какие-то по-

ручения. Какие — ей неведомо. Не очень-то доверял ей протопоп, считая свою подругу жизни придурковатой. Не стеснялся в подпитии сообщить об этом и посторонним людям. Мог походя наградить увесистым тычком своей пухлой длани за неосмотрительно сказанное словцо.

Конечно, она была свидетельницей всех встреч в своем доме (все-таки хозяйка!), но до беседы допускалась редко: ее дело чаи разлить, закуску подать. И она разливала чаи, накладывала варенье, подавала закуску, ставила на стол бутылки с мутным самогоном, к которому отец Алексей был пристрастен и всегда имел запас его (за что и отсидел в свое время, в двадцатые годы).

А что творилось вне этого мира застольно-гастрономических забот, ее благополучно обегало, благо любопытной она не была. В доме в те годы, как и всегда, был какой ни на есть достаток, дети, слава тебе господи, взрослые, образованные, умные.

Особенно старший, Алексей, пошедший по стопам отца и даже, пожалуй, обещавший перещеголять его. Кончил духовную академию, слыл весьма энергичным духовным деятелем, популярным в среде интеллигентных верующих. Лица, знавшие его в те годы, добавляли: религиозный фанатик, ярый монархист и реакционер.

Под стать ему попалась и женушка. Из «образованных» — кончила гимназию в Тобольске и высшие женские курсы во Вроцлаве, стала учительницей, но в фанатичной религиозности, веронетерпимости и преданности монархии не уступавшая мужу.

Алексей, единомышленник и надежда отца, умер в 1919 году. Вдова его не пожелала покинуть семью, осталась в доме свекра, а потом даже последовала за ним в Омск, где к той поре другие сыновья, Егор и Александр, сумели акклиматизироваться и принять благообразный вид совслужащих.

Егор тоже успел кончить духовную академию, но не сумел найти применение своему диплому и занимал скромный, но небезвыгодный по тем временам пост заведующего сто-

ловой. Александр, по молодости лет (в 1917 году ему было двадцать) оставшийся без академического образования, тоже заведовал учреждением, но по иной епархии — какими-то курсами на железной дороге.

С удивительной готовностью спешили отречься от умершего отца совслужащие из поповичей. Михееву даже противно было слушать их откровения.

— Да, старик любил выпить, ничего не скажешь, скрывать не буду, — вежливенько барабаня по колену пальцами, рассказывал Александр. — И в картишки перекинуться не по маленькой. На прихожанок, чего греха таить, заглядывался.

— Поп, он, знаете, поп и есть, — на другой день вторил ему Семен, вызванный по этому поводу из тюрьмы. — Жадненький до добра и скупенький. Поверните — мне, тогда еще юноше, на карманные расходы приходилось таскать у него деньги. Чтоб выдал сам когда — не жди...

И бывший бухгалтер досадливо поглаживал свой стриженый затылок.

— А уж на подарки падок был! Точно знаю, не брезговал подарками от бывшего Николая Кровавого, этой гидры самодержавия. Вот позвольте, перечислю... Два яйца серебряных к пасхе, икону Николая Чудотворца, блюдца с гербами из дворцового сервиза, пепельница фарфоровая императорского завода. А что касается ложечки чайной, тоже серебряной и тоже с вензелем императора, то... хе-хе... Не поручусь, что пастырь овец августейших не спер ее у них при случае. Особо хочу заметить, что перед увозом царской семьи в Екатеринбург отец Алексей получил в дар епитрахиль, вышитую Александрой Федоровной и ее дочерьми. Нет, нам с таким отцом, конечно, было не по пути...

Словно соревнуясь, братья не стеснялись в выражениях. Отец для них был пятном в анкете, пятном, от которого хотелось избавиться любой ценой. Любой, кроме своего благополучия, конечно. А благополучие, им казалось, как раз,

может, от того и зависит, насколько много они накопают грязи в белье собственной семьи.

Так Михеев узнал, например, что отец Алексей, приблизившись к царской семье, ободренный попустительством Панкратова и Кобылинского и местного эсеровского совета, не скрывал своих убеждений. Подвыпив однажды, он заявил прислуге графини Гендриковой, зашедшей к нему с каким-то поручением: «Скоро опять будет переворот и опять будет монархия. Я-то уж знаю». За этой пьяной похвальбой, возможно, крылось и что-то еще, кроме пустых надежд, где желаемое выдавалось за действительное. Вместе с Гермогеном и Каменщиковым — царским служащим, жившим на одном дворе с отцом Алексеем, они за бутылкой вина не раз обсуждали «мероприятия» по оказанию помощи царской семье и возможному ее освобождению.

Желая поведать о корыстолюбии и нещепетильности отца, сыновья сообщили о следующем случае. Зимой 1917—1918 годов к отцу приезжал зять Распутина Борис Соловьев и какой-то немец Файнштейн. Оба — с целью устроить побег царской семье. Посланцы имели с собой немалые деньги — для подкупа охраны и для всего прочего. Привезли также хороших папирос для Николая, пару брюк ему же, четыре шляпы и что-то еще из нарядов (для переодевания, может быть?). У Соловьева деньги были пачками рассованы везде — по карманам, за пазухой, даже за голенищами валенок. Часть их посланцы вручили отцу Алексею для передачи по назначению. Однако, поскольку визит был тайным, отец Алексей счел за лучшее оставить деньги у себя. Домашние, за исключением разве что попадьи, знали это. Сыновья делали вид, что не замечают.

Но использовать деньги с толком попу не довелось. Вскоре они потеряли ценность, удалось лишь купить рояль, никому в доме не нужный. Да и с тем в 1920-х годах пришлось расстаться: его в числе других вещей списали и продали за неуплату штрафа, наложенного за какие-то самогонные дела.

Храиил ли отец Алексей шпагу? Была ли она воообще? Илп это только россказни обывателей?

Егор иа вопрос о шпаге ответил иеохотио, ио спокойио, как о чем-то очеиь обычиом и общеизвестиом, хотя до вопроса Михеева о ней молчал.

— Слыхал дома, что кто-то из Ромаиовых подарил отцу шпагу. Называли ее золотой, ио я думаю, что иикакая оиа ие золотая, а позолочеиная, материальиой цеииости ие имеет, разве что в музей бы сгодилась. Так, безделушка...

С иеохотой говорили о шпаге и другие домочадцы отца Алексея. Но — говорили. И, сличая их показаиия со своими тобольскими заметками, Михеев примерио восстаиовил обстоятельства, при которых шпага попала к бывшему духовиику Ромаиовых.

Коиечио же, оиа была выиесеиа из губериаторского дома ие для подиошеиия попу. Ее выиесли для того, чтобы надежио спрятать цеиную вещь до лучших времеи.

Это совпало, по-видимому, с тем момеитом, когда солдаты охраиы, возмущеииые чересчур вольным образом жизпи Николая, его семьи и свиты, потребовали иавести порядок, устаиовить более строгий режим, соответствующий положеиию арестоваииых.

Председатель отрядиого комитета охраиы прапорщик Матвеев рассказывал, иапример, такой эпизод:

«Будучи дежуриым офицером по отряду, около 11 вечера я вышел в коридор из комиаты дежуриого, расположеииого в иижием этаже губериаторского дома. Этот коридор пересекается другим, выходящим к лестнице иаверх, где жили Ромаиовы. Выйдя в коридор, я услышал вверху иеобычиый шум: иадо сказать, что в этот деиь у Ромаиовых был какой-то семейиый праздиик, и обед у иих затяиулся до поздией иочи, — шум все усиливался, и вскоре по лестиице сверху спустилась веселая компаиия, состоявшая из семьи Ромаиовых и их свиты, разодетая в праздиичные иаряды. Впереди шел Николай, одетый в казачью форму с полковиичьими погоиами и черкесским киижалом у пояса. Вся компаиия про-

шла в комнату преподавателя Гиббса, где и веселилась до 2-х часов ночи».

Этот случай переполнил чашу терпения солдат охраны, и они решили обыскать Романовых и отобрать у них все оружие. Удалось найти немного: у Николая забрали злополучный кинжал, с которым он щеголял накануне, у князя Долгорукова — шашку. Еще одна шашка нашлась... у учителя французского языка Жильяра, человека отнюдь не военного и даже не воинственного. Ясно было, что оружие в доме есть еще, но оно надежно припрятано.

16 января 1918 года общегарнизонное собрание солдат приняло постановление: всем солдатам и офицерам снять погоны и запретить носить их впредь. Поскольку Николай и его сын почти все время щеголяли в военной форме теперь уже не существовавших полков, охрана потребовала, чтобы и они сняли погоны.

Требование это встретило энергичное противодействие. Полковник Кобылинский, возмущенный «разнузданностью» солдат, уговаривал их «оставить царя в покое, не оскорблять его этим актом» и даже истерично грозил им английским королем и немецким императором, под опекой которых якобы находилась семья низложенного царя. Не помогло: солдаты предупредили, что применят силу, но свое решение проведут в жизнь. Николай, сварливо ворча, обещал выполнить его. Но у себя в комнатах погоны носил по-прежнему, а выходя на прогулку, прятал их под буркой. Глядя на отца, поддерживал эту игру и Алексей — он прикрывал погоны башлыком.

Пожалуй, именно в эти дни и была вынесена шпага — Николай понял, что пора своеволия для него прошла, солдаты заставят выполнять свои решения, гарантии от новых обысков нет и спрятанное в доме оружие может быть найдено.

Но почему же он решил укрыть в надежное место не все оружие, а лишь одну шпагу сына? Ведь вот свидетельствует же в своих воспоминаниях Авдеев, бывший комендант то-

больского и екатеринбургского домов, где содержались в заключении Романовы, что оружие сдано не было. Рассказывая о привезенном из Тобольска в Екатеринбург многочисленном багаже, о целой груде всевозможных чемоданов, чемоданчиков и саквояжей (только ключи от них весили около 20 фунтов), он добавляет, что однажды, при каких-то поисках, неожиданно «...был обнаружен целый чемодан холодного оружия: сабли, кинжалы, несколько полевых биноклей, что и было сдано в Областной исполком».

Словом, оружие было поблизости и никому не передавалось — все, кроме одной лишь шпаги наследника!

Почему — загадка нетрудная. Среди шпаг сиятельных особ бывали такие, которые стоили целые состояния.

Шпага была вынесена из губернаторского дома для надежного хранения как ценность, которая потом могла весьма пригодиться.

Отцу Алексею шпагу принес царский служитель, «писец» Каменщиков. Он жил у попа на квартире, во флигеле. Длинную куриную кормушку, в которой под слоем земли была уложена завернутая в тряпки драгоценная вещь, ему удалось пронести через комнату охраны довольно спокойно.

Отец Алексей, гордый оказанным ему доверием, принял шпагу с благоговением и тут же сунул ее за переборку в спальне. Временно, конечно, такую вещь следовало спрятать подальше, находка ее при обыске могла принести неприятности куда больше, чем скандал с «многолетием». И шпага, завернутая в тряпки, вскоре повисла на гвозде под стульчаком уборной.

Весной Романовых увезли в Екатеринбург. Уехал с ними и Каменщиков. Ажиотаж, вызванный пребыванием царской семьи в Тобольске, затих, город зажил прежней сонной жизнью. Вздохнул свободно и отец Алексей: слава богу, все обошлось, опасности миновали. Доверенные ему на хранение ценности пить-есть не просят, ну и пусть себе лежат до поры, до времени — хозяева их отошли к всевышнему и ничего не потребуют.

Но, оказалось, потребовали. Вскоре вернулся Каменщиков. «И что нужно этой лисе в Тобольске? — думал протопоп. — Уж коль вырвался живым из пекла, так утекай куда подальше, а он нет — опять в Тобольск, где у него ни родных, ни знакомых, ни кола ни двора, да где к тому же еще все знают, что он был царским прислужником».

Каменщиков по приезде направился в женский монастырь и остановился там. А уж затем нанес визит своему старому квартирохозяину. Домашние помнили, что гость завел разговор и о доверенной попу шпаге.

Отец Алексей ответил, что «вещь» на месте. Даже продемонстрировал, достав из уборной. Но выдать ее отказался, ссылаясь на то, что у гостя нет ни от кого ни письменных, ни иных полномочий.

Каменщиков ушел не солоно хлебавши. Вскоре ему представился случай отплатить той же монетой. В город пришли белые. А за ними следом — эмиссары созданной при Сибирском правительстве «Особой следственной комиссии по расследованию обстоятельств убийства царской семьи». Всем, кто имел хоть какое-то отношение к пребыванию Романовых в Тобольске, пришлось пережить тревожные дни — следователей интересовали даже мелкие обиды, нанесенные «августейшим лицам». Искали они и то, что могло остаться из романовского имущества. Бывших приближенных царя таскали на допросы, устраивали обыски в их домах, собирали о них компрометирующие данные.

Не избежал сего и отец Алексей. Но что могли следователи предъявить ему, верному холую свергнутого царя, человеку, известному всем своей ненавистью к большевикам и преданностью монархии? Царские подарки? Так они же, наоборот, свидетельствовали лишь о монаршей милости и благоволении. И верно — подарки не тронули, хотя и переписали все их, до мелочи. Но после первого обыска последовал второй, еще более тщательный, продолжались и новые допросы. Попа даже посадили в кутузку. И тут только он понял — че-

му пли, вериее, кому обязаи этим: его иастойчиво спрашивали о шпаге. А о ией зиал только Камеищиков.

Шпагу ие иашли. После визита Камеищикова отец Алексей перепрятал ее, инсцеиировав покражу, для чего даже выломал стеику уборией.

Следователю ои иамекиул, что о тайиике зиал лишь одии Камеищиков — иадо же было как-то поквитаться. Отца Алексея выпустили.

А шпага тем времеием спокойио пребывала иа иовом месте — в икоиостасе Благовещеиской церкви.

Шпага считалась потеряииой. Одиим поп говорил, что оиа украдеиа, другим — что взята при обыске белыми.

Как это иередко бывает, тайиик обиаружили ие поиски, а случай. Надо думать, ие очеиь приятиый отцу Алексею.

Как-то в церкви затеялся ремоит. Подиовляя икоиостас, рабочие, вопреки запрещеиию, разобрали его и обиаружили сверток со шпагой. Трапезиик церкви, старик Василий, испугаииый иаходкой, прибежал доложить о происшествии своему духовиому иачальству. Как был, в подрясиике, простоволосый, иатяиув впопыхах чужие опорки, отец Алексей помчался в храм, вырвал сверток из рук изумлеииых рабочих и под удобиым предлогом выгиал их. Вернувшись, он сказал обеспокоеииой происшествием попадье: «Спрятал от греха подальше, так что теперь иикто ие иайдет».

Весть о иаходке в церкви, коиечио, ие осталась тайной, ио отец Алексей с досадой опровергал слухи, заметая следы, уверял, что в свертке был всего лишь серебряиый церковиый подсвечиик.

Прошло еще иесколько лет, и Благовещеискую церковь, резидеицию отца Алексея, закрыли. Ликвидируя дела ее, ои, коиечио, полез в тайиик. Шпага лежала теперь под ступеиьками алтаря. Каково же было его изумление, когда он увидел, что заветиого свертка там иет. Насколько это изумление было искреииим, устаиовить трудио: попадья, перед которой оио демоистрировалось, все прииимала за чистую моиету. Сыиовья в тот год жили уже в Омске и довольствовались

тем, что сказала мать. Но, кажется, ие очеиь верили отцу, умевшему устраивать такие спектакли.

Как бы то ии было, в Омск шпага ие попала. То ли ее в самом деле украли, то ли оиа осталась в Тобольске, хитро перепрятаииая, то ли пропала в дороге. Решив переселиться в Омск, к детям, хотя и отрекавшимся от отца публично, ио ие терявшим с иим связи, поп ликвидировал в Тобольске все свои дела, иагрузившись солидиым багажом, заиял иа пароходе хорошую каюту и уже предвкушал радость скорой встречи с сыиовьями. Одиако где-то иа подходе к Таре ои однажды лег вздремиуть и — не просиулся. Такой был еще крепкий мужик, иа здоровье ие жаловался и — на́ тебе. Наспех произведеииое в Таре вскрытие устаиовило причииу: морфий. Попадья решила, что отец Алексей отравился. Недоумевала — почему? Никаких поводов к тому словио бы не было. Сыновья решили ие давать почвы слухам и замяли это дело.

— А тогда, в Таре, у вас ничего из багажа не пропало? — спросил Михеев попадью.

— Как не пропало. В этакой-то суете. Корзииа с посудой да футляр не то из-под скрипки, ие то еще из-под чего — отец Алексей сам упаковывал.

— Как ои умер?

— Сказали — отравился чем-то. Гулял по палубе, в буфете с кем-то посидел, выпил, по обычаю. Пришел потом в каюту, присел в уголок, и в сои его потянуло. Через час гляиула, а ои не дышит.

— Не ехал ли с вами кто из зиакомых?

— Нет будто. Разве в дороге кто подсел... После Тюмеии с кем-то в буфете подолгу засиживаться стал, — раздумывала попадья. — Да ие похоже, что зиакомый, сказал бы мие. А сама я из каюточки ие выходила, животом маялась: рыбку покушала несвежую.

Михееву было ясио, что если отец Алексей и имел что-нибудь из царского добра, то в Омск оио ие попало. Раз-

ве только мелочь какая-то. Колечко с бриллиантом, проданное спекулянту одним из братьев-поповичей, еще ни о чем не говорило, такой «суперик» был не в диво и тобольской купчихе. Обыск у Владимировых ничего не дал. Собранные сведения свидетельствовали, что братья жили скромно, для такой жизни хватало получаемого по службе жалованья. Скрывают? Но как это докажешь? Похоже, что скрывать все-таки нечего...

Можно было бы уже и возвращаться домой, но Михеев нарочно оттягивал отъезд, выгадывая время для несколько необычного занятия.

Еще в первые дни после приезда в Омск он познакомился с одним из работников Управления, бывшим уральцем. Земляки быстро нашли общий язык. Новый знакомый помог Михееву освоиться с городом, разыскать нужных людей, не давал скучать в выходные дни — утаскивал его к себе домой, где после двух-трех часов шахматных сражений следовали неизменные рыбные пельмени, фирменное семейное блюдо, а потом чай с кисловатым рябиновым вареньем.

Он-то и свел его с человеком, уютный домашний кабинет которого надолго стал вторым служебным кабинетом Михеева.

Коровин, старый большевик и участник гражданской войны в Сибири, долгое время работал в Харбине, в Управлении Китайско-Восточной железной дороги. В Харбин, центр белогвардейской эмиграции на Дальнем Востоке, в те годы стекалось изрядное количество эмигрантской литературы, как местного издания, так и европейского — из Парижа, Берлина, Риги, Белграда, Праги, Константинополя. Воспоминания битых белогвардейских генералов и выгнанных царских министров, записки и дневники снятельных царедворцев и дипломатов, колчаковских и деникинских контрразведчиков, кадетских и черносотенных лидеров, великосветских кокоток и авантюристов — всей этой нечисти, выметенной ветром революции из России и осевшей в закоулках Европы и Азии, — мутным потоком хлынули в книжные магазины и газетные

кноски. Для иностранца это было занимательным чтивом, соперничающим с «Тайнами Мадридского двора» и приключениями Ната Пинкертона, а для самой эмиграции — ее животрепещущей историей, такой близкой и такой уже далекой.

Они не могли не видеть в этих книжонках явного извращения фактов, свидетелями которых были сами, злобных вымыслов и клеветы, но в бессильной злобе ко всему «красному» с охотой принимали желаемое за действительное.

Было в этой литературе и много такого, что, несомненно, должно было заинтересовать будущего историка великой эпохи: вырвавшиеся сквозь зубы признания, фальшиво истолкованные, но непреложные факты, неприкрытые откровения людей, которым уже нечего больше терять.

Коровин, еще будучи комиссаром партизанской бригады, сумел по-своему оценить значение таких документов для пропагандистской работы и умно использовал белогвардейские газеты и листовки в своих докладах и выступлениях. Партизаны от души хохотали над выдумками белогвардейских писак. Какой-нибудь изуверский приказ, взятый из колчаковской газетки, производил на них не меньшее впечатление, чем зажигательная речь, зовущая в бой.

Еще в те годы Коровин мечтал засесть за историю гражданской войны в Сибири. Когда давняя болезнь вынудила его оставить работу на КВЖД, он вернулся в родной Омск с чемоданом, набитым различного рода материалами, в том числе белогвардейской литературой, и стал нештатным сотрудником Истпарта. Но болезнь прогрессировала, силы таяли, и Коровин с грустью сознавал, что дело, задуманное еще в годы боев, ему едва ли удастся завершить. С тем большей охотой он предоставил возможность Михееву ознакомиться с собранными материалами.

Михеев понял, что напал на самый настоящий клад, который пусть не прямо, а косвенно, но мог пролить свет на многие темные стороны дела, которым он занимался.

Страницу за страницей, стараясь не пропустить ни слова,

как бы взвешивая каждую фразу, с карандашом в руках проштудировал он толстую (300 страниц и 144 иллюстрации) книгу колчаковского следователя Н. Соколова «Убийство царской семьи», изданную в 1925 году в Берлиие.

Назначеиный Колчаком 5 февраля 1919 года руководить следствием по делу о расстреле Николая II судейский чиновник Соколов, не в пример его предшественникам на этом посту, тянувшим без особого успеха следствие с 30 июля 1918 года, рьяио взялся за дело. И, можно сказать, посвятил ему всю свою дальнейшую жизнь. Соколов сумел поставить дело на широкую ногу — опросил сотни свидетелей, собрал и изучил тысячи докумеитов, провел десятки научно-технических экспертиз, многочислеиные тщательнейшие обыски и раскопки. Даже пуговица, оторвавшаяся от царских штанов и найдеиная потом в ипатьевском доме, интересовала его как важное вещественное доказательство (доказательство чего — он и сам толком не знал), и ои скрупулезно описывал ее, фотографировал и отдавал на экспертизу. В дни, когда колчаковцы начали свой великий драп на Восток и «освободителям России» было уже не до остатков царских штанов, о настырном следователе забыли и лишь пренебрежительно отмахивались от него. Но он не сдавался, требуя людей и средств для продолжения работы, возя за собой целый вагон «вещественных доказательств» и разных бумаг. Полусумасшедший фанатик с явно расстроенной психикой, он мнил себя историческим лицом, коему суждено осветить одно из величайших дел эпохи. Увы, даже сподвижники смеялись над ним, видя смехотворность его потуг выдать за эпохальное событие закономерный акт революционной неизбежности.

Даже в суматохе отступлеиия, когда Соколову пришлось сменить сначала комфортабельный специальный поезд на отдельный вагон, потом вагон на отдельное купе (и то слава богу!), а в конце концов и купе — на место из милости в чьем-то купе, он не уставал привязываться к людям с допросами, истово скрипеть пером, лист за листом пополняя «дело», до которого никому уже не было никакого дела.

Возмущенный невниманием колчаковского командования к его усилиям, он слонялся по приемным салон-вагонов высоких представителей союзников, предлагая принять под свою опеку его архив, а когда те отмахивались от него, как от назойливой мухи, умолял о содействии разных титулованных представителей русской знати и рядовых, очумевших от ярости монархистов, играя на их «патриотических» чувствах. Умолял спасти собранные им материалы и его самого — вершителя исторической миссии. Увы, все, озабоченные более всего своей собственной судьбой, квалифицировали эту миссию не как историческую, а — совершенно справедливо — как истерическую.

Не зная, на чем и как он будет завтра пробираться за границу, Соколов, обливаясь слезами, сам выбросил часть материалов. Еще какую-то часть незаметно выкинули как барахло его попутчики. Но — подкупом, лестью, далеко идущими обещаниями — Соколову удалось все же, с помощью какого-то офицера, близкого к остаткам колчаковского командования, вывезти осколки своего архива в Китай, а затем в Европу.

Уже потеряв понятие о времени и обстоятельствах, подогреваемый только собственной фанатичностью да нещедрой поддержкой злобных антисоветских листков, он продолжал «дело»: снова приглашал на допросы людей, снова проводил экспертизы, прибегая к «благотворительной» помощи научных лабораторий капиталистических фирм, имевших свои счеты с русской революцией. Шантажируя «разоблачениями», в Париже он призывал на допросы видных деятелей Временного правительства — Керенского, князя Львова и Милюкова; родственника Романовых князя Феликса Юсупова; дочь лейб-медика Татьяну Боткину (Мельник); члена Государственной думы скандально-знаменитого Маркова-второго, известного в Думе под кличкой Ванька-Валяй, учителя царских детей Пьера Жильяра и ставшую его женой няню царевен Теглеву; камердинера Волкова и многих других.

Но, пока Соколов в неистощимом усердии строчил лист за листом, пополняя уже донельзя распухшее «дело» тысячью никому не нужных подробностей, его соратники по эмиграции, увидев, что теперь на «деле» можно неплохо заработать, тоже не дремали. Те, кто еще недавно, в пору отступления, досадливо отмахивались от Соколова, преподнесли ему неожиданный сюрприз.

В 1920 году в Лондоне появилась книжонка бывшего корреспондента «Таймс» в России Роберта Вильтона. В пору гражданской войны он, по поручению союзного командования, следовал по пятам за комиссией Соколова и имел в копиях материалы следственного дела. Книжка называлась «Последние дни Романовых» и произвела сенсацию, выдержав в 1923 году пять изданий на английском, французском, немецком и русском языках.

В 1920 же году в Харбине под грифом «ЦК конституционно-монархической партии» вышла книжица со слезливым названием «Венценосные великомученики», составленная, как значилось на обложке, «по подлинным материалам следственного производства», то есть по материалам того же Соколова.

И, наконец, последний, особенно больной удар.

Оставшись без средств и без надежд на будущее, бывший главнокомандующий колчаковскими войсками генерал Дитерихс, который руководил в свое время работой Соколова, но позднее ничем ему не помог, теперь тоже решил погреть руки. Имея в своем распоряжении копию следственного дела и сдобрив материалы его своими «разоблачениями», он выпустил в 1922 году на Дальнем Востоке увесистый двухтомник: «Убийство царской семьи и членов дома Романовых на Урале». Первый том состоял из 441 страницы текста и 1 карты, второй, с подзаголовком «Материалы и мысли», был тоньше — имел 232 страницы.

Падкие на сенсацию желтые газетчики и издательства выпустили следом по материалам этого издания свои грязные книжонки — в Константинополе, в Харбине, в Белграде.

Соколов взвыл от досады: обокрали! Попробовал протестовать, но протест не был услышан. Тогда он сам стал готовить свой труд к печати. Но дождаться его выхода в свет не успел — умер, не стерпев огорчений. Через год его книга вышла. Но никаких новых, ожидаемых злобствующей эмиграцией острых разоблачений она не принесла: основное было уже опубликовано, а детали мало кого интересовали. Тем более, что Соколов пытался играть в объективность, а обокравшие его предшественники не скупились на занимательный вымысел.

Так, особенно бесцеремонен с фактами был Вильтон. В его визгливо-злобной книжонке можно было увидеть, например, довольно обычный снимок красного уголка с помостом для сцены и трибуной для докладов. Зато надпись под снимком гласила: «Красная инквизиция. Комната красных комиссаров в Перми, украшенная еврейскими надписями, портретами... В столе, который виден на помосте, нашли целый набор различных орудий пыток». Под «орудиями пыток», очевидно, разумелся председательский колокольчик.

Неприличие пасквильной брошюрки было настолько скандальным, что респектабельная «Таймс» вынуждена была удалить Вильтона из числа своих сотрудников.

Среди мемуаров, ценных приводимыми фактами, Михеев отметил записки Жильяра.

С скрупулезной тщательностью — день за днем — описывал свою жизнь в Тобольске бывший учитель французского языка Пьер Жильяр в книжечке, претенциозно озаглавленной «Трагическая судьба русской императорской фамилии». Вывезенный в Екатеринбург вместе с остальной царской челядью, он, пользуясь своим французским паспортом, сумел быстро перебраться через линию фронта, подступавшую вплотную к столице Урала, и спустя немного времени комфортабельно устроился в салоне поезда французской миссии при белом командовании.

На что-то надеясь, Жильяр оставался с миссией до конца ее пребывания в России. Примечательно, что, встретившись

с ним в сентябре 1918 года в Екатеринбурге, Соколов прочно вцепился в него как в одного из главных «свидетелей обвинения». Сняв несколько допросов в Екатеринбурге, он допрашивал Жильяра в марте и в августе 1919 года в Омске, в марте 1920 года — в Харбине и не оставил в покое даже в Париже.

Помимо дневника, сохранившего интимные подробности жизни в Тобольске, лейб-гувернер имел в своем распоряжении хороший фотоаппарат с достаточным запасом пластинок к нему и, не скупясь, фотографировал все, что только мог. Этими снимками он потом щедро иллюстрировал свои книги. Значительным количеством его снимков воспользовался для своего «дела» и Соколов. «Его Величество за любимым занятием — пилкой дров», «Августейшая семья на прогулке в саду губернаторского дома», «Государь-император с наследником на крыше оранжереи» — чем не сенсационные «доказательства зверств большевиков»!?

С брезгливостью листал Михеев страницы воспоминаний малограмотного камердинера царицы Александра Волкова «Около царской семьи». Они были изданы с предисловием великой княгини Марии Павловны в Париже в 1928 году. Злобный старик, брызжа слюной, клеветал, не стесняясь, на все и вся, не заботясь о достоверности: лишь бы укусить побольнее. Не уступала ему и дочь врача Боткина Татьяна Мельник в книжонке «Воспоминания о царской семье и ее жизни до и после Революции» (издано в Белграде в 1921 году). О «Страницах из моей жизни» пресловутой Вырубовой, вышедших в 1923 году, и говорить нечего.

С интересом читалась комичная перепалка двух однофамильцев — офицера С. Маркова, посланного Вырубовой в Тобольск для организации побега Романовых, и «парламентского монархиста» Н. Маркова-второго, который пытался организовать этот побег помимо Вырубовой. Смехотворная дискуссия эта, перекочевавшая с газетных и журнальных страниц даже в отдельные издания, разгорелась в 1928—1929 годах. Не стесняясь в выражениях, однофамильцы на-

падалн друг на друга, обвнняя один другого в срыве такого исторического с их точки зрения мероприятия как побег царской семьи.

И уж совсем иельзя было читать без смеха такое, например, сочинеиие, как «Смерть императора Николая Второго. Драма в 4 действиях с прологом и эпилогом», изданное во Владивостоке в 1921 году.

Видя нитерес Михеева к этой литературе, Коровин сетовал, что, к сожалению, обильному мутному потоку белогвардейской клеветы и дезииформации противостоял лишь очень иебольшой список иашей, советской литературы по этому вопросу. Да и то в большиистве совсем уже забытой — по малой тнражности и давности лет.

Главная средн них — кннга уральского большевика, первого председателя Екатеринбургского Совета, одного нз организаторов Красиой гвардии на Урале, Павла Быкова. По заданию Уралистпарта он в 1921 году «на осиове бесед с товарнщами, прннимавшими то·илн нное участне в событиях», написал для сборника «Рабочая революция иа Урале. Эпизоды и факты» большую статью «Последние дни последиего царя», построенную на подлиниых документах, иа личных своих наблюдениях, на показаниях арестованиых белых офицеров.

Успех статьи, вернее, большого очерка, был велик. Сбориик быстро разошелся и уже в те дни стал библиографической редкостью. Быков же продолжал собирать материалы, и в 1926 году Уралкнига выпустила отдельным изданием его большой нсторнческий очерк «Последнне дин Романовых». К тому времени Быков обстоятельио ознакомился со всей белогвардейской литературой по этому вопросу и в своей кннге успешно полемизировал с ией, разоблачал ложь и подтасовку фактов.

Но книга Быкова, к сожалеиию, была и осталась первым и единственым обобщающим трудом советского историка иа эту тему.

Правда, ее в какой-то степени дополняли некоторые пу-

бликации. Например, напечатанные в журнале «Былое» в 1924 году (№ 25 и 26) воспоминания В. Панкратова «С царем в Тобольске».

В 1917—1918 годах он являл собой странную фигуру. Почтительная забота Панкратова о «царственных пленниках» (его терминология!) вызвала сначала недоумение, а потом ненависть солдат охраны, с одной стороны, и — личную симпатию, перешедшую вскоре в уважительную дружбу, ярого монархиста, начальника охраны полковника Кобылинского. Неизменной симпатией и уважением пользовался он и у Николая, и у членов его семьи, не исключая и злобную, никому не доверявшую Александру.

Реабилитированный колчаковским следователем, пощаженный и Советской властью, Панкратов в мемуарах своих, написанных под свежим впечатлением в начале 1920-х годов, беспощадно разоблачает сам себя, свою незавидную роль при последних Романовых, но — не замечает этого.

Совсем иное значение имели записки бывшего коменданта «домов заключения» в Тобольске и Екатеринбурге большевика А. Д. Авдеева. Они так и назывались: «Николай Романов в Тобольске и Екатеринбурге. Из воспоминаний коменданта». И были напечатаны в 1928 году в журнале «Красная новь». Этот обстоятельный и достоверный отчет посланца Уралобкома и Уралсовета о событиях и обстановке тех дней — ценнейший документ для историка.

Записки Авдеева интересными и важными деталями дополняли отрывочные воспоминания бывшего члена Уралсовета В. А. Воробьева «Конец Романовых» (журнал «Прожектор», 1928 год, № 28) и «Последний переезд полковника Романова» Н. Немцова, бывшего председателя Тюменского губисполкома, руководившего организацией переезда Романовых из Тобольска в Екатеринбург (журнал «Красная нива», 1928 год, № 7).

С особым вниманием вчитывался Михеев в строки, которые могли пояснить: что же было или могло быть у Романо-

вых с собой в Тобольске? Было ли ожерелье? Была ли шпага? Может, ннчего этого не было н разговоры о нпх — отголоскн давннх обывательскнх слухов? А может, было н что-то еще, что выпало нз поля зрения, но представляло несомненный ннтерес?

...Вещей нз Царского Села было взято в Тобольск великое множество: переезжал в длительиую, возможно, ссылку пусть иизложеиный, но император. И не однн, а вместе с семьей, со свитой н прнслугой. Царь, не потерявшнй еще надежды еслн ие на реставрацню монархни, то хотя бы на почетиое нзгнание в другне страны — ведь нсторня знает немало тому прнмеров. Правда, нсторня знала и другне прнмеры — судьбу лншнвшнхся головы Карла I, Людовнка XVI, но о них лучше было ие вспоминать.

Новонспечеиный мнннстр-председатель, ряднвшийся в тогу соцналнста-революционера, Алексаидр Федоровнч Керенскнй ие только не стеснял Романовых в дорожной экипнровке, но даже заботлнво проследил за тем, чтобы экипировка эта была капнтальной. Отправляя «царственных плеиннков» в Тобольск, он наказывал начальнику охраны полковннку Кобылнискому: «Не забывайте, что это бывшнй император. Его семья нн в чем не должна нуждаться». Это засвндетельствовал в своей кннге колчаковскнй следователь Соколов, вообще-то ие нмевший намеренна обелять Керенского, которого ои счнтал одним нз внновннков сверження монархни.

Хотя на сборы было дано лншь два дня (12 августа объявнлн об отъезде, а утром 14-го поезд уже отправнлся), дворцовая челядь сумела собраться обстоятельно. В Тобольск ушло два поезда, в основном с багажом. Немало грузом прншло в Тобольск и позднее.

Комнссар Временного правнтельства Панкратов запнсывал в своих воспомннаннях:

«Из Петрограда были посланы разные принадлежности внутренней обстановкн дома... ковры, драпри, занавесн н т. п. Все эти вещн былн высокой ценностн».

«Внутрн дом был роскошно меблнрован: помимо имев-

шейся губернаторской мебели... часть мебели была доставлена из Царского Села».

«Часть комнат полуподвального этажа были загружены большим количеством багажа — чемоданы, ящики и т. п., хотя в первом этаже специально для этого имелись две комнаты, так называемые шкафовые, которые в свою очередь также были доверху заложены вещами».

На столе в тобольском кабинете Николая «...лежало с десяток карманных часов и различных размеров трубки».

«— Имеются ли у вас книги? — спросил я княжен. — «Мы привезли свою библиотеку,» — ответила одна из них».

Комендант тобольского и екатеринбургского домов, где содержались Романовы, тоже не мог не отметить обилия багажа.

«Всех ключей было фунтов 20 от всевозможных чемоданов, чемоданчиков, саквояжей и т. п. ...Шляпами ведал один слуга, ботинками — другой, бельем — третий, верхним платьем — четвертый...»

«Однажды открыли один чемодан, набитый доверху стеками и тростями, другой — трубками для курения табака».

«В начале мая в Екатеринбург пришел (из Тобольска) и «необходимый ручной багаж», составлявший битком набитые два американских (пульмановских) вагона».

Конечно, при таких удобных условиях сборов в дорогу не были забыты в Царском Селе и драгоценности. Правда, самая главная часть их находилась на специальном хранении в Зимнем дворце и в руки Романовым не попала.

Но и «дома» — в Царском Селе — их было изрядно. На парадных приемах Александра и ее дочери блистали бриллиантами и жемчугами. Кое-чем располагали и мужчины, Николай и Алексей: усыпанные бриллиантами украшения, запонки, булавки и перстни с драгоценными камнями, уникальные часы и шпаги...

Одна из бывших горничных сообщала:

«Драгоценности в Царском Селе укладывали горничная — Елизавета Эрсберг и камер-юнгфера царицы, ее люби-

мица, вывезенная с собой из Германии, Магдалина Заиотти... Драгоценности дочерей хранились у них в именных коробках (у каждой своя), обитых кожей, размером больше четверти в ширину и в длину и с половину этого высотой. Все эти коробки они взяли с собой. Что в них было? Про все не вспомню, но — много. Каждый год в свой день рождения каждая дочь получала от родителей в подарок по одному бриллианту в десять карат и по одной жемчужине. А в день имении — еще одну большую жемчужину, с горошину величиной. Таким образом, каждая из дочерей получала в год по две жемчужины, почему ожерелья у них и были неодинаковыми — кто старше, у того и больше, длиннее. У самой царицы была, конечно, своя особенно длинная нитка».

Из икон брали с собой те, что поценнее, с дорогими окладами, усыпанными драгоценными камнями.

Словом, добра в Тобольске было у Романовых изрядно. И о судьбе его они беспокоились.

Как утверждали свидетели, допрошенные Соколовым, Николай и Александра забеспокоились о судьбе драгоценностей еще в конце 1917 года, через три-четыре месяца после приезда. А в начале следующего года уже предпринимали энергичные усилия для того, чтобы надежно упрятать их на случай возможных перемен.

Драгоценности передавались верным людям с таким расчетом, чтобы иметь их поблизости, на случай этих перемен. Но наверняка не все сразу. Кое-что оставляли еще какое-то время при себе. А когда Николай с первой партией семейства (жена и одна из дочерей — Мария) отправились в Екатеринбург, эта часть драгоценностей, очевидно, была передана тем, кто остался (сын и три дочери). И кампания по укрытию сокровищ продолжалась.

«В Тобольске оставалось большое количество драгоценных камней... Надо было спасать эти вещи», — пишет Роберт Вильтон.

А как их «спасали»?

«Великие княжны, оставшиеся в Тобольске, — пишет он дальше, — были тайно, письмом камер-юнгферы Демидовой, предупреждены в этом смысле и принялись скрывать жемчужные ожерелья, бриллианты и другие драгоценные камни в своей одежде, зашивая их в лифчики, под видом пуговиц и т. д.».

Другой свидетель событий, Пьер Жильяр, дополняет:

«24 апреля от Александры Федоровны пришло (из Екатеринбурга) письмо... В очень осторожных выражениях она давала понять, что надо взять с собой при отъезде из Тобольска все драгоценности, но с большими предосторожностями. Она драгоценности называла условно лекарствами. Позднее на имя няни Теглевой пришло письмо от Демидовой. Нас извещали, как нужно поступить с драгоценностями, причем все они были названы «вещами Седнева» (лакей при детях)».

Теглева, допрошенная Соколовым, подтвердила это.

«Демидова писала мне: «Уложи, пожалуйста, хорошенько аптеку и посоветуйся об этом с Татищевым и Жильяром, потому что у нас эти вещи пострадали».

Дальше Теглева пояснила, как выполнялся этот наказ об «аптеке».

«Мы взяли несколько лифчиков из толстого полотна, положили драгоценности в вату и эту вату покрыли двумя лифчиками, а затем их сшили... В двух парных лифчиках были зашиты драгоценности Александры Федоровны (это подтверждает, что она их не брала с собой в Екатеринбург)... Один из таких парных лифчиков весил 4—5 фунтов... в другом столько же... Один надела Татьяна, другой Анастасия... Были зашиты бриллианты, изумруды, аметисты... Драгоценности княжен были таким же образом зашиты в двойной лифчик, и его надела Ольга... Кроме того, под блузки на тело они надели много жемчугов... Зашили мы драгоценности еще в шляпы княжен, между подкладкой и бархатом. Из драгоценностей этого рода помню большую нитку жемчуга и брошь с сапфиром и бриллиантами... У княжен были верхние

синие костюмы из шевиота, на них пуговиц не было, а кушаки с двумя пуговицами. Мы их отпороли и вместо них вшили драгоценности, кажется бриллианты, обернув их сначала ватой, а потом черным шелком... Кроме того... были еще серые костюмы из английского трико... мы отпороли с их пуговицы и тоже пришили драгоценности».

Но были ведь и такие драгоценности, которые в лифчик не зашьешь. Например, браслеты, диадемы, крупные колье, броши. Незаметно провезти их с собой трудно, пожалуй, даже невозможно. Значит, наиболее ценные вещи должны были остаться в Тобольске — такой вывод сделал для себя Михеев.

А те, что зашили? Зашить-то зашили, но увезли ли? Кое-кому, несомненно, хотелось бы доказать, что да, увезли. Ведь это отводило бы от них самих неприятные вопросы о дальнейшей судьбе драгоценностей. И поэтому таким свидетельствам безоговорочно верить не следует.

«Что-то не похоже, что увезли», — думал Михеев.

Письма из Екатеринбурга от уехавших тогда с первой партией Александры Федоровны и ее дочери Марии предупреждали оставшихся в Тобольске, что режим в ипатьевском доме не шел в сравнение с тем, что был в доме тобольского губернатора. Здесь бывали обыски, иногда довольно обстоятельные. Сношения с внешним миром свелись к минимуму, чтобы не сказать — прекратились совсем.

Вот что писала Мария сестрам 27 апреля:

«Здесь почти ежедневно неприятные сюрпризы. Только что были члены Областного комитета и спросили каждого из нас, сколько кто имеет за собой денег... все деньги изъяли в комнату на хранение, оставили каждому понемногу, выдали расписки. Предупреждают, что мы не гарантированы от новых обысков...»

Если бы даже удался побег (на что Романовы все еще рассчитывали), то не вернее ли было иметь драгоценности не при себе, а у верных людей в верном месте, откуда их легко достать при надобности?

Об этом, в частности, пробалтывается и Роберт Вильтон в своей книге. Говоря об увезенных из Тобольска вслед за Романовыми вещах, он приводит важную деталь: в Тобольске-де из царских вещей не осталось почти ничего, «за исключением некоторых драгоценностей, спасенных заботами адмирала Колчака и отправленных в Европу».

Тут желтый газетчик что-то намеренно путает. Адмирал Колчак, как известно, до Европы не добрался, не мог и отправить туда вещи. Зачем? Когда он шел вперед, то мечтал сам въехать в столицу на белом коне и восстановить монархию, а когда драпал на восток — не до царских реликвий было, дай бог ноги унести. Другое дело, что кто-то из колчаковской своры «спас» часть драгоценностей и увез с собой в Европу, но уж, конечно, не в качестве реликвий: жрать-то на чужбине надо было. Сам Вильтон, с подозрительной неотвязностью таскающийся везде за «следственной комиссией» Соколова, поди, тоже не сплоховал при этом, жуликоватость его не составляла секрета.

Но, может, быть, он намекал и на другого «спасителя», на зятя Распутина Бориса Соловьева, нелегально обосновавшегося в Тюмени на все время «тобольского сидения» Романовых и уполномоченного Вырубовой организовать их побег.

Как свидетельствует Соколов, распутинский зятек, все время отсиживавшийся в Тюмени, бросился в Тобольск лишь тогда, когда оттуда отправилась последняя партия Романовых — Алексей с сестрами. В тот самый день, когда они проехали Тюмень! Как будто он только этого и дожидался.

Как пишет Соколов: «...Там он видел Анну Романову (горничную) и узнал от нее, где в Тобольске находятся царские драгоценности, часть которых была оставлена там».

Возможно, Соловьев съездил не напрасно и кое-что попало ему в руки. Было известно, например, что он продал содержанке атамана Семенова за 50 тысяч рублей бриллиантовый кулон. Шаг, надо прямо сказать, рискованный: атаман Семенов, известный живодер и бандит, не гнушавшийся ни организованным, ни индивидуальным грабежом, узнай он об

этом сразу же, не оставил бы Соловьева без внимания и выколотил бы из него все ценное, что тот имел.

А может, и выколотил? А может, другие выколотили — колчаковские контрразведчики, арестовавшие его в 1919 году во Владивостоке? А если, кроме этого кулона (возможно, даже и не романовского), у него ничего и не было?

Чем больше вчитывался Михеев в эту литературу, тем тверже убеждался, что какая-то часть ценностей, привезенных Романовыми из Царского Села, должна была остаться в Тобольске.

Возможно, очень большая часть. Едва ли дело обошлось только ожерельем и шпагой. И только ли женский монастырь и отец Алексей замешаны тут? Все данные «беллетристики» подводили к тому, что историю эту нужно копнуть глубже и шире.

И первый вопрос, который встал перед Михеевым, был именно глубинным, ведущим к фундаменту всей истории.

Зачем они прятали драгоценности?

Несмотря на его «странность», вопрос был весьма существенным. В самом деле, если прятали с одной целью, то клад следовало искать в одном месте, а если с другой целью, то — в другом.

Итак, *почему* Романовы решили спрятать драгоценности? — раздумывал он. — Ведь на них никто в Тобольске не покушался... В сотнях чемоданов можно было сохранить что угодно. Личным обыском Романовым пригрозили однажды, да и то для острастки... Александра Федоровна и ее дочери при выходах в церковь щеголяли диадемами и ожерельями. Дело, очевидно, в том, что драгоценности имели теперь иное значение: как компактный фонд средств, с помощью которого можно было на ходу расплачиваться за мелкие и крупные услуги. Тем более, что бумажные деньги обладали весьма эфемерной ценностью. Золото же в монетах найти в тот момент было трудно.

Но для чего им средства? Конечно, деньги нужны были и «дома» — для повседневного содержания семьи, свиты и челяди. Романовы привыкли жить широко. Вначале это им удавалось и в Тобольске. Да так, что иногда губернаторский дом оставлял жителей города без продуктов, скупая на базаре весь привоз. «Двор» численностью в 50—60 человек умудрялся объедать 20-тысячный город!

Однако в феврале 1918 года широкой жизни пришел конец — поступило предписание Народного Комиссариата имуществ республики: ограничить Романовых в пользовании средствами, находившимися на их счетах в русских банках. На каждого члена семьи было разрешено расходовать не более 600 рублей в месяц. Это и на питание, и на содержание прислуги, и на все другие хозяйственные нужды. К тому же было приказано перевести всю семью и «двор» на солдатский паек.

В заграничных банках на личных счетах Романовых к моменту революции лежало 14 миллионов рублей, да попробуй доберись до них.

Денежки, конечно, были нужны. Но — не менять же на базаре бриллиантовые кольца и броши на масло и мясо? С «карманными деньгами» Романовы нашли выход из положения, выход, о котором охрана не знала. Оказывается, в Тобольск систематически кружком Вырубовой и другими монархическими организациями пересылались деньги. И деньги немалые: только заводчик Ярошинский передал для этой цели Вырубовой в разное время 175 тысяч рублей.

Нет, для «дома» денег хватало, драгоценности нужны были не для этого.

Вернее всего, цель была одна — приготовить их на случай побега. Ведь он мог быть организован так, что с собой не удалось бы взять не только чемодана, но и лишних подштанников: царя могли «похитить» по дороге в церковь, например.

Но была ли надежда на побег? Или это лишь предположения, вызванные тревожной обстановкой тех дней? Белогвар-

цейская печать впоследствии почти единодушно утверждала, что не было нн мыслей о побеге у бывшего царя, ин чьнх-то попыток к организации его.

Колчаковский следователь Соколов утверждал: «Эта вера (в побег) была основаиа на обмаие, ибо следствнем абсолютно точно доказано, что нн в Тюменн, ни в другом месте Тобольской губернии ннкакнх офицерских групп, готовых освободнть царскую семью, не было».

А «ие готовые» былн? Можно ведь понять н так...

Учитель Жнльяр в своих запнсках хотя н прнзиается, что склоиял Нниколая к побегу, но тут же пытается реабилнтировать его: дескать, император был протнв, нбо ставил два иевыполнимых условня: «...ои нн в коем случае не может допустнть, чтобы семья разлучилась н чтобы пришлось покииуть страиу».

Экий рыцарь! Но так лн это выглядело на самом деле?

Николай был готов к побегу. И попытки были.

Начались они еще в то время, когда у властн стояло Времеиное правительство. А. Ф. Керенскнй в одной нз своих «лекцнй», прочитаиных в Парнже в двадцатых годах, проболтался, что он н сам был прнчастен к этому. Оправдываясь перед белой эмнграцией за свон старые грехи, он говорнл и о том, почему ему не удалось спастн, то есть вовремя отправить за граннцу, ннзвергнутого царя. По его словам выходнло, что вниоват в этом был не он, Керенский, а... Ллойд-Джордж, который сначала приглаcнл Николая в Англию, обещая ему там почетное убежнще, а потом-де, под влняиием общественного мнения, перестал «иастанвать» иа этом прнглашенин.

В своей книге статей «Накануне», изданной в Париже в 1922 году, Керенский привел н некоторые подробности этой щекотлнвой нстории.

Мнлюков, миннстр нностранных дел Временного правнтельства, по порученню Керенского вел переговоры с аиглийским послом Бьюкененом. Посол сообщнл, что Аиглия согласиа принять семью Романовых и выделяет для пере-

броски ее специальный крейсер. В официальной ноте Бьюкенена Милюкову это звучало так: «Король и правительство Его Величества будут счастливы предоставить императору России убежище в Англии». Вероятно, именно с этой нотой связана запись, сделанная в те дни Николаем в дневнике: «Разбирался в вещах и книгах и начал откладывать все то, что хочу взять с собой, если придется уезжать в Англию».

Более того, в день, когда под нажимом масс Временное правительство вынуждено было принять решение об аресте Николая Романова и его жены, глава правительства князь Львов проявил себя беспардонным двурушником. Он (не без ведома Керенского, конечно) послал в ставку, где находился в тот день низложенный царь, телеграмму такого содержания: «Временное правительство постановило предоставить бывшему императору беспрепятственный проезд для пребывания в Царском Селе и для дальнейшего следования в Мурманск».

И в этом не постеснялся признаться Александр Федорович, незадачливый «временщик»! Лишь бы меньше улюлюкали вслед ему эмигрантствующие монархисты, лишь бы сильные мира сего не обвинили его в сочувствии большевикам.

Исполком Петросовета опередил радетелей бывшего царя. Узнав о телеграмме, Совет срочно, телеграфом же, известил все города о своем предписании: задержать Романовых, где бы они ни находились.

Но Временное правительство не оставило попыток переправить бывшего царя за границу. Уже после ухода Милюкова с поста министра иностранных дел его заместитель Терещенко с еще большей настойчивостью продолжал переговоры. Они закончились лишь тогда, когда все возможности были исчерпаны: в июне Лондон официально сообщил, что «до окончания войны выезд бывшего царя в пределы Британской империи невозможен». Августейший кузен Николая, Георг V, видя нарастающую угрозу всеобщего антимонархизма, почел за лучшее отречься от некогда «горячо любимого» двоюродного братца, попавшего в сложный переплет.

А в Царском Селе надеялись, ох как надеялись... Жильяр позднее писал: «Мы думали, что наше заключение в Царском Селе будет непродолжительным, и ждали отправления в Англию... Мы были всего только в нескольких часах езды от финляндской границы, и Петроград (читай — Петросовет) был единственным серьезным препятствием, а потому казалось, что, действуя решительно и тайно, можно было бы без большого труда достичь одного из финляндских портов и вывезти царскую семью за границу».

«Действуя решительно и тайно...» В том-то и дело, что если в таинственности недостатка не было, то решительности у «временщиков» явно не хватало.

Когда встал вопрос о переводе царской семьи в более безопасное место, то сами Романовы «рекомендовали» Керенскому отправить их в Ливадию. Что и говорить, удобное местечко! Особенно для побега морем. Но увы, Керенский уж не в силах был внять «рекомендации»: распоряжения Временного правительства все более и более контролировались Петросоветом.

Ллойд-Джордж да и сам Керенский были, пожалуй, тут ни при чем. Побегу в Англию помешали отнюдь не они, а более серьезные и грозные обстоятельства, от них совсем не зависящие.

Сам Николай тоже вовсе не отказывался от мысли о побеге за границу, как это утверждали Жильяр и Соколов. Тот же Соколов, забыв о логике, приводит в своей книге слова допрошенного им в 1920 году в Париже бывшего члена Государственной думы пресловутого Н. Е. Маркова-второго. Этот махровый черносотенец заявил: «В период царскосельского заключения (Романовых) я пытался вступить в общение с государем-императором. В записке, которую я послал при посредстве жены морского офицера Юлии Александровны Ден, очень преданной государыне-императрице, и одного из дворцовых служителей, я известил государя о желании послужить царской семье, сделать все возможное для облегчения ее участи, прося государя дать мне знать через Ден,

одобряет ли он мои намерения, условно: посылкой иконы». И далее сообщает, что Николай «снизошел», послал своему тезке образ Николая Угодника.

Так обстояло дело в период «царскосельского сидения». Но мысли о побеге не исчезли и в Тобольске.

Начальником охраны в Тобольск был назначен полковник Кобылинский, человек, не скрывавший своих монархических симпатий. Жильяр отзывался о нем так:

«Никто не подумал, что, несмотря на революцию и состоя якобы в противном лагере, он продолжает служить государю-императору верой и правдой, терпя грубости и нахальство охраны. Кобылинский сделал для царской семьи все что мог, и не его вина, если недальновидные монархисты-организаторы не обратились к нему — единственному человеку, который имел полную возможность организовать освобождение царской семьи и ждал только помощи извне, которой он сам не мог призвать, так как был под постоянным надзором враждебно настроенных солдат».

А такие организаторы «помощи извне», оказывается, имелись в достатке.

Один из первых и главных — его преосвященство тобольский епископ Гермоген, пройдоха, интриган и первостатейный жулик, близкий друг Распутина. Мать Николая, «вдовствующая императрица» Мария Федоровна, озабоченная судьбой сына, писала Гермогену вскоре после того, как Романовых привезли в Тобольск: «Владыка, ты носишь имя святого Гермогена, который боролся за Русь, — это предзнаменование... Теперь настал твой черед спасать родину... призывай, громи, обличай. Да прославится имя твое в спасении многострадальной России».

«Спасение России» она понимала лишь как спасение Николая.

Намекала она при этом на тезку тобольского владыки — канонизированного русской церковью второго патриарха всероссийского, подготовившего возведение на престол первого Романова в 1613 году.

Но если с Гермогеном начался Дом Романовых, то на Гермогене же, пусть другом, он и закончился.

Тобольского епископа назначили в далекий сибирский город, чтобы не мозолить глаза врагам Распутина. Получив послание Марии Федоровны, он принялся ревностно доказывать свою идейную близость со святым Гермогеном. Именно к нему потянулись нити всех заговоров и помыслов о них. К нему, в первую очередь, шли на связь посланцы Вырубовой, Маркова-второго и других осатанелых монархистов, зачастили с визитами бывшие офицеры — то в форме, то без нее, то под вымышленными именами, а иногда и не скрывая своих фамилий.

Автор первого советского исследования о последних днях последнего царя уральский большевик П. М. Быков на основании документов Чека, партийных и военных донесений писал:

«Большинство их (офицеров) приезжало, по-видимому, по подложным документам. Были, например, задержаны два офицера — «Кириллов» и «Мефодиев», приехавшие туда в отпуск с фронта на две недели. Задержаны были два офицера — братья Раевские (по документам). Один из них приехал в Тобольск раньше, и за ним было установлено наблюдение. Второй «брат» приехал позднее и сразу, ночью, не повидавшись с «братом», отправился к Гермогену. По выходе из архиерейского дома Раевского арестовали. При нем нашли удостоверение, выданное «Всероссийским братством православных христиан». На допросе он сообщил, что привез Гермогену письмо от Нестора, епископа Камчатского».

Позднее выяснилось, что привез он письмо не от Нестора, а от Марии Федоровны — то самое, с призывом «призывать, громить, обличать».

Гермогену, пожалуй, и не нужно было подсказывать — сам был с усами и с бородой. Еще до получения письма он организовал специальные церковные службы для семьи Романовых, пытаясь таким образом приучить охрану к частым и систематическим отлучкам царя и его семьи из «дома за-

ключения». Пытался устроить (правда, безуспешно) их поездки в дальние монастыри. И все это для того, чтобы с помощью отлучек и путешествий создать благоприятную обстановку для побега.

А главное, он готовит «общественное мнение», «мобилизует настроения» обывателей — это ведь тоже может стать немаловажным. По конфиденциальному указанию, в церкви, кроме обычных специальных служб, проводятся и необычные. В «день восшествия на престол» в Благовещенской церкви звонят «вовся», и этим трезвоном сопровождается весь ритуал «парадного выхода» Романовых и их свиты. В той же церкви вскоре вдруг появляется «чудотворная» икона из Абалакского монастыря. А в день имении Николая здесь за обедней с амвона возглашается громогласное многолетие царствующему (?!) дому.

Помимо духовного фронта, Гермоген не обошел и мирской. Тогда в Тобольске заметной силой был «Союз фронтовиков», объединявший офицеров и унтер-офицеров из купеческих и кулацких сынков. Гермоген не упустил случая втереться в доверие и завязать связи — пригодится воды напиться. Главе этого Союза — авантюристу и провокатору Лепилину — он выделил для нужд организации несколько тысяч рублей. Союз после этого стал готовой базой для проведения любой провокации по указанию заговорщика в архипастырской рясе.

Не бездействовали в это время и другие группы «друзей престола и отечества».

Тот же Марков-второй говорил Соколову в Париже: «В сентябре (1917 года) мы решили послать в Тобольск своего человека для установления связи с царской семьей и, буде того потребуют обстоятельства, — увоза ее. Наш выбор пал на офицера Крымского полка, шефом которого была императрица, господина N (между прочим, пасынка печально известного ялтинского генерал-губернатора Думбадзе)... Он известил нас о своем прибытии в Тюмень... Мы стали обдумывать вопрос о посылке других офицеров в Тобольск».

А туда уже направились такие же посланцы от других групп, в частности от Вырубовой. Требовалась координация сил и методов. Но, сообщал далее Марков, Вырубова не захотела ни с кем делить славу «спасителя отечества» и дала понять, что она будет действовать самостоятельно. С ее чрезвычайными полномочиями в Тобольск в январе 1918 года поехал офицер Сергей Марков.

С обоими посланцами — марковским офицером N и вырубовским офицером Марковым — получилось, однако, что-то непонятное. Первый из них, сообщив вскоре о своем прибытии в указанное место, замолчал и ничем больше не напоминал о себе. Другой посланец не сообщил о прибытии на место, но... в апреле вернулся. Что-то путанно болтал, хвастал о большой работе, проделанной им в Тобольске, и, как вскоре выяснилось, в Тобольске вообще не был.

Ларчик раскрылся просто, но значительно позднее, года через два, когда секрет его уже никого не мог интересовать. Оказалось, что неудачи двух эмиссаров, как и некоторых других, направленных вслед за ними, были связаны с именем еще одного резидента монархистов, Бориса Соловьева.

Этот «особо надежный» резидент спутал все карты пославших его участников большой игры и попытку организации побега Романовых превратил в фарс. В конце концов, в декабре 1919 года он был схвачен во Владивостоке колчаковской контрразведкой как «большевистский агент».

Узнав об аресте Соловьева, вездесущий следователь Соколов добился свидания с ним. За несколько дней до того как его «пустили в расход», Соловьев успел поведать историю своей жизни.

Сын видного в петербургской духовной камарилье человека — казначея святейшего Синода, Борис Николаевич Соловьев еще с 1915 года был связан с распутинским кружком, куда его ввел родитель, давний и близкий приятель «старца». То ли случай, то ли какой-то хитрый расчет привел юного распутинианца в дни Февральской революции в Таврический

дворец, где он стал офицером для поручений при председателе Военной коллегии Думского комитета. Однако и теперь, адъютант высокого чина, прапорщик 2-го пулеметного полка, связей со своим кружком он не порвал. Именно за верность идеям и памяти «старца» главари кружка решили направить резидентом в Тобольск вроде бы скомпрометировавшего себя службой Временному правительству прапорщика-адъютанта. В августе 1917 года он выехал в Тобольск.

В Сибирь Соловьев мчался буквально по пятам «царского поезда». С ходу пытался проникнуть к Гермогену, но это почему-то ему не удалось. Соловьев тут же исчез из Тобольска, но спустя некоторое время вдруг вынырнул в селе Покровском — на родине Распутина. И не кем-нибудь, а... зятем убиенного «старца». 5 октября дочь Распутина Матрена стала его женой, и молодая чета переселилась в Тюмень, где Соловьев стал жить под именем Станислава Корженевского.

Нельзя сказать, что этот брак был идиллически счастливым. Соколову удалось перехватить дневник Распутиной-Соловьевой, из которого явствовало, что хотя Матрена страстно обожала своего «душку-офицерика», он не платил ей взаимностью — супруги жили как кошка с собакой.

В Тюмени Соловьев обосновался не случайно. В Тобольске, относительно небольшом и отдаленном городке, где всякое новое лицо на примете, действовать ему, не обращая на себя внимания, было бы невозможно. Тюмень же стояла на пути из России в Тобольск и представляла собой настоящий проходной двор на великом транссибирском пути — очень удобное обстоятельство для маскировки. А связь между Тюменью и Тобольском была довольно хорошей.

Как ни пытался после Соколов в своей книге «дезавуировать» роль Соловьева в сношениях с Романовыми, ему это не удалось.

Факты говорят, что именно через Соловьева шла вся переписка Тобольска с Петербургом. Шли письма, посылки, деньги. Основным адресатом в Тобольске была Александра Федоровна, в Петербурге — Вырубова. Роль посредников

играли горничные царицы — Уткина и Романова. Они приехали в Тобольск позднее, поэтому в губернаторский дом их не допустили. Но, устроившись жить на частной квартире, они обрели другую выгоду — свободу и бесконтрольность.

Стоит заметить, что обе горничные были не просто слугами царицы, но и верными распутинианками, членами вырубовского кружка, конечно, на особом положении. Соколов выпытал у Соловьева, что деньги, посылаемые Вырубовой в Тобольск, передавались Уткиной и Романовой, а уж через них дальше, по назначению — Александре Федоровне. И большинство их (если не все целиком) прошли через руки Соловьева. Возможно, что основная часть денег прилипла к этим рукам.

Как показывали свидетели, «иногда у него совсем не бывало денег, а иногда он откуда-то доставал их и сорил ими».

Живя в Тюмени, Соловьев служил форпостом связи тобольских «изгнанников» с их петербургскими друзьями, и все посланцы, зная это, не миновали его. А он сковывал все их действия и намерения, не желая передавать инициативу, а значит, и средства в другие руки.

Так оказался в дураках «канувший в воду» посланец Маркова-второго офицер N. Он «нашелся» лишь в ноябре 1918 года, когда с царской семьей все было кончено. Явившись к следователю Соколову, он доложил, что его сбил с толку Соловьев, приказав законспирироваться и не давать о себе никаких вестей. Офицер послушался и под именем Сергея Соловьева устроился служить в какую-то воинскую часть тюменского гарнизона, где и прослужил, командуя эскадроном, вплоть до вступления колчаковцев в Тюмень.

Другой посланец от Вырубовой, Сергей Марков, выехав из Петербурга в январе 1918 года, уже в апреле вернулся обратно. Он, правда, сумел вручить Татищеву и Долгорукову деньги (25 тысяч), предназначенные для передачи Романовым, но больше ничего не сумел сделать — от дальнейших шагов его отговорил все тот же Борис Соловьев, он же Корженевский.

Романовы об этом тогда еще не знали. Жильяр записывал 17 марта 1918 года в дневнике: «Государь и государыня, несмотря на растущие со дня на день неприятности, все же надеются, что найдутся между оставшимися верными хоть несколько человек, которые попытаются их освободить. Никогда еще обстоятельства не складывались более благоприятно для побега, чем теперь. Ведь при участии полковника Кобылинского, на которого в этом деле заранее можно с уверенностью рассчитывать, так легко обмануть бдительность наших тюремщиков, особенно если принять во внимание, что эти люди... крайне халатно несут службу. Достаточно всего несколько стойких, сильных духом людей, которые бы планомерно и решительно вели дело извне. Мы уже неоднократно предпринимали шаги в этом направлении по отношению к императору, настаивая, чтобы он держался наготове на случай ожидаемой возможности».

И далее, спустя несколько дней:

«26 марта... Из Омска прибыл отряд красных, силою более 100 человек: в тобольском гарнизоне это первые солдаты-большевики. У нас отнята последняя надежда на побег. Но государыня говорит мне, что у нее есть причины думать, что среди этих солдат много бывших офицеров. Равным образом она утверждает, не указывая точно, откуда она это знает, что в Тюмени собралось 300 офицеров».

Дочь лейб-медика Боткина, Татьяна Мельник, жившая с отцом в то время в Тобольске, подтверждает, что к этому имелись основания. С ее слов Соколов записал:

«Надо отдать справедливость нашим монархистам, что они собирались организовать спасение их величеств... Петроградская и московская организации посылали многих своих членов в Тобольск и Тюмень, многие из них там даже жили по нескольку месяцев, скрываясь под чужим именем».

Обстановка для побега Романовых долгое время действительно была весьма благоприятной. В городе до начала 1918 года сохранялась власть комиссара Временного правительства и Городской думы. В Тобольском Совете сидели

меньшевики и эсеры. Функционировал реакционный «Союз фронтовиков». Епископ Гермоген действовал на свободе до самого момента отправки Николая Романова в Екатеринбург: его арестовали только 28 апреля. Во главе охраны Романовых стояли «на все готовый» полковник Кобылинский и мямля-эсер Панкратов. Словом, бери сапоги в зубы и дуй до горы. Тем более, что где-то невдалеке, на Иртыше, все это время кого-то ждала до весны шхуна «Мария».

Лишь в марте обстановка начала меняться. 1 марта для Романовых и их свиты был введен усиленный режим, большая часть прислуги была снята со свободного положения в доме Корнилова и переселена в губернаторский дом под общую охрану. «Татищевым и Долгоруковым запретили шляться по городу, пообещав, в случае непослушания, прибить их», — свидетельствовал офицер охраны прапорщик Матвеев.

В первых же числах марта в Тобольск прибыл посланец екатеринбургских большевиков матрос П. Д. Хохряков, неделей позднее, из Екатеринбурга же, отряд Уралсовета, составленный из рабочих-большевиков Злоказовского завода, а 26 марта — тот самый отряд омичей под командованием Демьянова и Дегтярева, о котором так панически писал Жильяр в своем дневнике. Добавим, что 9 апреля Хохряков стал председателем Тобольского Совета и начал наводить в городе революционный порядок.

К тому времени Уралсовет тайно послал вооруженные отряды в далекие тылы Тобольска, перекрыв дороги на север, на восток и на запад (с юга имелся надежный щит — Тюмень). Но Романовы, конечно, ничего об этом не знали, продолжали лелеять мысли о побеге.

Вполне объяснимо, что драгоценности были последней и очень крепкой надеждой на материальное обеспечение этого предприятия, и поэтому их следовало держать наготове. Именно в это время — в марте-апреле 1918 года — их, вероятно, и постарались вынести из губернаторского дома и поместить в какое-то новое, надежное, но близкое убежище.

Никто из Романовых сам вынести драгоценности «на волю», конечно, не мог.

Но — кто тогда мог это сделать? И куда он их девал? Сам ли он, этот посредник, выбрал тайник и спрятал в него ценности или передал кому-то? Кому?

На вопрос «кто?» можно было дать сотню ответов: свита, прислуга, тоболяки, имевшие доступ в губернаторский дом, — любой из них мог, теоретически, взять на себя эту миссию.

Но все-таки для одних это было легче, для других труднее, одни лица казались более подходящими для этой цели, другие — менее. Михеев взял приведенный в книге Соколова список тобольской свиты и челяди Романовых, дополнил его по другим источникам и попробовал оценить с этой точки зрения каждое имя. Генерал Татищев? Гм... Мог, но вероятностей все же мало: в марте восемнадцатого года он уже не располагал правом, как прежде, свободно ходить по городу. То же — князь Долгоруков? Доктор Боткин? Этот, пожалуй, мог — у него и дочь тут же неподалеку жила. Графиня Гендрикова тоже могла, ей очень доверяла Александра Федоровна. Мог Пьер Жильяр — он, имея заграничный паспорт, чувствовал себя свободнее других, беспрепятственно ходил по городу тогда, когда другим это было запрещено. Могли камердинеры, горничные, любимые лакеи. Мог даже полковник Кобылинский, хотя для него это вроде было бы неудобно...

Список вероятных лиц рос и рос. Но общий «реестр» поубавился, можно было с большой долей уверенности зачеркнуть в нем фамилии поваров, поварят и «кухонных служителей», не вылезавших из своего подвала и в комнаты не допускавшихся.

Поубавиться-то поубавилось, однако не на очень много. Список по-прежнему был велик. Как его сократить еще, чтобы методом исключения прийти к минимуму наиболее вероятных на эту роль фигур?

— Постой... — оборвал себя Михеев. — А нет ли кого из них сейчас в живых, где-то поблизости? Ведь жил же, оказывается, много лет после этого в Тобольске Каменщиков. Да,

да — тот самый, что вынес шпагу наследника и передал ее отцу Алексею. Может, и еще кто-то, подобно ему, обретается под боком? Пусть даже и подальше — найти можно, игра стоит свеч.

Михеев по-новому пересмотрел свой список, вычеркивал тех, о ком знал, что их уже нет в живых. Список заметно поубавился. Выслав копию его Сандову, Михеев выехал в Свердловск.



КОРИЧНЕВАЯ ШКАТУЛКА

В эти дни, дни ожиданий и надежд, дорога от дома до Управления была для Михеева нелегкой.

Похрустывал под ногами ледок, застекливший ночью лужицы на булыжной мостовой. В глубине улицы громыхали телеги ломовиков, ленивой чередой тянувшихся к станции. Хлопали щеколды калиток, выпуская из дворов идущих на работу людей... Утро рядового рабочего дня.

Вон тот, только что вышедший из подъезда дядя, с металлическим метром, защемленным за карман куртки, наверное,

строитель. Он вечером вернется, зная, что дом, который он строит, поднялся на два-три ряда кирпичей. Поднялся. На столько-то. И это видно. И ему, и всем.

А этот, что озабоченно пересекает улицу, на ходу застегивая немудрящее свое полупальто с залоснившимися от машинного масла рукавами, — наверное, токарь. Ложась спать, он вспомнит десяток выточенных им сияющих стальным отливом деталей какой-то очень нужной машины. Завтра в другом цехе из этих деталей родится машина.

И даже вон тот, что идет по той стороне с портфелем под мышкой, — за вечерним чайком с увлечением расскажет жене, как ему сегодня удалось успешно решить вопрос об открытии новой рабочей столовой и даже — ты подумай! — посчастливилось заранее достать для нее комплект посуды, и не каких-нибудь там глиняных мисок, а настоящие фаянсовые тарелки: пусть по-человечески ест рабочий класс!

— А ты, Михеев? Что дашь стране сегодня? — пытал себя он. — Ты не поднимешь строящийся дом на два ряда кирпича, не выточишь десятка деталей для новой машины и не раздобудешь посуду для рабочей столовой. Но зато, если... Если развяжешь этот тобольский узелок и найдешь узелок с драгоценностями... Сколько новых машин, тракторов, экскаваторов, оборудования для новостроек пятилетки можно будет приобрести на валюту, вырученную от одного только ожерелья, если... Если оно существует, черт его побери, и если его удастся найти...

И, ускорив шаг, он почти вбегал в подъезд, нетерпеливо открывал тяжелую дверь, пройдя длинный коридор, молча заглядывал в окошко секретарши отдела.

— Вам нет, — коротко отвечала обычно на его немой вопрос Тамара Михайловна, строгая седая женщина. Она работала тут с незапамятных времен и поэтому несколько покровительственно относилась к «совсем еще юноше», каким считала Михеева.

Но сегодня она чуть заметно улыбнулась ему и, взглянув на угол стола, где возвышалась стопка папок с приготовлен-

ной почтой, как бы припоминая — что там, в них, обнадежнла:

— Кажется, есть. Ждите, принесу.

— Тамара Михайловна, мнлая, дайте хоть взглянуть, — взмолился Михеев.

Но она лишь укорнзненно посмотрела на него н, не удостоив ответом, взялась за перо.

Час спустя Михеев читал сообщение Саидова: Каменщиков жнвет в Тюменн.

Уже от одного этого нзвестия можно было возлнковать: заевший было механизм снова прнходил в двнжение. Но Сандов сообщал и еще не менее интересные вестн: в Тобольске нашлась Паулина Преданс, прислуга графнни Гендрнковой. Через нее добыты адреса Никоднмовой — старой гувернанткн графннн, Гусевой — горничной у дочерей Нниколая, и — кто бы мог подумать! — самой Битнер-Кобылинской, супруги покойного полковннка. О Гусевой Саидов даже приложнл справку.

«Гусева Анна Яковлевна, — читал Михеев. — Горничная, или «комнатная девушка», как она чнслнлась по дворцовому штату. Давняя и преданная слуга Романовых. В 1893 году, окончив ремесленную школу, работала белошвейкой на дому. В 1904 году была принята на службу во дворец, горничной при великих княжнах. В Тобольск прнехала не вместе с Романовыми, а несколько позднее, вместе с другой горничной, Анной Романовой, отнюдь, однако, не принадлежавшей к царской дннастии. В губернаторскнй дом нх охрана не допустнла: они не были в первоначальном спнске служащих, утвержденных для поездки в Тобольск. Жнли в гостнннце и на частных квартирах. К ним «в гости» захаживал камердинер Александры Федоровны Волков. Очевидно, через него они получали какие-то поручения Романовых, н хотя нх ни разу не допустили в губернаторскнй дом, обе горничные жили в Тобольске все время, пока там находнлнсь их бывшие хозяева. И даже после того как нх увезли в Екатеринбург. И Гусева и Романова покинулн город только после эвакуа-

ции белых, тоже эвакуировались в Сибирь. Гусева добралась до Ачинска, потеряв подругу где-то по дороге. После разгрома Колчака снова вернулась зачем-то в Тобольск, но ненадолго, вскоре переехала куда-то под Ленинград. Служила на разной конторской работе. Теперь — счетовод школы-семилетки».

— Ай да Саша, молодец! Не безнадежен, как сказал бы Патраков. — Михеев даже похлопал ласково по саидовским бумагам, как похлопал бы его плечо, будь он сейчас здесь, рядом.

Вскоре Михеев мог уже встретиться с важными свидетелями.

«Никодимова Викториния Владимировна, — записывал он показания, — 72 года. Девица (при этом она вызывающе вздернула голову). Кончила Смольный институт благородных девиц. В течение 25 лет, до 1918 года, служила воспитательницей («гувернанткой, если хотите» — добавила она снисходительно) у графини Анастасии Гендриковой. Вместе с графиней, как близкий ей человек, приехала и в Тобольск в царском поезде. В Тобольске жила в комнате Гендриковой в доме Корнилова, напротив губернаторского дома, в который, кстати сказать, ее не допускали. Была знакома с начальником охраны полковником Кобылинским и его женой. С Гендриковой расстались в Екатеринбурге, куда ее великовозрастная подопечная выехала вместе с царской семьей и где она была арестована, а Никодимова вернулась в Тобольск и прожила там до 1920 года. От Гендриковой остались коекакие ценные вещи, но еще перед отъездом в Екатеринбург Викториния Владимировна сдала их вместе со своими на хранение. Обратно их не получила — сказали, что украдены...

Гендрикова доверяла ей все. Оставила даже доверенность на перевод крупной суммы — 25 тысяч рублей — со счета в Пермском банке на Учетно-ссудный банк Персии. Никодимова сохранила чек («мне не надо чужого!»). Зашитый в тряпочку и закупоренный в бутылочку, он так и лежит в комоде на ее квартире в Крестцах под Ленинградом...»

— Я женщина строгих правил, — с достоинством заявила она Михееву, откинув седую голову на длинной жилистой шее. — Мне их внушали с детства. Прошу вас не думать обо мне плохо. Не скрою, я любила и продолжаю любить покойную Anastasie. Но больше винить меня не за что, уверяю вас.

— Мы и не думаем судить вас, — заметил ей Михеев. — Мы просим только помочь нам.

— Постараюсь, — заверила старая дама.

Но беседы с ней пришлось отложить: прибыл Каменщиков. А его-то Михеев ждал с особенным нетерпением.

— Каменщиков Александр Петрович?

Невысокий пожилой человек, в добротном некогда, но уже изрядно потраченном временем сюртуке, таком необычном в годы толстовок и френчей, угодливо поклонился:

— Да-с.

— Возраст ваш?

— Пятьдесят четвертый с весны.

— Работаете?

— Тружусь, — подтвердил кивком головы Каменщиков. — Огородником при подсобном хозяйстве. Рассказать о себе? Биография моя, смею заметить, простая, трудящая, хотя и с перипетиями. Родился в Ливнах, Орловской губернии, где родитель мой управлял имением помещика Адамова. Образованием не похвастаюсь, трехклассное церковноприходское. Но почерк выработал с детства — получалось, хвалили. Потому, когда родитель помер, заработок себе нашел скоро, за красивый почерк охотно брали меня господа купцы на письменную работу. Стал конторщиком, приказчиком, в брак вступил, остепенился. Так бы и служил по купеческой части, да бабушка супруги моей, кичившаяся дворянством своим захудалым, захотела видеть нас на более почетном поприще. Внучку свою, а мою, значит, супругу, устроила в услужение

к княгине Голицыной, а меня в канцелярию камер-фурьера, что размещалась, как, вероятно, изволите знать, в Петергофе. Писцом. Почерк мой и там одобрили.

— Камер-фурьер — кто это?

— Камер-фурьер, позвольте пояснить, это придворный чин, наблюдающий за парадными обедами и церемониями. Ну и за всем, причастным к этому, — посудой, столовым бельем, прислугой. В архиве нашем, ведущемся еще со времен Екатерины Великой, находил я прелюбопытнейшие вещи: записи о балах, машкерадах, свадьбах, спектаклях, описания всевозможных церемониалов и торжеств придворных, записи о путешествиях государей по империи и за границей, о приемах разных лиц... Отвлекаюсь? Извините великодушно...

— Ничего, продолжайте.

— В канцелярии этой самой я, значит, и прослужил до самого отречения государя-императора, до падения самодержавия то есть. Мы, служащие, тогда, конечно, растерялись, кое-кто уже и должность свою бросил. Но вскоре к нам приехали Александр Федорович Керенский, министр-председатель, и успокоил нас, заверив, что честным служащим не грозит никакая опасность, что разной работы нам предстоит еще много, службу бросать никак нельзя, а жалованье нам будет идти своим чередом, аккуратно. Служащие наши, народ вышколенный, степенный — как тут откажешь, если сам премьер-министр просит... Вот и остались многие. А уж в августе семнадцатого года был я включен, по приказу Александра Федоровича, в список прислуги, что вместе с государем и его семейством должна была выехать в Тобольск.

— Чем же вы занимались?

— Числился писцом, хотя работы письменной, осмелюсь доложить, много не было. Записывал повеления и указания: что к обеду готовить, кого не забыть с днем ангела поздравить. Письма, когда надо, под диктовку писал. Не приватные, конечно, а служебные. А главное, домашнюю бухгалтерию

вел — куда, кому и за что деньги плачеиы, сколько в иалични есть посуды, белья н прочего такого. В свободиое время развлекался — дрова пнлил. Одиако в этом деле главиым был у иас сам государь. Большииство долготья самолично перепилил, хотя колоть, правду говоря, сам ие любил. А уж забавлялись с ним этим делом, иадо сказать, все, от геиерала Долгорукова до последиего повареика. И я был приглашен к сему. Господии Жильяр, Петр Аидреевич, фраицузский учнтель, изволил сфотографировать меия тогда в паре с монархом за работой. Была у меия и карточка, да затерялась где-то... В мае, надо быть, восемиадцатого года увезли нас с оставшимнся членами императорской фамилии в Екатеринбург, но в дом ипатьевский ие допустили: иечего, говорят, там делать, много прислуги ие требуется. После... э-э... ликвндации царя я возвратился в Тобольск и жил там до двадцать пятого года. Потом уехал в Тюмеиь, где безвыездио н проживаю вместе с семейством своим, супругой Натальей Иваиовной и сыиом... О царских драгоцеииостях? Не посвящеи был в сии дела. Сами поиимаете — мелкая сошка...

Но ие такой уж мелкой сошкой оказался он на самом деле. Услужлпвый и вериый слуга, вышколеииый миоголетней дворцовой службой, пользовался у Романовых в Тобольске большим доверием. Через иего, иапример, посылалнсь подарки угодным людям. Через него шла почта. Ои выиес нз губериаторского дома шпагу Алексея. Через иего шли многие передачи Романовым н от них. Не все н не всегда прн этом доходило до адресата: вспоминали, что «августейшим узникам» в какой-то праздиик передали торт, ио Каменщиков предпочел полакомиться им сам — уиес домой. Поговаривали, что ои вообще иеплохо погрел руки иа царской службе в Тобольске.

Сношеиия с городом облегчало ему и то, что, в отличие от многих служащих, ои жил ие в губериаторском доме, а на частной квартире — у отца Алексея.

Прихватив, по старой дворцовой привычке, узелочек остатков с царского стола, чинно шествовал он, бывало, вечером, окончив службу, в свой флигелек на поповской усадьбе, деля потом трапезу за водочкой со своим квартирохозяином.

Не хитро было в этих примелькавшихся охране традиционных узелках вынести что угодно. И слуги выносили, когда надо было. Когда почту и передачи по поручению Романовых, а когда и посуду, безделушки, белье — это уж по собственной инициативе, для своих нужд. Однажды даже срезали портьеры в зале, чем ввели в замешательство самого комиссара Панкратова...

Писец по совместительству исполнял обязанности тайного почтальона. Почтовой конторой служил архиерейский дом. Открылось, что Каменщиков принимал участие в каких-то секретных совещаниях с епископом Гермогеном. На одном таком совещании, в присутствии преосвященного Варнавы и отца Алексея, были переданы письма Александры Федоровны к матери Николая — Марии Федоровне, а также и другим адресатам, в том числе Вырубовой.

О своих коллегах по тобольской службе Каменщиков вспоминал охотно, не скупясь на нелестные эпитеты.

Камердинера бывшего царя, Терентия Чемодурова, он с ходу охарактеризовал старой лисой, не гнушавшейся прикарманить то, что плохо лежало в царских шкафах и чемоданах. Писец и камердинер в свое время, видно, не очень ладили.

— Золотых, серебряных и вообще ценных вещей у этого жмота хранилось изрядное количество. Перед отъездом в Екатеринбург с царской семьей он через посланца своего передал эти вещицы одному верному человеку. Будто это все подарки за беспорочную службу. Часы, знаю, трои были. Кулоны, браслеты, броши, перстни — дорогое все. Так говорили люди. Думаю — не зря... Ну, вернулся, значит, Терентий из Екатеринбурга в Тобольск и получил все свое добро обратно в целости и сохранности. Да только не пошло оно ему впрок, в девятнадцатом от тифа отдал богу душу, а ценности

жене оставил. Неонила же Семеновна, женщина ума небогатого, вскорости лншилась их. Сначала буфетчик царский, Еремей Солодухнн, дружок ее покойного супруга, сумел выманить у нее под каким-то предлогом немалую толику добра этого, а тем, что еще осталось, нахально завладел другой злодей, иеродьякои Феликс. Прожжениейший плут, осмелюсь доложить...

Особеиио досталось от Камеищикова покойному отцу Алексею, которого ои считал виновником похищения доверенной ему шпагн наследннка.

— А что вы еще выносили от Романовых? — спросил Михеев. — Какие-иибудь драгоцеииости?

— Ннкак иет, — почтительно, но твердо ответил Каменщиков. — Не причастеи. Это, иадо думать, по дамской части шло. Драгоцеииостн находилнсь в веденин царицы, а оиа меня не очеиь жаловать нзволила. К тому же у нее свой личный камердииер был — Алексей Волков. Судите самн — ему илн мне доверила бы она сокровища, коим, я думаю, цены иет.

Довольный логичностью своих доводов, он откннулся на спинку стула, с некоторым торжеством глядя иа Михеева.

— А уж если Алексей Андреич Волков, скажем, оказался бы ни при чем, — продолжал он после паузы развнвать понравившуюся ему мысль, — то без дамского полу тут ннкак бы не обошлось. Графинюшка Анастасня Васильевна — я о Гендрнковой говорю — прн царице своим человеком была с детства. Личная фрейлнна, арнстократка, наперсница, можно сказать. С Анной Александровной Вырубовой давиие подругн. В переписке состояли. Куда перед ней Алешке Волкову, лакейской душе!

— Это предположения ваши или у вас есть какие-то данные?

— Чего изволите? — переспроснл Каменщнков, пожалуй, больше для того, чтобы выиграть время. — Документов на это не имею, дело, сами поннмаете, потайное, тут не только что документов, свидетелей лншних старалнсь избегать. Могу

доложить, однако, что у графинюшки царские вещицы бывали, это уж точно. И не их ли она в зашитых мешочках через приживалку свою, Викторину Владимировну, прятала где-то? Где и как — не знаю, а только Викторина эта самая потом очень сокрушалась, что мешочки будто бы пропали. Врала, я думаю, для отвода глаз.

— Для чего бы это?

— Как для чего? Ворочалась ведь она потом в Тобольск-то. И что-то вскорости опять уехала. Тут и сомневаться нечего: выкопала она эти мешочки и подалась куда глаза глядят. С таким добром везде рай. По заграницам порхает где-нибудь, божий одуванчик...

В тот же день Михеев передал Никодимовой слова Каменщикова. «Женщина строгих правил» была безмерно возмущена. Надменно закинув голову, она с видом глубоко оскорбленной невинности отвергла навет.

— Этот человек, — брезгливо сипела она, — нагло лжет. Ни я, ни Anastasie никогда ничего чужого не брали. Не могли взять. Я бы скорее покончила с собой, чем пошла на это. На сохранение? Но мы и своего-то не смогли сохранить. Те мешочки, о которых он говорит... Да, они были. Это наши bijou *, дамские украшения. Мои — скромные, конечно, и графинины — довольно ценные. Там был такой солитэр!.. И они пропали. У нечестных людей.

— Так вы их не прятали, а передали на сохранение?

— Вот именно, — удовлетворенно кивала головой Никодимова. — А за границу, как видите, я не уехала. Хотя и могла, меня звал с собой кузен графини. Но я решила умереть en patrie, на родине. А этот господин... — снова нахохлилась она, — Каменщиков, кажется... Он должен был бы рассказать о другом. О фермуаре Александры Федоровны.

— То есть об ожерелье?

— Ну да. Я его знавала, этот фермуар. Императрица ко-

* Bijou — бижу — ювелирные драгоценности (*фр.*).

роновалась в нем. В «Journal de Paris» писали, что ювелир получил за него тысяч двести, если мне не изменяет память.

— А при чем тут Каменщиков?

— При том, — вытянув указательный палец, многозначительно произнесла Никодимова, — при том, что фермуар видели в Тобольске на груди у жены этого... писаря.

— Вы сами видели?

— Я не имела... э-э... счастья знать госпожу писаршу. Но — говорили люди. Скажем, та же Евлалия Ильинична.

— Фамилия?

— Простите, не помню. Бойкая такая дама. И — нюхает табак.

В тот же день Михеев «заказал» Саидову эту новую свидетельницу. Нюхательницу табака найти оказалось нетрудно: в городе ее знали. Через три дня она уже сидела в кабинете Михеева.

Жеманная старушка в черной кружевной мантилье, обильно испускающей запах нафталина, охотно поделилась воспоминаниями о супруге бывшего царского писца. Морща неопрятный красненький носик и округляя от возбуждения глаза, она в подробностях нарисовала картину, когда увидела обычно скромно одетую Наталью Ивановну при столь шикарном украшении.

— Зашла это я к Наталье Ивановне, а ее дома нет. Говорят, скоро будет. Посидела я, дождалась. И вправду скоро вернулась. У матушки-попадьи на именинах была с Александром Петровичем. А жили они на одном дворе, вот и пришли неодетые, только что у Натальи Ивановны полушалок на плечах. Вернулась она, значит, шаль перед зеркалом в прихожей скинула и за шею схватилась. Да так испуганно. И на меня посматривает. Платьишко на ней, скажем прямо, с претензией, но не ейное, перешитое из царских обносков. Зато на шее-то... Жемчуга! Да какие — любой царице впору. На ней, на царице-то, и видели этот жемчуг в святую обедню как-то. Вот, значит, прикрыла Наталья Ивановна жемчуга

этой рукой, думает — не замечу. А я ей ласковенько: «С приобретеньицем, моя дорогая... Где же вы это, душечка, такое сокровище достали?» А она поскорее, бочком, мимо меня — в будуар, в спальню то есть. Переоделась, жемчуга сняла и вернулась. «Это, — говорит, — бабушки моей наследство. Недавно прислали. Померла бабушка». А мы и не слыхивали о таком ее горе, поведала бы нам непременно. Сказала она это и на мужа испуганно поглядывает. А тот хмурится. И меня выпроваживает — иди, говорит, Евлалия Ильинична, спать пора. Куда потом ожерелье девалось, не знаю. Никто его больше не видывал.

Дело как будто вступало в решающую фазу — нашлось одно из самых главных звеньев его. Ожерелье вынес Каменщиков. И он — здесь. Но Михеев не спешил ликовать, горький опыт с поиском шпаги научил его сдержаннее оценивать первые обнадеживающие факты. Было — еще не значит, что есть сейчас.

Почти так оно и вышло.

Каменщиков от очной ставки с любительницей нюхать табак отказался, заявив, что он и сам согласен признать: да, ожерелье было в его руках.

— Где оно? — допытывался Михеев, сознавая, что на правдивый ответ надежды мало.

— Тут, изволите видеть, такая история была... — плел свою канцелярско-лакейскую словесную вязь Каменщиков. — Прощения прошу, что утаил, согласно испугу по неопытности... Ожерелье это мне надела на шею Ольга Николаевна, великая княжна. Позвала меня в комнату, пальчики к губам приложила, велела молчать. Потом достала из-за жакета ожерелье это, надела мне на шею, перекрестила и на ухо прошептала, чтоб вынес и сохранил до завтра. Сегодня-де они ждут обыска. А завтра скажут, как поступать дальше. Сами понимаете — служба, сопротивления оказать не мог. Принес домой, снял с себя сей жемчужный ошейник и в шкатулку к жене положил. А вечером, как на грех, у отца Алексея, квартирохозяина моего, день ангела. Алексеи весенние — марта семна-

дцатого, так, кажется. Были приглашены и мы с супругой. Я-то пришел пораньше, а Наталья Ивановна позднее — сына спать укладывала. Когда она появилась, я чуть сознания не лишился, увидевши на плебейской ее шее царское ожерелье. Вытолкал дуру в переднюю, понужнул по шее и увел домой, благо только через двор перейти. А дома новая оказия — сидит эта носатая пигалица и табачок понюхивает. Еле выпроводил. Вот какая история приключилась.

— Без конца пока история-то. Что стало с ожерельем потом?

— На другой день у меня его уже не было. Днем Ольга Николаевна шепнула, чтобы я отнес ожерелье бывшим горничным ихним, Гусевой или Романовой, они на частной квартире жили. Так я и сделал, как сказано.

Михеев положил перо и, помолчав, спросил — просто, как в дружеском разговоре:

— Как вы думаете, Александр Петрович, держали бы нас здесь, если бы мы верили каждому слову из тех, что нам говорят такие, как вы?

— Не смею загадывать, — уклончиво ответил Каменщиков. — Однако прошу верить. Чистую правду сказал.

— А как нам проверить — правда это или нет?

— Хотел бы подсказать, да не возьму на себя смелости. Не умудрен в делах таких.

— А вы осмельтесь, это ничего.

Каменщиков задумался, поглаживая усы.

— Кабы кто из них жив был, Гусева эта или Романова, надо быть, подтвердили бы слова мои.

— А если живы, да не захотят подтвердить?

— Тогда уж не знаю как.

— Подумайте. От этого многое зависит. Верить вам на слово я не могу, сегодня вы опять подтвердили это. Подумайте и о том, что вы знаете еще о романовских ценностях. Что выносили и прятали вы сами или что прятали другие. Чем скорее расскажете все это, тем скорее поедете домой. Договорились?

— Вспоминать мне больше нечего. А вообще, как прикажете, — сухо ответил Каменщиков, явно недовольный исходом разговора.

Обыск в доме Каменщикова на окраинных огородах Тюмени ничего особенного не принес. Разнокалиберная посуда — тарелки и чашки из дворцовых сервизов, дюжины две ложечек — десертных и чайных, с вензелями и гербами. Не брезговал в свое время царский писец и мелочью — пепельницами, солонками, то есть тем, что входило в карман. Ни ожерелья, ни шпаги, ничего другого, действительно ценного, не оказалось.

«Прячет? Сумел продать? Или действительно передал все, что выносил, по назначению? — гадал Михеев, перечитывая протокол обыска. — Могло быть и то, и другое, и третье. А могло и так: часть продал, часть прячет, часть — передал».

Неожиданным шансом в пользу Каменщикова было признание Гусевой. Да, она получила от него сверток, не зная, что в нем, для передачи... полковнику Кобылинскому. И, как утверждает, передала. Сошлось и время — март восемнадцатого года.

Предстояло еще допросить Преданс, бывшую прислугу Гендриковой.

Паулина Касперовна Преданс, несмотря на то, что всю свою 56-летнюю жизнь прожила в России (Рига, ее родина, в то время входила в состав Российской империи), так и не сумела овладеть русской речью.

Она говорила как человек, первый месяц живущий в чужой стране, — с трудом подбирая (и все-таки перевирая) слова, неправильно строя фразу, неимоверно коверкая произношение. Вместо «пыль» она говорила «пил», вместо «рыба» — «рипа», «люблю» — «лублу». Свой родной язык она, кажется, давно и полностью забыла, а хорошо помнила лишь немецкий, на котором ей приходилось разговаривать в доме высокопоставленной придворной дамы, где она долго служила при-

слугой. В остальном же она достаточно основательно освоила русские манеры, обычаи, нравы и утирала губы кончиком платка точь-в-точь, как это делают подмосковные бабы.

Высокая и тощая, коротко стриженная, с тоненьким и длинным, как хоботок, носиком на подернутом оспенной рябью лице, Паулина Касперовна и обликом своим являла какую-то странную смесь русского и иноземного, дополняя эту необычность помесью манер простой русской бабы и бывалой приживалки «приличного дома».

Закинув ногу на ногу и завинтив их в какой-то немыслимый узел, она попросила разрешения закурить, ловко выбила из надорванной пачки «Пушку» и глубоко, по-мужски затянулась, выжидательно глядя на Михеева, листавшего папку с ее документами.

Там можно было узнать кое-что о ее жизни.

Не молода — 56 лет. Родилась в Риге. Отец — техник. Училась в гимназии, но, кончив 4 класса, после смерти отца поступила в ремесленную школу. Уже взрослой, двадцати с чем-то лет, нашла более выгодным устроиться горничной в богатый дом. Вместе с хозяйкой ездила за границу, на фешенебельные курорты, обрела респектабельность великосветской прислуги. И не удивительно, что перед войной, в 1914 году, знакомая графиня рекомендовала ее на службу в царский дворец, на ту же роль горничной, в которой она достигла таких успехов. Однако во дворце служба длилась недолго: через три года у низложенного царя надобность в многочисленной прислуге отпала. В Тобольск она ехала уже сверх штата, на должности прислуги одной из фрейлин Александры Федоровны. После краха (как она называла конец Романовых) вынуждена была вспомнить о старой специальности, полученной еще в юности, и стала искусно кроить заготовки для модной обуви, снискав вскоре славу умелого мастера. Заработок кустаря-надомника неплохо кормил ее все эти годы.

Уже по первым двум-трем вопросам она смекнула, о чем будет речь, и с охотой, показавшейся Михееву поспешной, а также с подробностями, многие из которых были явно излишни,

выложила «все и даже немножко больше» (как она сказала) о том, что ей известно.

Да, она знает, что в Тобольске у Романовых было много драгоценностей. Знает, что в начале 1918 года их стали постепенно выносить из дома и передавать разным людям на хранение. Выносил писец Каменщиков — она сама видела, как он укладывал на птичнике в длинную куриную кормушку золотую шпагу Алексея и потом вынес ее под слоем тряпья и земли. Ему же кто-то из княжен надел на шею жемчуга, и он тоже вынес их. Выносил что-то в небольшом кожаном чемоданчике священник Благовещенской церкви отец Алексей.

Начальник охраны полковник Кобылинский не только способствовал этому, но и сам принимал участие в «перебазировании» ценных вещей. Хозяйка Преданс, Гендрикова, рассказывала ей под секретом, что полковнику была передана шкатулка с драгоценностями, главным образом с бриллиантами Александры Федоровны.

— Значит, Каменщиков, Владимиров, Кобылинский. А кто еще, кроме них, мог выносить и скрывать драгоценности?

Преданс выпустила двумя сильными струями через нос глубокую затяжку и отрывисто выдохнула вместе с клубами дыма:

— Могла. Многа бил посетитель. Многа хотел иметь куртаж.

— Какой куртаж?

— Ну... Прилипла к рука.

С давно накопившимся раздражением, даже, пожалуй, со злобой, кривя тонкогубый бескровный рот, Преданс перечисляла, кажется, всех, кто хоть когда-то был вхож в губернаторский дом и мог, по ее мнению, быть передаточной инстанцией в операции с драгоценностями.

Увы, список Михеева от этого не уточнился. Он лишь заметил про себя, что однажды Романовых посетила игуменья Ивановского монастыря и что постоянной ее посыльной ко двору была знакомая Михееву Марфа Мезенцева, носившая к «царскому столу» продукты из монастырских кладовых.

— Куда же, по-вашему, девались потом драгоценности?
Готовность Преданс не забыть никого свела на нет ценность ее ответа. По ее словам выходило, что эти люди сами и прикарманили то, что они должны были передать в другие руки. Отец Алексей будто бы продал часть их в Тобольске ювелиру Мерейну, а часть в Омске, с помощью сыновей, переселившихся туда. У Кобылинского шкатулку со всем содержимым купил купец со странной в этих краях фамилией — Пуйдокас. У камердинера Чемодурова, вернее, у жены его, ценности выманил иеромонах Феликс. Жильяр и Волков увезли свою долю за границу. А Каменщиков шпагу и ожерелье спустил на базаре. И так далее и тому подобное. Подозревать, что кто-то еще хранит доверенные ему драгоценности, она не хотела, просто не могла — ей казалось невероятным, что кто-нибудь мог не воспользоваться такой возможностью поживиться.

— Ну, а вы сами? — спросил ее Михеев.

— О нет, — со вздохом не то облегчения, не то сожаления тут же ответила Преданс. — Мне не попал ни крох.

«Вот оно что...» — подумал Михеев.

Каменщиков, которого Михеев свел на очной ставке с Преданс, удивился ей меньше, чем Паулина Касперовна ему.

— Жива, Литва? — спросил он пренебрежительно, бегло чиркнув по ней взглядом.

— А вы хочет, чтоб я бул мертвая? — отпарировала Преданс.

Михеев тщился не улыбнуться, слушая перепалку старых знакомых.

— Мстишь, Полина Касперовна? — обратился к ней Каменщиков, выслушав записанные Михеевым ее показания.

— Ненавижу вас, жадины! — вырвалось из-за стиснутых зубов у Преданс.

— Не жаднее тебя, Касперовна, — усмехнулся Каменщиков. — Знаем ведь, на что злыдничаешь... А что касается моей

личности, то граждаиин следователь изволит знать, кому я шпагу цесаревича передал и может ли какой дурак царскими ожерельями на базаре торговать.

Преданс не отвечала ему, высокомерно отвернувшись и комкая окурок своей «Пушки».

— А сама Преданс принимала участие в этих ваших делах?

— В нашем, осмелюсь заметить, нет. А, знаю, хотелось ей. Но только не было приказа допускать ее до этого дела. И, верно, не зря. После Полина Касперовна весьма настырно изволила шантажировать нас — и отца Алексея, и Терентия Ивановича Чемодурова, и нас с супругой. Требовала выделить ей долю для пересылки якобы чудесно спасенным царским отпрыскам. А мы-то знаем и то, где отпрыски в то время находились, и то, как Полина Касперовна левой рукой писать умеет.

— Так и не поделились, значит?

— Никак нет. Да и, сами знаете, нечем уже было, все ушло по адресу, согласно приказаниям.

Что все ушло по адресу, в этом, пожалуй, можно было не сомневаться — те, кто давал поручение, конечно, проследили за этим и ие оставили бы писца в покое. Но вот куда ушло, это еще оставалось неясным.

Михеев с нетерпением ожидал встречи с Битнер-Кобылинской.

Клавдия Михайловна Кобылиихская, супруга начальника охраны Романовых, иашлась в небольшом подмосковном городке, где мирно жила и учительствовала, тая от знакомых, да и от себя самой тоже, воспоминания об удивительных событиях, свидетельницей и даже участницей которых ей довелось быть.

Дочь какого-то некрупного чиновника, она, кончив гимназию, учительствовала в Царском Селе, основное население которого составляли служащие императорской резиденции — Александровского дворца, преподаватели знаменитого со вре-

мен Пушкина, лицея, слушатели военной академии да многочисленная группа литераторов и художников, привязанных к поэтической памяти этой «гавани муз». В войну, увлеченная общей волной сентиментально-преувеличенной заботы о «защитниках веры, царя и отечества», пошла работать сестрой милосердия в «состоящий под высочайшим покровительством» царскосельский офицерский лазарет.

Конечно, это был лазарет для избранных — пред светлейшие очи титулованной обслуги доставлялся лишь соответствующий контингент пациентов: представители громких аристократических фамилий, офицеры лейб-гвардии, протеже влиятельных лиц из дворцового окружения. Здесь Клавдия Михайловна Битнер имела возможность встречаться с высокопоставленными лицами, от нечего делать иногда игравшими роль «сестричек» и «шефов». В том числе и с августейшими — членами императорской фамилии.

Здесь же она встретилась и с обер-офицером гвардейского полка Евгением Степановичем Кобылинским, залечивавшим после ранения под Старой Гутой острый нефрит. Пребывавшая уже в бальзаковском возрасте одинокая сестра милосердия увлеклась тоже уже немолодым, но подающим весьма большие надежды на солидную карьеру гвардейцем. Вскоре она уехала за ним в Петербург и стала его женой.

Мартовский переворот 1917 года многое нарушил в планах молодой четы, но, как оказалось, принес и свои выгоды. Энергичный полковник был представлен Керенскому и получил солидное назначение — начальником гарнизона Царского Села и комендантом охраны Александровского дворца, где содержалась под арестом царская семья. Это назначение выдвигало его в ряд видных офицеров армии. Но когда было принято решение о переводе Романовых в Тобольск, Кобылинскому пришлось в той же должности начальника их охраны последовать туда. Спустя два-три месяца в Тобольск прибыла и Клавдия Михайловна.

Переход власти в руки большевиков вначале не изменил ничего в положении Кобылинского, он продолжал исполнять

свою должность, но перевод Романовых в Екатеринбург оставил его не у дел. Вернувшись из Екатеринбурга в Тобольск, он снял форму и занялся домашним хозяйством, предоставив энергичной супруге зарабатывать на жизнь службой в гимназии. Быстросменявшиеся события заставили его вскоре вновь надеть мундир и нацепить снятые было полковничьи погоны — занявшие Тобольск белые мобилизовали его в армию. В конце 1918 года полковника можно уже было видеть в штабе Сибирской армии Колчака на должности офицера для поручений при начальнике снабжения.

Паническое отступление колчаковцев разлучило супругов: Клавдия Михайловна застряла в Новониколаевске и лишь через несколько месяцев добралась до Тобольска, где жила ее мать, а Евгений Степанович катился все дальше на восток, пока где-то под Красноярском не был взят в плен. Через два года, — все это время Клавдия Михайловна жила в Тобольске, а Евгений Степанович «искупал вину» где-то на Алтае, — супруги соединились вновь. Кобылинский сумел скрыть свое прошлое, прикинуться рядовым простачком офицером и был прощен. Разыскав друг друга, Кобылинские поселились в Рыбинске и, кажется, были довольны жизнью, отдыхая от недавних передряг.

Беда пришла к ним в 1927 году. Евгений Степанович связался с группой бывших офицеров, впутался в какой-то антисоветский заговор и... Клавдия Михайловна стала вдовой. Последовавшие за этим частые переезды, то в Москву, то на захолустную подмосковную станцию Столбовая, то в Орехово-Зуево, уже ничего особенного не привнесли в ее биографию — она оставалась рядовым «шкрабом», как звали тогда школьных работников, то есть учителей.

Из книг Жильяра и Соколова, из воспоминаний Панкратова Михеев знал и некоторые интимные подробности жизни Битнер-Кобылинской в Тобольске. Например, о том, что она была там учительницей царских детей.

Когда Романовы покидали Тобольск, благодарные родители тепло попрощались с учительницей своих детей, Алек-

сандра Федоровна облобызала ее, а Николай галантно поцеловал ручку.

Вот кто такая была Клавдия Михайловна Битнер-Кобылинская, нашедшаяся через пятнадцать лет после тех событий и ожидавшая сейчас встречи с Михеевым.

Для своих пятидесяти шести лет Клавдия Михайловна выглядела неплохо. Совсем еще свежий цвет лица. Пепельные, возможно, даже без седины пышные волосы, заботливо ухоженные и причесанные. Некоторая склонность к полноте маскировала неизбежные морщинки. Простое, строгое, но сшитое с претензией на изящество, платье говорит о хорошем вкусе. Нрав, очевидно, общительный, живой, пожалуй, даже экспансивный. Как будто, без скидок, симпатичный человек.

«Но что кроется за этой симпатичностью? — размышлял Михеев, задавая ей первые анкетные вопросы. — У нее есть причины не питать особой любви к новому строю, она многое потеряла с крушением старого: надежды, мужа. Будет ли она искренней и правдивой, пожелает ли помочь делу?»

Но Клавдия Михайловна и в беседе производила приятное впечатление — ничего как будто не соврала, не умолчала даже о том, о чем теперь уж мало кто мог знать и что она, понятно, могла бы скрыть. Ну, хотя бы о трогательном прощании с Романовыми — кто бы мог это помнить? — сказала сама. На вопросы отвечала не то чтобы с охотой, но и без боязливых заминок и уверток.

Трудности начались, когда разговор подошел к вопросу о драгоценностях. Михеев почувствовал, как она внутренне насторожилась, стала отвечать медленно и скупо, словно взвешивая каждое слово. Без нужды часто доставала платочек из рукава платья и прикладывала его к кончику носа, словно подкрепляя себя запахом недорогих духов.

— Я знала, конечно, что у Романовых в Тобольске было много драгоценностей. Слышала, что их пытались спрятать, хотя отбирать их никто как будто не собирался.

— Кто выносил?

— Многие, вероятно. Гендрикова, Жильяр, камердинеры Чемодуров и Волков. Кажется, священник Владимиров... Но все это я могу сказать только с чужих слов.

— А муж ваш?

— Что вы, это исключено! Это было бы слишком рискованно — нарушение служебного долга.

— А кому передавали, где укрывали ценности — это, хотя бы с чужих слов, вы можете сказать?

— Могу, — понюхала платочек Кобылинская. — Вернее всего, в женский монастырь.

— И только?

— Я, право, не знаю...

— А мужу, например, Евгению Степановичу?

Клавдия Михайловна снова потянулась к платочку, опустив глаза.

— Возможно. Но я об этом не знала... Вам кажется это странным? Конечно, Евгений Степанович доверял мне, но, я думаю, просто не хотел впутывать меня, легкомысленную, по его мнению, женщину, в это тонкое и щекотливое дело.

Михеев был доволен — она говорила неправду, значит, именно здесь ей есть основания скрывать что-то более серьезное. Он молчал, сосредоточенно разгребая спичкой окурки в пепельнице. Молчала и Кобылинская, но ей, заметно, это было в тягость — она ждала вопросов, чтобы продолжить развивать свою версию.

— Вы мне не верите... — не вытерпела она. — А между тем это так. Могу даже сказать больше — я сама выносила и прятала кое-что по просьбе Романовых, а муж об этом не знал. Да, да, видите, как получается...

Михеев вопросительно поднял на нее глаза.

— Дело было так, — торопливо, словно боясь, что ее прервут, заговорила Кобылинская, — накануне отъезда последней партии Романовых, наследника и его сестер, Алексей дал мне коробочку. Обыкновенную жестянку из-под мятных лепешек. В ней были монеты, золотые и серебряные — коронаци-

онные рубли, памятные монеты и медали, выпущенные к трехсотлетию дома Романовых. Я в этом мало разбираюсь, но Алексей сказал, что они редкие, дорого стоят, и просил меня сохранить их.

Она остановилась и посмотрела на Михеева, ожидая увидеть на его лице заинтересованность. Тот по-прежнему сосредоточенно ковырялся в пепельнице. Это словно обидело Кобылинскую.

— К его монетам, — продолжала она несколько разочарованно, тоном человека, который знает, что его не слушают, но вынужден говорить, — я приложила и свои, какие нашлись дома. И зарыла их. Мы жили тогда на Туляцкой улице, в доме Трусова, знаете — наискосок губернаторского дома. Во дворе, в палисаднике, против крайнего к воротам окна, росло дерево, кажется тополь. Вот под ним я и закопала коробочку. Когда вернулась из Сибири... Это было, позвольте... да, в двадцатом году, я искала ее, но не нашла. Должно быть, подсмотрел кто-то и выкопал.

Михеев продолжал молчать, и это явно нервировало Кобылинскую.

— И еще я помню, — повысила она голос, словно молчание Михеева объяснялось его глухотой, — как муж приносил домой пакет, в котором было две шашки и два кинжала. Они принадлежали, как объяснил мне Евгений Степанович, царю и наследнику. Сказал, что поступил приказ отобрать у них оружие, а оно дорогое, памятное, и его надо сохранить... Что же вы молчите, наконец?! — почти выкрикнула Клавдия Михайловна, не выдержав. — Вы не хотите мне верить?

— Клавдия Михайловна, — тихо сказал Михеев, глядя в ее порозовевшее от волнения лицо. — Я хочу получить правдивый и полный ответ на свой вопрос. Хранил ли ваш муж драгоценности Романовых и кому он их передал или... ну, словом, как поступил с ними?

— Я не знаю, я не знаю! — почти с отчаянием ответила Кобылинская, приложив руки к пылавшим щекам. — Поверьте же мне, я не знаю!

— Не спешите с ответом, — прервал ее Михеев, вставая. — Подумайте. Я не тороплю вас. Посидите в соседней комнате и подумайте. Это очень важно, чтоб вы решились сказать правду.

Кобылинская покорно последовала за ним.

Час спустя ее снова привели в кабинет. Михеев был не один — у стены, противоположной той, где стоял стул Кобылинской, неподвижно сидела женщина лет шестидесяти в длинном старомодном жакете, мешковато висевшем на ее острых плечах.

— Вы знакомы? — спросил Михеев, обращаясь к ним.

— Видались, — первой отозвалась женщина, бросив на Кобылинскую цепкий взгляд маленьких глаз, но даже не повернув головы в ее сторону. — Доводилось встречаться с Клавдией Михайловной. Только помнят ли они нас, мелкую сошку.

— Вы постарели, милочка, — натянуто улыбаясь, заметила Кобылинская.

— Какие уж есть, — обидчиво ощерилась женщина, — годы и вас не красят, матушка.

— Ну вот, я вижу, вы и вспомнили друг друга, — вмешался Михеев. — Анна Яковлевна Гусева и Клавдия Михайловна Битнер-Кобылинская. Так?

Женщины молча кивнули.

— Скажите, Анна Яковлевна, приходилось ли вам видеть у Кобылинских драгоценности бывшей царской семьи?

— Было дело, чего теперь скрывать, — ответила Гусева, прищурившись на Кобылинскую. — Евгений Степанович мне доверяли, от меня ему таиться незачем было, и такие тайны хранила. Пятнадцать ведь лет ихней служила при царевнах...

— Ну и что? — вмешалась Кобылинская, обращаясь к Михееву. — Я тоже не отрицала этой возможности. Но при чем тут я? Что там у них было, я не знаю, не видела.

— А булавочки-то? — продолжала Гусева, все так же не меняя положения, словно тело ее окаменело, а живыми были

лишь рот и глаза. — Помните, зашла я к вам, а вы с Евгением Степановичем булавочки перетираете. Шляпные булавочки, с каменьями самоцветными. Олины, Танины, Настины — ваши булавочки-то. Мне ли их не знать.

— Может, вы запамятовали, дорогая? Вероятно, тут был один Евгений Степанович? Ведь так, не правда ли? — настаивала Кобылинская.

— Нет, не один. Правду сказать, увидев меня, вы в кухонку вышли, молочко будто там у вас сбежало. А булавочки на столике так и остались, уж при мне их Евгений Степанович в шкатулку сложил.

— Не знаю я никакой шкатулки. Не было ее тогда. Что вы такое говорите, право! — убеждала Кобылинская, просительно, почти с мольбой глядя на Гусеву.

— На столике не было, это верно. В комоде она была, Клавдия Михайловна, под вашими, извините, панталонами. Супруг ваш достал ее оттуда, чтобы вложить мое приношение. Вот об этом вы, пожалуй, и вправду не знаете — при посторонних не велено было вручать.

В уголках губ у Гусевой играла торжествующая усмешка — что, мол, взяла?

— Почему же я посторонняя? — обиделась задним числом Кобылинская. — Но вы, кстати, сами подтвердили, что я шкатулки не видела.

— Не подтверждала я этого, матушка, с чего вы взяли? Когда вы вернулись из кухни, шкатулка-то на столе еще была. Вы на нее ноль внимания, как на привычную вещь. Тут я поняла, что не один Евгений Степанович причастен к тайне, так и доложила графине.

— Так это и можно записать? — спросил ее Михеев.

— Записывайте, мне что, я делала что приказывали, к моим рукам ничего не прилипло, — сухо согласилась Гусева.

— А к нашим прилипло? — нервно дернулась Кобылинская. — Вы знаете, как я голодала в двадцатом? Жила бы я так, если бы...

— Мне что... Я это к тому только, что ничего у меня не осталось, все вам передала, как было приказано. А не скажи я, на кого мне навет кидать? На себя, выходит, все принимай? Ну, уж нет... Я о себе все выложила, у меня сердце спокойное, а вы сами докладывайте что и как, если не виноваты.

— Я бы на вашем месте, Клавдия Михайловна, внял ее совету, — сказал Михеев.

— Мне нечего докладывать.

Кобылинская уставилась в стену. Михеев покачал головой и взялся за телефонную трубку.

— Ну что ж. Придется пригласить на беседу еще одного человека...

Обе женщины с интересом повернулись к двери.

— Садитесь, Викторина Владимировна, — подставил Михеев стул вошедшей Никодимовой. — Вы узнаете моих собеседниц?

— Да, узнаю, — без тени удивления оглядев их, ответила Никодимова.

— Вот и хорошо. А вы?

Кобылинская и Гусева подтвердили, что — да, Викторину Владимировну Никодимову они знают. Пока Михеев заносил их ответы в протокол, женщины искоса оглядывали друг друга.

— У нас тут возник вопрос, Викторина Владимировна. Помогите разобраться... Кому вы отдали на хранение в Тобольске в восемнадцатом году драгоценности графини Гендриковой? И свои, кажется, тоже?

— Графиня распорядилась передать их полковнику Кобылинскому. Она уже беседовала с ним об этом tête-a-tête...

— Это значит — наедине? — перевел Михеев. — И вы передали?

— Я зашила наши bijou в мешочки, отдельно свои, отдельно графинины, надписала на них наши имена и отнесла их полковнику. Но... — Никодимова бросила взгляд на Кобылинскую. — Но он их не принял. Изменились какие-то обстоятельства...

— А дальше?

— Дальше?.. — замялась Никоднмова. — По его рекомендации я отнесла мешочки Константнну Ивановичу. Это нх друг дома, Пуйдокас, лесопромышленник. Евгеннй Степанович сказал: все, что у него храннлось, он тоже передал этому человеку.

— Пуйдокас потом вернул вам вещн?

— Нет, — после паузы ответнла Нкоднмова, опустнв глаза.

— А вы спрашнвалн нх у него?

— Да, после гибелн графнни я проснла возвратнть мне хотя бы мой скромный мешочек... Я нмела доверенность получнть все, что принадлежало графине, но проснла отдать хотя бы свое.

— Почему же он не вернул нх вам?

— Мне сказалн, что вещн достать пока невозможно, так как онн далеко. А затем Пуйдокасы уехалн нз Тобольска. Так я и лншнлась единственного своего достояния, хотя оно н не составляло состояння, — попробовала улыбнуться Никоднмова невольному каламбуру.

— Pourquoi m'engagez-vous á cette jale affaire? Qu'est-ce je vous ai fait, quoi?! * — с плачем сорвалась на крик Кобылинская, театрально заломнв руки.

— O, excusez-moi, — поморщнлась Нкоднмова, то лн от дурного французского выговора, то ли от вопля Кобылннской. — Vous, vous-même m'en avez parlé dons, ma chérie... **

— Это нельзя, — вмешался Мнхеев. — Говорите по-русски. Переведнте, о чем вы говорнли.

Нкоднмова и Кобылинская подавленно молчалн.

— Вы знаете Пуйдокаса? — обратнлся Михеев к Кобылинской.

— Нет, — резко ответила та.

---

* — Зачем вы впутываете меня в эту грязиую историю? Что я вам сделала, что?! (*фр.*).

** — Но, извииите меня... Вы же сами говорили мие об этом, дорогая... (*фр.*).

Никодимова изумленно воззрилась на Кобылинскую, но промолчала.

— А вы? — спросил ее Михеев.

— Простите... Я не сумею солгать. У меня не получится, — с достоинством ответила Никодимова. — Я встречалась с Анелей Викентьевной и Константином Ивановичем.

— Где?

— У Кобылинских, — тихо вымолвила Никодимова, не глядя на Клавдию Михайловну. Та принюхивалась к платочку, который теперь уже не выпускала из рук.

— Вы можете подтвердить, что Кобылинская была знакома с Пуйдокасами? — спросил Михеев Гусеву.

— Так куда же денешься. Не я — другие скажут. Редкий вечер не бывали друг у друга.

— А вы, — Михеев обратился к Кобылинской, — по-прежнему отрицаете это?

— Ну, знала, забыла. Какое это имеет значение? — раздраженно ответила Клавдия Михайловна.

— Может иметь большое значение, — нахмурился Михеев. — Где ложь, там, значит, что-то нечисто.

Отправив Гусеву и Никодимову, он долго смотрел на отвернувшуюся к стене Кобылинскую, стараясь понять, о чем она думает, что таит. Может быть, что-то хочет сказать, но не решается? Но она продолжала молчать, покусывая платок. Михеев встал, прошелся по комнате и сел против Кобылинской.

— А я думал, что вы будете говорить правду, Клавдия Михайловна. Зачем вы скрываете что-то? Что вам это даст? Я могу подумать, что драгоценности все еще у вас. И не выпускать вас, пока вы не укажете, где они.

— Нет, нет, — повернулась к нему Кобылинская. — У меня их нет.

— Но, значит, вы знаете — где, у кого. Скажите это. Ну для кого вам беречь это добро? Неужели за пятнадцать лет вы не убедились, что старое не вернется? Что эти драгоценно-

сти не принадлежали Романовым, подлинный их хозяин — народ. Это его пот и слезы. И — кровь... Ваш сын уже большой?

Кобылинская снова отвернулась к стене.

— Подумайте, ему жить в иное время, в ином мире. Кем он у вас хочет быть?

— Трактористом, — криво улыбнулась Кобылинская.

— А вы знаете, сколько стоит трактор? Всего лишь два-три блестящих камешка из ожерелья, украшавшего шею Александры Федоровны, которая никогда не пролила ни капли трудового пота. А как они, тракторы, нужны нам сейчас! Смотрите, что в мире-то делается...

Кобылинская молчала.

Передал ли Кобылинский драгоценности и кому именно? Михеев решил проследить обстоятельства жизни Кобылинского в последние месяцы его пребывания в Тобольске.

Из показаний было ясно, что драгоценности находились у него еще весной 1918 года. Это начальная точка. А дальше? В декабре 1918 года он уже был в колчаковской армии. Едва ли он повез их с собой, хотя и это исключать нельзя.

Между тем события в эти месяцы 1918 года развивались так. В марте в губернаторском доме был введен новый, усиленный режим, сузивший возможности сношения Романовых и их свиты с «волей». В конце марта прибыла новая охрана, и роль Кобылинского была ограничена до минимума. Рано утром 26 апреля из Тобольска в Екатеринбург отправилась первая партия: Николай с женой и дочерью Марией, с ними Боткин, Долгоруков, Чемодуров, Иван Седнев и Демидова. В ту же ночь Тобольский Совет произвел обыски и аресты окопавшихся в городе монархистов и контрреволюционно настроенных офицеров. Еще через два дня арестован и вывезен из Тобольска епископ Гермоген. В середине мая отправлены в Екатеринбург остальные Романовы, задержавшиеся в Тобольске из-за болезни Алексея, а с ними и остатки свиты и прислуги, в том числе и Кобылинский. В эти же примерно дни в То-

больск тайно приезжает на несколько дней Борис Соловьев. В середине июня Тобольск захвачен белыми. 16 июля расстреляны Романовы и арестовано большинство их свиты. Спустя несколько дней пал Екатеринбург. Кобылинский возвратился в Тобольск, к семье.

Никому из видных лиц свиты в такой суматохе он не мог передать драгоценности, это ясно. А если бы и передал, то они были бы у этих лиц, находившихся все время под строгим присмотром, найдены и об этом стало бы известно. Нет, он мог передать их только лицу малозаметному, но верному, близко знакомому.

Значит — Пуйдокас?

Помог опять-таки Тобольск. Там помнили Пуйдокаса, знали даже его нынешний адрес — сын запрашивал справку из школы, где учился когда-то. Дальнейшее уже было «делом техники».

Лесопромышленник Константин Иванович Пуйдокас был в свое время солидной фигурой в тобольском деловом мире — вел крупные экспортные операции, ворочал изрядными капиталами. И в то же время был как-то на отшибе: поляк, католик, сугубо деловой человек, энергичный, решительный и резкий, он не «притерся» к обществу тобольского купечества, явно пренебрегая им.

Пребывая постоянно в длительных деловых вояжах, а в редкие перерывы между ними — на дальних своих лесных заимках (предпочитая мирное семейное одиночество пьяному времяпрепровождению сиволапых сибирских купцов), он и личностью своею не очень запомнился тоболякам. Хотя внешностью был незауряден: высок и плотен, розовощек, в пышных холеных усах, голосом зычен и резок, одевался не без щегольства. На одной руке не было пальца, что и послужило причиной клички «беспалый барин», присвоенной ему купцами, недолюбливавшими своего коллегу по коммерции.

В 1919 году Константин Иванович почел за лучшее выехать из Тобольска вслед за отступавшими колчаковцами.

Зацепился за Омск, где жил его брат. Но дальше не двинулся — понял, что песенка «спасителей отечества» кончена, и решил остаться в Омске, пока не прояснятся обстоятельства.

Вскоре они прояснились; настала пора нэпа — и Пуйдокас потихоньку начал выглядывать на свет божий, чтобы присмотреться и сориентироваться в обстановке. Попробовал принять участие в некоторых деловых операциях — прошло удачно. Догадался, что можно выходить на арену пошире, и в 1926 году надумал вернуться в родные края, к знакомому с детства делу, к своим брошенным предприятиям.

Жизнь вроде бы наладилась, вошла в колею, но в 1929 году, ознакомившись с материалами о пятилетке, о коллективизации, уяснив смысл спора партии с уклонистами, дальновидно решил сматывать удочки — «рыбалка» кончалась. Вернулся в Омск, но ненадолго, только лишь чтоб заручиться необходимыми рекомендациями старых знакомых. А затем двинулся вверх по Иртышу и, отойдя километров на триста, пересел на попутную подводу, которая и довезла его до какого-то далекого таежно-степного алтайского поселочка.

Глухомань показалась ему достаточно удобной и надежной, и он устроился здесь «по мелкому счетному делу», выписал жену с детьми и исправно исполнял роль мелкого совслужащего, не подавая никому о себе вестей.

Там его и нашли, ибо кое-какие вести все же, помимо его желания, в Омске и Тобольске появлялись.

Скромный образ жизни Константина Ивановича на новом месте жительства вселил в Михеева сомнение — не похоже, чтоб он чем-нибудь помог делу. Драгоценности, если и были в его руках, он, делец по призванию, сумел бы обратить в удобные для оборота средства и вложить в свои нэповские предприятия.

В Свердловск его доставить пришлось вместе с женой, Анелей Викентьевной — ее имя тоже фигурировало в показаниях, которые успели дать за это время Гусева, Никодимова и Преданс (Кобылинская по-прежнему отказывалась признать свое знакомство с Пуйдокасами). Но доставили супру-

гов порознь. Сначала его, а потом, день спустя, — ее. Так что Константин Иванович вначале и не знал, что находится бок о бок с женой.

С нее и начал Михеев разговоры по новому направлению поиска.

Анеля Викентьевна, тихая, богобоязненная дама, обожающая своего все еще интересного, но строгого и резковатого мужа, чувствуя, что Константину Ивановичу могут грозить какие-то неприятности в связи с этим старым делом, вначале пыталась отделаться незнанием. Но, не обладая хитрым умом, врать не умела и легко запутывалась. И уж совсем растерялась на очных ставках со старыми знакомыми, с которыми, как она думала, ей в жизни встретиться больше не придется.

— Знаете ли вы эту женщину? — обратился к ней Михеев, представляя Никодимову.

— Нет, не знаю, — пугливо ответила Пуйдокас, отводя глаза.

— Что вы, Анеля Викентьевна, неужели я так изменилась? — воскликнула горестно Никодимова.

— Так как же все-таки, знали или нет? — повторил вопрос Михеев.

— Может быть, встречались... Где же упомнить. Столько времени прошло...

— Сколько?

— Да с восемнадцатого-то года.

Никодимова и Михеев улыбнулись. Нет, не умела врать Анеля Викентьевна — не получалось у нее.

— А скажите, знавали ли вы в этом самом восемнадцатом году полковника Кобылинского?

— Нет, конечно, не знала. Мы жили тихо, мирно, никуда не ходили, ни с кем не встречались.

— Так вот, Анеля Викентьевна, давняя ваша знакомая, Викторина Владимировна, утверждает, что по рекомендации полковника Кобылинского передала вам и вашему мужу два мешочка с драгоценностями: своими и графини Гендриковой.

— Нет, не передавала, — упрямо твердила Пуйдокас.

— Может, вы забыли, Анеля Викентьевна? — удивленно глядя на нее, спрашивала Никодимова. — Белые такие мешочки из бельевого полотна. На них были надписаны наши фамилии — моя и Anastasie. Вы при мне положили их в свой секретер. Как же можно забывать, ведь это, простите, не носовой платок.

— Ну, если брали, то, значит, возвратили.

— Кому?! — изумилась Никодимова.

— Евгению Степановичу, конечно.

— Мои вещи?! Зачем?

— А я знаю — чьи? Все, что брали, все возвратили. С него и спрашивайте.

— Так его уже нет в живых.

— Вот-вот... — довольно подтвердила Анеля Викентьевна. Вся фигура Никодимовой свидетельствовала о ее возмущении. Михеев вызвал Кобылинскую.

— Эту женщину вы тоже не знаете?

— Нет, — буркнула Пуйдокас, едва взглянув на Кобылинскую и отвернувшись.

— А вы, Клавдия Михайловна, наверное, тоже?

— Не знаю.

— Да... трудное это дело — делать вид, что не узнаешь старых знакомых, — заметил Михеев. — Ну что же, зайдем, так сказать, с другой стороны. Вот Анеля Викентьевна утверждает, что все вещи, которые давал им на сохранение ваш муж, в том числе и мешочки Гендриковой и Никодимовой, возвращены вам в целости и сохранности. Викторина Владимировна искренне возмущена тем, что ее вещи были переданы не по назначению и, вероятно, использованы на себя.

— Как возвратили?! — вскинулась Кобылинская. И, посмотрев на Пуйдокас, глухо и зло добавила: — Вам этого не следовало бы говорить, Анеля Викентьевна! Как вам не стыдно?!

— Ну вот, теперь вы все трое и познакомились, — подвел итог Михеев.

Заочный портрет Пуйдокаса, нарисованный его знакомыми, полностью совпадал с оригиналом — Михеев убедился в этом, едва увидел Константина Ивановича, прочно и независимо утвердившегося на стуле, который глухо хрустнул под ним. Разве только одет был попроще, в недорогой, но аккуратный и хорошо сидящий на нем костюм, да цвет лица, которым восхищались знавшие его, несколько потускнел — какникак, вторая половина шестого десятка.

— Чем могу?.. — осведомился он с независимым видом.

— Можете многим, — ответил без иронии Михеев, вглядываясь в его резко очерченное, с крупными чертами лицо. — Если, конечно, захотите... Но и если не захотите, я думаю, тоже придется помочь.

— Угу, — отозвался понимающе Пуйдокас.

— Вот поэтому давайте сразу и выясним — хотите или не хотите. Имеете ли вы где-либо спрятанные драгоценности?

— Да, имею, — помолчав, ответил Пуйдокас.

— Где, что?

— В ста километрах от Тобольска. В земле закопан паровой котел. И вся арматура к нему.

Михеев пристально посмотрел на него.

— Нам известно, что весной 1918 года полковник Кобылинский передал вам драгоценности царской семьи. Где они?

— А вы считаете, что я знаю об этом?

— Считаю.

— Угу, — снова буркнул Пуйдокас. — Но я не знаю.

— А что приняли драгоценности от Кобылинского, это, надеюсь, не отрицаете?

— Отрицаю. Не принимал. С Кобылинским не имел чести быть знаком. Хотя, несомненно, слыхал о нем.

— Ну, вот мы и выяснили, что вы не хотите помочь нам, — улыбнулся Пуйдокасу Михеев, словно бы даже довольный его поведением. — Вот что, Константин Иванович. Я вижу, что человек вы... как бы это сказать...

— Прочный, — подсказал Пуйдокас.

— Ну, пусть прочный... Вижу, что откровенным вы быть не

хотите. И будете говорить неправду до тех пор, пока вам не докажут это. И не убедят, что говорить нужно именно правду и ничего не скрывать. Не так ли?

Пуйдокас не ответил, с прищуром изучающе глядя на Михеева.

— Так вот, зная, вернее, предполагая это, я заранее подготовился к такому разговору.

— Угу, — как бы принял это к сведению Пуйдокас.

— Что с Анелей Викентьевной мы уж предварительно побеседовали, вы, я думаю, догадались и сами? Не скрою, она тоже пыталась что-то отрицать. Но, — развел руками Михеев, — убедилась, что это бесполезно.

Он улыбнулся, предвидя, что Пуйдокас в ответ вымолвит свое «угу». И не ошибся.

— А что она вам сказала?

— Ну, Константин Иванович... Вы у меня хлеб отбиваете. Не будем меняться ролями: я буду спрашивать, а вы отвечать.

Пуйдокас снова угукнул.

— Но скажу, что ответы Анели Викентьевны позволили мне сделать вывод, будто вы не хотите помочь нам. Помните ваше «чем могу»?..

— У каждого своя забота.

— Совершенно верно. Могу еще добавить, что здесь у нас ждет встречи с вами ваша старая знакомая Клавдия Михайловна Кобылинская...

Пуйдокас еле заметно нахмурил брови.

— ...которую вы вот не знаете, а она вас знает.

— Угу, — отозвался Пуйдокас.

— И Викторина Владимировна Никодимова, которая сдавала вам по рекомендации Кобылинского мешочки с драгоценностями — своими и графини Гендриковой...

Пуйдокас вспоминающе завел вверх глаза и отметил для себя:

— И Никодимова...

— И вот, что же нам теперь делать? В прятки играть, в кошки-мышки?.. Может, повторить вопрос?

— Какой?

— Первый. О драгоценностях.

— Надо подумать, — деловито, словно ведя разговор о коммерческой сделке, заметил Пуйдокас.

— Подумайте. Только не очень долго. Как-никак, люди ждут. Скажем, до завтра. Идет?

— Угу, — ответил Пуйдокас.

«Подумать-то он, конечно, подумает, — размышлял Михеев. — Только вот — о чем? Уж во всяком случае не о том, как выложить все, что он знает. Скорее наоборот — как бы возможно больше скрыть и от возможно большего отречься. А я, выходит, передышку ему для этого дал».

Так оно и вышло. При очередной встрече Михеев со скучающим видом повторял вчерашние вопросы, а Пуйдокас, как и ожидалось, коротко и резко отвечал на них, отрицая все. Нетрудно было догадаться, что до тех пор, пока он сам не услышит показаний жены, не увидит Кобылинскую и Никодимову, он будет думать, что его берут «на пушку».

— Ну, что ж, докажем, что мы не пушкари, — сказал себе Михеев, записав ответы Пуйдокаса. Дав их ему на подпись, он послал за Никодимовой.

— Не помню, — заявил Пуйдокас в ответ на вопрос, знают ли они друг друга.

— Да, знаю, — ответила Никодимова.

— Брал ли у нее на сохранение какие-нибудь вещи? Не помню. Много их тогда ко мне ходило. Кое у кого и брал. А потом вернул.

— Но мне-то вы их не вернули, — сказала Никодимова, с презрением глядя на него.

— Значит, не брал.

— Нет, брали. Вот и Анеля Викентьевна призналась. Зачем же лгать... Fi, donc!

— А что, она сказала, будто я брал у вас вещи?

«Хочет-таки выведать, что показала жена!» — отметил про себя Михеев и решил — ну, пусть, пока это даже на пользу.

— Да, сказала.

— И что я не возвратил их?

— А вот это уж нельзя, — прервал его Михеев. — Вы опять отбиваете у меня хлеб, Константин Иванович. Нехорошо...

— Она сказала, что вы их почему-то отдали Кобылинскому, а не мне, — ответила на вопрос Никодимова, не поняв замечания Михеева. Но тот не возражал — все пока шло по его плану.

— Значит, отдал, — невозмутимо подтвердил Пуйдокас.

— Кобылинскому? — переспросил Михеев.

— Кобылинскому.

— Так вы же его не знаете.

— Значит, знал.

— Знал, да забыл?

Пуйдокас не ответил. Михеев позвонил и попросил увести Никодимову.

— Видите, Константин Иванович, мы и начали кое-что вспоминать, — сказал он, проводив Никодимову. — О чем дальше будем вспоминать? О Кобылинских?

— А, что там вспоминать, какие-то два мешочка, неизвестно с чем, — махнул рукой Пуйдокас. — Где их упомнишь в той суматохе. У меня своего добра пропало в сотни раз больше, я и то не вспоминаю...

— Да нет, тут не только о двух мешочках речь.

— О чем же?

Михеев вызвал Кобылинскую.

— Вот, в присутствии Клавдии Михайловны, которую, как выяснилось теперь, вы знаете, задаю вам такой вопрос. Ваша жена, Анеля Викентьевна, утверждает, что драгоценности Романовых, переданные вам в свое время полковником Кобылинским, вы возвратили ему же. Когда и при каких обстоятельствах вы вручили ему их?

Пуйдокас помешкал, пожевав губами. Испытующе посмот-

рел иа Кобылинскую, но, встретив ее иапряжеиио-ожидающий взгляд, отвериулся.

— Не помию.

— Надо вспомиить, Коистантии Иваиович. Это просто необходимо, — строго сказал Михеев.

— Что вы со миой делаете! — сокрушенно прошептала Кобылинская, прикладывая к глазам платок. В ее взгляде зрело отчаяиие.

— Не можете вспомиить?.. Значит, вывод одии — вы их ие возвращали Кобылиискому, а присвоили себе и размотали.

— Ну, уж размотать-то я бы их не размотал.

— Как вы с иими обошлись, мы еще выясиим. А сейчас вам или надо снять обвииение против Кобылинских, или доказать его.

— А что доказывать? Встретились одии на один, передал из рук в руки. Вот и все.

— Где, когда?

— Не помию.

— Ну вот, опять за рыбу деньги, — не выдержал Михеев.

Не выдержала и Кобылинская. Скомкав мокрый платок, оиа резко выпрямилась и, блестя гневиыми глазами, все более распаляясь, бросала в лицо Пуйдокасу фразу за фразой:

— Вы лжете, Коистаитин Иваиович! Спасая себя, вы хотите утопить меня, беззащитиую женщину. А утопив меня, вы зиаете, что утопите и моего мальчика, единствеиную радость жизни. Вы хотите вернуться иевинным к своей семье, к детям. А я не хочу? Вы всегда были жестоким и бездушным человеком. Для вас слезы ближнего были дешевле простой воды... Вы забыли? Вы ие помните! Хорошо, я вам сейчас иапомню...

— Что вы делаете, сумасшедшая женщина? Замолчите! Вы топите себя... — подался к ией, сжав кулаки, Пуйдокас.

— Пуйдокас, прошу вас замолчать! — прикрикнул Михеев.

— ...Нет, это вы топите меия. Так вот, слушайте теперь меня...

Михеев придвинул к себе чистый лист бумаги.

— Да, теперь это нечего скрывать, — кричала Кобылинская, — драгоценности царской семьи были в наших руках. Не обо всем я, конечно, знаю, ибо была не соучастницей, а лишь невольным свидетелем — близкий человек, которого не стеснялись, от которого не таились, но которого специально никто и ни во что не посвящал. Но мои руки чисты... слышите, вы... к ним ничего не прилипло. Хотя, без сомнения, могло бы...

...Эта суматошная весна восемнадцатого года, полная неясностей и надежд, неожиданных перемен и катастроф, фантастических слухов и носившихся в воздухе потрясающих новостей, которые перестали уже кого-либо потрясать и удивлять. Как же ее забыть?! Клавдия Михайловна, прикрыв глаза рукой, как сквозь волшебную призму времени, видит все это...

Евгений Степанович приходил домой все позже и позже, улаживая учащающиеся конфликты Романовых с охраной, с Тобольским Советом, скандалы и истерики Александры Федоровны, капризы великих княжен и мелочные ссоры «свитских». Приходил хмурый и изнеможенный, весь какой-то обмяклый, зло ругаясь сквозь зубы. Но, сняв китель и умывшись, добрел. Откинувшись на подушки дивана, добродушно похохатывал над сообщенными Клавдией Михайловной новостями и сплетнями, делился своими, вынесенными о т т у д а.

Но это длилось недолго — счастливые минуты семейной идиллии. Со стороны кухни раздавался негромкий стук в окно, Евгений Степанович, чертыхнувшись, накидывал халат и встречал с черного хода поздних визитеров. Кто только не заходил тогда... Шумный бородатый Панкратов — комиссар охраны; льстивый и подобострастный попик из архиерейского дома; нагловатый усач Волков — камердинер «самой», то есть Александры Федоровны; Жильяр и Гиббс — гувернеры Алексея, в накинутых не по погоде на голову башлыках; волоокая полнотелая красавица графиня Анастасия Гендрикова, с облегчением сбрасывавшая в прихожей деревенскую ковровую

шаль, явно не из ее гардероба. А иногда приходили офицеры со споротыми погонами, но неистребимой юнкерской выправкой, дебелые монашки с трусливо шныряющими глазами, какие-то бесцветные личности неопределенного возраста, разморенно пошвыркивающие носом у вешалки в ожидании ответа на принесенную записку.

Всем им Евгений Степанович был нужен и притом безотлагательно: начальник охраны губернаторского дома, ставшего средоточием многих и многих интересов, — как его обойдешь. Вот и шли.

Клавдия Михайловна, извинившись за домашнее неглиже, удалялась к себе в будуар, как она называла спаленку, обустроенную в маленькой угловой комнате, и, усевшись за вышивание, оттуда слушала торопливый и невнятный полушепот-полуговорок визитера и отвечавший ему спокойный гулкий басок хозяина, не привыкшего шептаться у себя дома.

Да, волею случая Евгений Степанович в те дни оказался в фокусе многих интриг, заговоров, сделок и операций, закрутившихся вьюжной коловертью около ссыльного царя и его семьи. И хотел или не хотел, а должен был знать обо всем; выслушивать признания, призывы, угрозы, посулы. Все ради того, чтобы дать себя увлечь в очередную авантюру, «исполнить священную миссию», «оказаться на высоте чести русского гвардейского офицера», «оказать помощь святому делу». И он бы с готовностью «исполнил», «оказался» и «оказал», не будь в нем закоренелого отвращения к щелкоперству — все эти толкующие о заговорах нелепые фендрики-инкогнито в азямах с чужого плеча и с кокаиновым блеском в глазах, упитанные иереи, витиевато излагающие «святые надежды православного русского народа», — вся эта шушера, как он называл ее про себя, отнюдь не внушала ему доверия.

А те, что внушали, кто действительно мог бы что-то, за кем пошел бы и он, полковник Кобылинский, те почему-то медлили, кого-то опасаясь, чего-то выжидая.

Помочь? Это можно. Но — только в верном деле, надежным людям.

И он, как мог, помогал.

Клавдия Михайловна помнит, как он принес однажды длинный и неуклюжий сверток, в котором оказались шпаги и кинжалы Николая и Алексея — в дорогой оправе, с золочеными, покрытыми узорной чеканкой клинками. Объяснил, что солдатский комитет приказал Романовым сдать оружие, а оно, сама видишь, дорогое, можно сказать — реликвия, вот и просили сохранить до времени.

В другой раз ему принесли сверток с шляпными шпильками. Тоже оттуда. Потом еще и еще. И ему носили и сам носил. В доме, куда ни ткнись, появились тайники. Наивные, вроде пятифунтовых железных банок из-под абрикосовского монпансье; и солидные — под сдвинутой половицей, в земле.

Наконец, как-то ночью, выйдя вперед мужа на поздний стук, Клавдия Михайловна впустила Жильяра, принесшего под шубой завернутую в шаль шкатулку. А когда через несколько минут зашла в кабинет, чтобы предложить мужчинам чаю, то увидела ее, эту шкатулку, на столе — открытой. Француз, гревший руки о кожух голландки, заметно смутился и даже сделал движение к столу, чтобы закрыть шкатулку, но Кобылинский опередил его:

— Посмотри, Клава, какая красота! Какое сокровище!

Из раскрытой шкатулки при свете настольной двадцатилинейной «молнии» рвался наружу сноп искр. Словно раскаленные и расцвеченные всеми цветами радуги уголья сверкали внутри ее неостывающей грудой. Клавдия Михайловна даже зажмурилась. Но видение не исчезло: оно проникало даже сквозь плотно сжатые веки. Она вышла на кухню, к самовару, но и там его никелированные бока, казалось, отражали все тот же фейерверк радужных брызг, слепящее пятно переливающегося разноцветья...

Сквозь томную песенку самовара из соседней комнаты до нее долетали обрывки разговора.

— Ослепнуть можно! — доносился голос Евгения Степановича. — На почтительном расстоянии видал все это ранее, а вблизи не доводилось...

— Особо дорогие сердцам их величеств вещи, — вплетался торопливый говорок Жильяра. — Полумесяц бриллиантовый. Только пять больших камней семьдесят карат тяиут. Свыше трехсот тысяч стоит, я думаю... Помиите, эмир бухарский приезжал? Его презент. Носить иа себе государю, христианину, было, конечио, иеудобио, вот почему и ие видел иикто этого раритета.

— Диадема! Бриллиантовая с бирюзой, — приглушеиио рокотал Кобылииский. — Чья же это, иикак государыни?

— Никак нет, — протестовал снисходительно Жильяр. — Это Ольги Николаевны. Она бирюзу любит. У государыни с крупиыми жемчугами... Вот.

— Да-а... — замирал восхищеиный вздох Кобылинского.

— А эта, с альмандинами, Татьяны. Это вот Марии и Анастасии. Все пять. Затем — ордена... — перечислял Жильяр.

— Андрей Первозваиный! — ахал Евгений Степаиович. — Первый орден империи. Вот он каков! Весь в бриллиантах. Только иа портретах и видал. На парадных приемах бывать не доводилось.

— Да, тысчонок двадцать пять стоит. Только один вот этот бриллиаит восемь карат, говорят, весит. А их тут, помеиьше-то, десятки. По специальному заказу мастерская месье Фаберже изготовляла к коронации...

— Ну, эти знаю, — слышался сиова, после паузы, голос Кобылинского. — Знаки ордеиа святой Екатерины. В иих к иам в царскосельский лазарет приходили государыия с дочерьми... А это чей же портрет в бриллиаитах?

— Аиглийской королевы. Она тетушкой доводилась государю... Колье с изумрудом иидийским... Фермуар бриллиантовый...

В окно постучали. В комиате все смолкло. Клавдия Михайловиа замерла у самовара, давно уже пышущего паром. Евгеиий Степаиович с испугаиным лицом заглянул в кухню, молча, кивком головы приказал ей выйти в переднюю и плотно закрыл за собой двери.

Поздний гость оказался офицером караульиой комаиды.

Виноватым тоном он просил доложить полковнику, что солдатский комитет требует его присутствия на митинге.

— Ночью-то?! — изумилась Клавдия Михайловна, зябко кутаясь в капот.

— Точно так, — отвечал офицер, переминаясь с ноги на ногу. — Они уже третий час митингуют. Требуют передать царя в городскую тюрьму, а их распустить по домам.

— Евгению Степановичу нездоровится, он уже спит. Но я скажу ему. А вы — идите. Скажите, если сможет, придет, — убеждала Клавдия Михайловна офицера, поглядывая на закрытую дверь гостиной и прислушиваясь.

Офицер пристукнул каблуком с заляпанной грязью шпорой и удалился.

Но с этой поры стало ясно, что накапливать в доме ценности больше нельзя: в свете новых событий Кобылинский уже не был «персоной грата» и в любой день мог ждать обыска, а то и ареста.

— Мамочка, — говорил жене Евгений Степанович, — ты уж, пожалуй, не говори никому, не проболтайся, mon ange.

— Что ты, Женя, — встревоженно отвечала ему Клавдия Михайловна. — Как можно! Разве я не понимаю...

Понимать-то все понимали... Но вещи еще долго оставались в доме Кобылинских, вселяли бóльшую и большую тревогу.

Все же этому пришел конец. Однажды Жильяр почти бегом влетел в квартиру и, едва успев скинуть пальто и наскоро чмокнуть ручку хозяйке, проскочил в комнату полковника. Клавдия Михайловна, зайдя к ним с графинчиком и закусками — для беседы пригодится, — увидела их сидящими с озабоченными лицами за столом, на котором лежали узкие и длинные листочки бумаги.

Расставляя тарелки и приборы, приготовляя Евгению Степановичу обязательный перед едой порошок, она из отрывочных фраз собеседников поняла, о чем шла речь.

Тучи над головами Романовых и их свиты сгущались. На юге Урала беспокойно. Можно ожидать отправки на новые

места. Необходимо переписать все принесенные ранее царские вещи и определить их дальнейшую судьбу.

Жильяр заходил еще несколько дней подряд. Они сортировали драгоценности, раскладывали их по пакетикам и узелкам, уточняя списки, и продолжали обсуждать возможные варианты укрытия вещей. Среди предполагаемых мест называли женский монастырь, архиерейский дом, дома знакомых купцов.

На чем они останавливались, на одном или нескольких местах, Клавдия Михайловна не знала, молясь про себя об одном, чтобы чаша сия миновала их дом.

Но, судя по тому, что однажды, проводив камердинера Чемодурова, унесшего с собой увесистый чемоданчик, Евгений Степанович облегченно вздохнул и даже, кажется, перекрестился, Клавдия Михайловна поняла, что часть обузы спала с плеч. А в один из последующих вечеров Жильяр с Кобылинским упаковали еще кое-что и отправились, прихватив с собой Клавдию Михайловну, к Пуйдокасам. Из всех тоболяков Кобылинский отмечал, пожалуй, лишь его одного, часто и подолгу беседовал с умным негоциантом (как любил именоваться Константин Иванович) — то у себя за чайком, то в доме Пуйдокасов за редким в этих краях коньячком.

Пока жены болтали о своем на кухне, у мужчин уже все было решено. Они, довольные, вышли из детской, вытирая руки и отряхивая платье. Константин Иванович нес в руках топор и кухонный косарь.

— Будьте покойны. Пока — надежно, сам черт не найдет. А дальше видно будет.

За столом о деле, кажется, не говорили и скоро распрощались.

Спустя несколько дней первую партию Романовых увезли в Екатеринбург.

Проводив их и рассказав жене об арестах, произведенных в ту ночь Тобольским Советом, Кобылинский заметил:

— Ты все же приготовься, мамочка. Мало ли что...

Она приготовилась. Собрала мужу чемоданчик с бельем

и туалетными принадлежностями, выбросила лишнюю рухлядь с императорскими вензелями и коронами — дареные платки, салфеточки, кружечки, сожгла записочки Александры Федоровны и дочерей, учебные тетрадки Алексея. Собрала по ящикам и коробочкам свои украшения — несколько колец, брошн, серьги, браслет, часы (подарок Николая к именинам), бериллловые запонки мужа и его массивный золотой портсигар — и зашила все это в мешочек, приобщив сюда же и свои памятные реликвии: значок «За беспорочную службу в Царскосельской гимназии», наградной знак Красного Креста.

Чемоданчик Евгений Степанович поставил под кровать, поближе. А мешочек отнес Пудойкасам.

Вскоре с двумя такими же мешочками — теперь Клавдия Михайловна понимала их назначение — явилась старая гувернантка Гендриковой. Кобылинский направил ее также к Пуйдокасу.

Не прошло и месяца, как из Тобольска увезли всех, оставшихся в губернаторском доме. А с ними уехали и те, кто был связан с его обслуживанием. В том числе и Кобылинский.

Но, доехав со своими бывшими подопечными до Екатеринбурга, он вскоре вернулся в Тобольск. Спустя несколько недель в город вошли войска Временного Сибирского правительства. В декабре Кобылинский получил назначение — офицером для поручений при начальнике снабжения армии, которую возглавил к тому времени адмирал Колчак, провозгласивший себя верховным правителем России. Клавдия Михайловна последовала за супругом. В суматохе сборов (ведь уезжали, возможно, насовсем) она попробовала было заикнуться о своем мешочке с кольцами и прочим, но Пуйдокас нахмурился и нелюбезно оборвал ее: «Не время тревожить. Они далеко. Из-за малого большое потеряем. Езжайте себе, не пропадет...»

— А вот пропало! — бросала сейчас Кобылинская в лицо Пуйдокасу. — И меня же вы обвиняете, клевещете, что мы

прнсвонли чьн-то ценности. Хотя я ин каплей нз ннх ие воспользовалась, когда имела возможность...

— Ну уж и нн каплей... — с ехидцей процедил сквозь зубы Пуйдокас.

— Да, нн каплей! Впрочем...

Ах да, как же она об этом забыла... Капля была. Но оиа не то что забыла о ией, а... Постойте, как это было?

...Судьба гнала нх все дальше и дальше иа восток. Позади была победиая для колчаковцев зима, вселнвшая иадежды иа скорое окончаиие войны н возвращенне прнвычного порядка. Позадн было н жаркое, душное, безрадостное лето, смеиившееся еще более безрадостной осенью, несущей лишь горечь поражеиия и всеобщей деморализацнн.

Октябрь 1919 года. Омск — столнца «Колчаковнн». На запорошениых ранинм снежком запасиых путях — составы блещущнх огнямн н шелком занавесей салон-вагонов, согианных сюда, кажется, со всей Сибнри, н просто вагоиов — спальиых первого класса, второклассных, третьеклассных н, наконец, теплушек.

Армня жалась поблнже к железной дороге — артерин жнзнн, страшась оторваться от нее и остаться в этих зловещих лесах, где из-за каждого дерева ждн выстрела; в безжизиеиной степн, средн страшных своей безлюдностью деревеиь, где сквозь протаянный в окне кружок за тобой следнт чей-то неиавидящнй взгляд...

Армня — на колесах. И штабы — на колесах: не то сейчас время, чтобы заиимать под ннх лучшне особиякн, свозя туда со всего города награбленную мебель, ковры, посуду, внна н прочнй аитураж... Уднрающему зайцу не нужна комфортабельная кочка, чтобы осмотреться н определнть расстояине от своего хвоста до пастн собаки. Тут, все поннмают, оперативность требуется, а ие комфорт.

Штаб начальннка снабження, где служил Кобылниский, иаполовнну тоже стоял на колесах. И жнлн там же, в вагонах: офицер для особых поручений всегда должен быть под

рукой. Но поручений все меньше н меньше, онн все сумбурней н бестолковей. Обстановка меняется не по дням, а по часам.

Зато волна беглецов все больше и напористей. Сколько нх! Кого только нет... Мельтешат между забнтымн путями, шарахаясь от окриков часовых у служебных вагонов, тут же торгуя барахлом, меняя часы на кусок хлеба, бриллиантовое кольцо на котелок картошки... Штатскне генералы с выпущенными из-за ворота форменного внцмундира «Аннамн на шее» и «Владнмнрамн»; степенные нувориши с золотыми цепочкамн поперек живота; модные (недавно еще!) адвокаты и архитекторы, и здесь — на железнодорожных путях — внтнйствующие о путях спасения России от большевиков; крикливая орава вездесущнх приживалок; непрнзнаниые поэты и признанные шулера; длинноволосые художники, алчно вдыхающие запахи, несущиеся от штабного вагон-ресторана, н накрашенные пьяные кокоткн, тут же на ходу «стреляющие мужчину».

Вся эта пестрая, круглосуточно галдящая суматошная толпа, саранчой залившая станцию, накладывала последннй мазок на почти уже законченную картину того, что представляла собой в те днн «велнкая освободнтельная армия» Колчака. Сам он, сохраияя лишь видимость власти над неуправляемым войском, еще сидел в своем штабе — губернаторском (тоже губернаторском!) доме, держа на дальних запасных путях под сверхнадежной охраной увезенный из казанскнх подвалов госбанка золотой запас страны — свою последнюю надежду на возможность откупнться, еще что-то спасти, еще что-то успеть. Но уже таял золотой запас, вагон за вагоном уходили во Владивосток в адрес заморских банкиров, охотно берущнх авансы, но не спешащих их оплатнть. Таяли н вагоны с воеиным добром, прнсланным союзннками: все чаще попадалн оии в рукн красных войск и партизан. Таяла армия, разложившись сверху донизу, покрыв себя позором кровавых, изуверских преступлений, избиваемая, по частям и целым корпусам дезертирующая и без боя сдающаяся противиику...

Таяло все. Уже дотаивало.

Кобылиискнй, прежде всегда такой спокойный и самоуверенный, теперь стал замкиутым и хмурым, апатичным до леин, безразличиым ко всему. Стал попивать. Клавдия Михайловна ииогда вечерамн брала его под руку и иасильио вела гулять в город, подальше от страшиой стаицноиной обстаиовкн.

Но и в городе было ие лучше. В переулках постреливали, вылавливая «большевнстскую заразу»; на перекрестке под фоиарем кого-то били, злобио и изощреиио матерясь; в открытом — не по сезоиу — лаидо, развалнвшись, ехал пьяиый поручик, положив руку с папиросой на голое, покрасиевшее от мороза колеио хохочущей проститутки; из приоткрытой фрамуги ресторана под свист и гогот иеслось разухабистое —

Матчнш я танцевала
С одним нахалом
В отдельном кабинете
Под одеялом...

Кобылиискнй больио стискнвал руку жеиы и молча поворачивал назад, стараясь идти стороной, где меньше иароду.

В одну из такнх прогулок супругн встретили... Пуйдокаса. Он ехал на рысаке — солндный, откормлеииый, приличио одетый, преиебрежнтельно поглядывая по сторонам.

— Констаитин Ивановнч! — иеожидаиио для себя крикнула Кобылииская.

Пуйдокас иеспешио повериул голову, вглядываясь в тускло освещенные огнямн внтрин фигуры прохожнх, и, заметив зиакомых, остановнл извозчика.

— Какими судьбами?! Здесь? — обрадоваино вскрикивала Кобылинская, подбегая к пролетке.

Пуйдокас сошел иа тротуар н, вежлнво прнложившись к ручке Клавдии Мнхайловны, облобызался с полковииком.

— Да вот, как н все. В роли бедного бежеица. А вы?.. Впрочем, что я... Может, поедем ко мне?

Нн внд — сытый и нмпозантный — Константниа Ивановича, ни квартира, заиимаемая им, не свидетельствовали о

близком сходстве его судьбы с судьбой тех беженцев, которых Кобылинские видели ежедневно на станции.

Уютный четырехкомнатный особнячок с садиком на задах усадьбы, приличная меблировка. Внушительный резной буфет — хозяин столовой — сверкал янтарем и рубином бутылок, манил лоснящимся загаром копченостей, вазами конфет и варений. Из кухни тянуло ароматом жаркого и кофе... Нет, не таким уж бедным был этот беженец!

За ужином и кофе, которыми угостили хозяева давно не едавших по-домашнему Кобылинских, обменялись рассказами о себе, о своих приключениях за время разлуки.

На долю Пуйдокасов их выдалось, конечно, меньше. Он удачно смог заранее реализовать свои недвижимые капиталы. И, устроившись помощником капитана на один из пароходов, прихватив все необходимое для обеспечения надлежащего минимума комфорта на новом месте, отбыл в Омск.

Нет, уезжать, двигаться дальше он не собирается. Зачем? Это бессмысленно. В обстановке всеобщей суматохи, тифа, разнузданности и хаоса погибнуть гораздо легче, чем здесь. Да, большевики, конечно, не ангелы, но кто знает — что хуже? Здесь брат, давно обосновавшийся в Омске и за войну изрядно умноживший свои капиталы на выгодных подрядах. Конечно, кое-чего придется лишиться, но ведь не всего же, что-то останется; особенно, если обратить его в удобную для хранения форму.

Те вещи, по списку Жильяра? Да, они здесь, в Омске, спокойно перенесли путешествие...

Но именно в этот момент Анеле Викентьевне захотелось показать Клавдии Михайловне свою квартиру, и она увела ее. И только проходя снова через столовую, Кобылинская уловила отрывок разговора мужчин:

— ...Все, как предполагалось. Разве что...

— А монастырь?

— В монастыре как будто все спокойно. Игуменья — женщина верная...

Продолжения разговора Клавдии Михайловие услышать ие довелось.

Возвращаясь к себе иа стаицию, Кобылиискиe подавлеиио молчали. Коитраст тепла, довольства и домашиего уюта с ожидавшей их обстаиовкой холодиого и грязиого вагоиа, иеустроеииости и тревоги, что и говорить, был разителеи.

— Как ои думает распорядиться драгоцеииостями? — спросила Клавдия Михайловиа.

— Пока будет храиить. Исход событий покажет, что с иими делать дальше. Никто ие вправе тратить их. Ои дал мие клятву. Хочу думать, что сдержит ее. Ты уж, пожалуйста, держись их — в случае чего. Я просил его об этом.

— Не иадо, милый... — перебила его Клавдия Михайловиа. — Будем иадеяться иа лучшее.

— А вот и твои безделушки вериулись. — Кобылиискиий достал из виутреииего кармаиа кителя сверток. Да, в ием было почти все, что тогда, весиой восемиадцатого года, оии приготовили для сдачи иа храиеиие. Разве только вот ее любимого зиачка за службу в Царскосельской гимиазии иет. Ну да бог с иим...

В последующие дии Кобылиискиe еще не раз иавещали Пуйдокасов, отогреваясь теплом и уютом их дома. В одио из таких посещеиий, как-то дием, Коистаитии Иваиович позиакомил их с братом Алексаидром. Еще в Тобольске Кобылиискиe зиали, что между братьями в молодости пробежала чериая кошка. При разделе иаследства покойиого отца Алексаидр Иваиович, воспользовавшись деловой отлучкой брата, урвал себе зиачительио больше того, что полагалось. Но теперь братья вроде жили мирио. Алексаидр, разбогатев иа воеииых подрядах, жил иа широкую иогу и даже успел за год до революции воздвигиуть в цеитре Омска солидиых размеров доходиый дом.

Его-то и отправились смотреть всей компаиией. Дом действительио был солидиым. Хотя и ие очеиь длииным по фасаду, ио — зиай иаших! — шестиэтажиым, если считать еще подвальиый этаж с собствеииой котельиой и обширный чер-

дак-мансарду, где Александр Иванович намеревался устроить зимний сад. Дом стоял пустым, еще ие была закончена его отделка. Когда взобрались иа верхиий жилой этаж, Алексаидр Иванович, подойдя к промежуточной кирпичной стене, где были дымоходы, показал иа устроенную в ней глубокую нишу.

— Здесь будет иадежно, я думаю. А то можно иа чердаке, там тоже устроена ииша.

Мужчины, осмотрев ту и другую ииши, согласились, что да, пожалуй, надежио.

По дороге домой Кобылииский сказал жене, что здесь и будут замуроваиы драгоценности. Там же иайдут себе место, до лучших времен, и личные ценности братьев. В общем, как будто надежно...

Здесь же, в Омске, Кобылииских ждала еще одна иитересная встреча.

У одного из салои-вагонов подаиного иакануие штабного поезда союзиых военных миссий Евгеиий Степанович увидел зиакомую фигуру. Жильяр! В дорогой енотовой шубе, распространяя вокруг себя аромат духов, ои стоял среди людей, одетых в иностранные шинели, покручивал колечки блестящих от бриллиантина усов и свысока поглядывал иа станциониую суматоху.

Он милостиво разрешил конвою, оцепившему поезд, пропустить Кобылинского и вежливо пожал ему руку. Внешне как будто был обрадован встрече, но вел себя сдержанно, без обычиых для иего эмоций. Провел к себе в купе, угостил коньяком. Заметив, что Кобылинский обратил внимание на обилие в купе дамских вещей, небрежно поясиил: «Мадам Теглева. Вы ее знаете». Вон как! Няня царевеи, их особо доверенное лицо, едет во Францию в роли сожительиицы Жильяра! Ловок, шельма: альянс этот основаи, конечно, отиюдь не на взаимиой страсти, а, безусловно, иа деловой, сугубо выгодной для обоих осиове. У того и у другого кое-что из царского добра должио было прилипнуть к рукам.

— Кстати, о царском добре, о драгоценностях. Какова их судьба? — поинтересовался как бы между прочим Жильяр.

— О, они в надежном месте, — заверил Кобылинский, решив не уточнять пока, где именно.

— Их надо спасать и везти за границу. Там члены императорской фамилии, великие князья. Николай Николаевич, например. После гибели государя и его семьи они наследники имущества, — настаивал Жильяр. — Вы поедете со мной, в нашем поезде. И мадам Кобылинская...

— Это государственные ценности, Петр Андреевич, — пробовал убеждать его Кобылинский. — Когда кончится смута и восстановится порядок, они должны вернуться в государственную казну. Государь как монарх владеет всем государством, но именно поэтому все, что принадлежит ему, — государственное, а не его личное. Это, простите, не подштанники. И вообще мы, истинные монархисты, считаем, что на монаршьем престоле такой великой империи должен был бы сидеть более значительный человек. Не та фигура...

— Эти ценности, наконец, могут быть употреблены там, за границей, с пользой для государства, для борьбы с большевиками. Ваш народ, например, так много задолжал Франции! — не унимался Жильяр, уже сердясь.

— Не народ, а дурацкое правительство, — бурчал Кобылинский, думая про себя: «Знаем мы эти долги... А чем вы заплатите за наш экспедиционный корпус, прозябающий в лагерях под Ла-Куртин, за сотни тысяч жизней русских солдат, брошенных на верную смерть в наступление под Реймсом и Верденом, расстрелянных в алжирской крепости Кредер, ради спасения вашей belle France?»

— Где господин Пуйдокас? Сумел он вывезти клад императора? Я доложу генералу, и представители союзного командования при участии верховного правителя решат его судьбу. Где сейчас этот клад? — настаивал Жильяр.

— Остался в Тобольске, — соврал Кобылинский и отвернулся.

— A, diable! — выругался Жильяр. — Оттуда достать его действительно трудно... Может, удастся послать кого-нибудь за ним через фронт? Игра стоит свеч...

— Кстати, со следователем Соколовым не встречались? — спросил он после паузы.

— Да, он допрашивал меня и жену. В апреле — в Екатеринбурге и в августе — в Ишиме. Спрашивал и о драгоценностях.

— Ну и что? Что вы сказали ему?..

— Ничего, — помолчав, ответил Кобылинский.

— Уф! — облегченно вздохнул Жильяр. — Я тоже. Меня он пытал трижды — еще в сентябре восемнадцатого года в Екатеринбурге и здесь, в Омске, в марте и в августе.

Выходя от Жильяра, Кобылинский столкнулся у соседнего вагона с Гиббсом. Тот о драгоценностях не спрашивал, но тоже приглашал ехать с собой, в вагоне английской миссии.

«Драпаете, союзнички, — злорадно думал Кобылинский, пробираясь к своему осточертевшему штабу. — Клад императора вам подавай... Мало вы награбили русского добра, за гнилые шинели и заплесневевшие сигареты... Хрена вам с горчицей поострее!»

На другой день через станцию прошел на восток ощерившийся штыками и пулеметами поезд с золотым запасом. За ним, как приклеенные, потянулись штабные поезда и одним из первых среди них — союзнический. Кобылинский даже не успел попрощаться с Пуйдокасами: на станции творилась настоящая паника... Взлохмаченный, небритый, сидел он в своем купе, глядя в окно и слушая жалобные всхлипывания приболевшей Клавдии Михайловны.

В Новониколаевске они потеряли друг друга. Акушерка, понадобившаяся для совета не ко времени ожидавшей ребенка Клавдии Михайловне, жила далеко, и, вернувшись от нее на станцию, Кобылинская уже не застала своего состава: он снялся неожиданно даже для самих его пассажиров.

Пометавшись по городу и разыскав каких-то не то дальних родственников, не то просто знакомых, она кое-как устрои-

лась и слегла. Вскоре родился сын... К тому времени Новониколаевск был уже взят красными.

Едва оправившись, в марте двадцатого года, без средств и без вещей, она двинулась в Омск, помня наказ мужа — в случае чего держаться Пуйдокаса, он поможет.

Пуйдокас действительно помог. Анеля Викентьевна выделила комнатку, дала на пеленки старые простыни, кормила. Константин Иванович помог продать сережки — единственное, что осталось из ценностей, — чтоб заплатить врачу, кормилице: у Клавдии Михайловны пропало молоко.

Но по сдержанной вежливости, даже, пожалуй, сухости отношений, Клавдия Михайловна уже через две-три недели поняла, что ею тяготятся, что ей лучше оставить этот дом.

А куда деваться? В Тобольске живет мама, перевезенная туда из Перми накануне мобилизации Евгения Степановича. Там хоть какой-то дом, хоть что-то из вещей, а может, и из средств. Но — как туда добраться?..

— Вот тогда-то... Да, я взяла тогда эту каплю!.. А что я могла сделать? Ведь вы же сами предложили мне ее...

Да, Константин Иванович сам предложил ей воспользоваться чем-нибудь из тех драгоценностей. Хотя ей казалось странным, что он не предложил, например, просто золота в монетах, которое, она знала, есть у него в достатке. Все равно ведь любую из драгоценностей придется продавать.

— Хозяев у этого добра пока нет. Пока мы и хранители и хозяева. Услуги должны быть как-то возмещены. Не так ли, Клавдия Михайловна?

Похоже, он втягивал ее в какую-то сделку, делал ее соучастницей «возмещения». «А, пусть! — решила Кобылинская. — Теперь все равно...»

Константин Иванович, получив ее согласие, вышел из комнаты и спустя не так уж много времени вернулся с объемистым свертком в руках. Занавесил окна.

«Значит, не успели еще замуровать, хранят где-то здесь, близко», — подумала Клавдия Михайловна.

Развернули сверток, и перед ней вновь предстало сверкающее видение, ослепившее ее тогда в Тобольске, — как немного и как много уже времени назад! Но... несомненно, более бледное видение. Почему! Ах, ну да, здесь многого нет из того, что было там. Здесь в основном мелкие вещи.

Пухлые пальцы Пуйдокаса сладострастно перебирали десятки колец и брошей различной величины и формы, браслеты и часики, усыпанные каменьями, запонки и заколки для галстуков. Среди них Клавдия Михайловна заметила и знакомые ей вещи, которые она видела на графине Гендриковой, на Никодимовой... А вот и ее значок «За беспорочную службу в Царскосельской гимназии»!

Остановились, по совету Константина Ивановича, на одном кольце типа «маркиза», с бриллиантами и рубином. Клавдия Михайловна, смущаясь и краснея, примерила его и тут же сняла.

— Я думаю, на дорогу хватит, — сказал Пуйдокас.

— И на кое-что еще, — поджав губы, заметила Анеля Викентьевна.

Продать кольцо Константин Иванович вызвался сам. Кому он продал, не сказал, но принесенных им денег, в основном в золоте, конечно, по расчетам Клавдии Михайловны, действительно хватало и на дорогу и на обжитие в первые дни на новом месте. Через две недели она была в Тобольске. Хотя эти недели... лучше не вспоминать о них — такими они были тяжелыми и многострадальными. Как только она вынесла их, эту страшную дорогу, это кошмарное передвижение, которое лишь при наличии юмора можно назвать путешествием или поездкой...

— Да, я взяла эту каплю, чтобы спасти себя и ребенка, чтобы избавить от себя вас, наконец. И вы мне это ставите в вину, издеваетесь над этим?! Я отработаю, я верну... мой сын вернет, когда подрастет. Готова отдать свой глаз, стать рабой,

только не чувствовать себя должной, не слышать этих гнусных упреков... Я верну. Вернете ли вы?! — кричала Кобылинская в истерике.

Пуйдокас астматически сопел, бросая на нее злобные взгляды.

Просматривая бумаги и письма, взятые при обыске у Пуйдокасов, Михеев, в поисках хоть каких-то намеков или упоминаний о драгоценностях, натолкнулся на бумажку непонятного ему вначале назначения. Она лежала в старомодном, вышитом бисером бумажнике-портфельчике, где Анеля Викентьевна хранила семейные реликвии, вроде первого рисунка сына Костеньки, некоторые адреса и квитанции страхового общества «Саламандра».

По-видимому, это был план какого-то помещения: показаны окна, дверь, стены. На одной из внутренних стен нанесены дымоходные или вентиляционные каналы. От наружной, перпендикулярной стены в их сторону тянулась проведенная красным размерная стрелка с цифрами. От каналов, в обратную сторону, к острию той стрелки, тянулась другая, короткая: судя по всему, она показывала расстояние от каналов до какой-то точки на стене.

После рассказа Кобылинской Михеев показал ей эту бумажку. Клавдия Михайловна, не очень разбиравшаяся в схемах, признала, однако, в ней план помещения, куда водил их тогда с мужем Александр Иванович Пуйдокас и где он указывал на приготовленный тайник.

Анеля Викентьевна уже знала о разоблачениях Кобылинской, но, не смущаясь, отрицала все, даже бесспорные, легко доказуемые факты. Лишь увидев в руках у Михеева найденную в ее портфельчике бумажку, встревожилась. Более того — была потрясена. Окаменев лицом, долго молчала, потом зарыдала.

— Боже мой, боже мой! — всхлипывала она, заливаясь слезами.

Больше от нее Михеев не услышал ни слова.

Константин Иванович, приглашенный на беседу через несколько дней после встречи с Кобылинской, тоже, не смущаясь, почти начисто отрицал ее показания, признавая лишь самое неопровержимое: да, встречался с ними в Омске, да, приютил тогда у себя Клавдию Михайловну с ребенком, но о драгоценностях разговора не было, а говоря о «капле», он имел в виду то время, когда все романовское добро было у них, у Кобылинских, в руках. Да, он что-то получал в Тобольске от Кобылинского на хранение, не зная, что именно, но потом возвратил перед отъездом Кобылинского на новую службу в колчаковскую армию.

— Вы же видите, она истеричка, — говорил Пуйдокас Михееву извинительно-осуждающим тоном. — В таком состоянии чего не наговоришь. — Но, посмотрев на план, крякнул и криво усмехнулся.

— Жена выложила? — осведомился он. — Ну, что ж теперь делать... Ищите.

— Попробуем, — весело откликнулся Михеев. — Братец ваш поможет.

— Не поможет, — снова усмехнулся Пуйдокас.

— Что так?

— В Польше он.

— Вон как! — только и сказал изумленный Михеев. — И давно?

— В двадцать четвертом как будто.

«Это хуже», — подумал Михеев, но ощущение близкой удачи уже не покидало его.

На этот раз Омск встретил Михеева ранней весенней распутицей, суматошной воробьиной трескотней в гущах набухающих почками акаций, веселыми лентами ручейков, вприпрыжку бегущих к Иртышу по обочинам мостовых. Со степного заречья тянуло запахами просыхающих полей и упревшего за зиму ковыля. В затонах деловито тюкали топоры, тя-

жело бухала по железиым листам кувалда: речиики готовились к иавигации.

Разыскивая дом Алексаидра Пуйдокаса, Михеев вдоволь иабродился по городу, без особой, впрочем, иужды, ибо иайти его ие составляло сложиости, а просто так — иаслаждаясь весиой и солиышком, душевиым довольством от созиаиия близящейся к удачиому коицу сложиой операции.

Он посидел иа скамейке иаискосок иайдеииого, иакоиец, дома, иеспешио покуривая и разглядывая побуревшее от времеии кирпичиое здаиие, запылеииые за зиму окиа — то с кокетливыми кисейиыми заиавесочками, то с газетиым листом, прилеплеииым прямо иа стекло, а то и совсем иезавешеииые, с молочиыми бутылками и стопами кииг иа подокоиииках. На железной вывеске, висящей иад фроитоиом подъезда, даже с другой стороиы улицы легко читалось: «Общежитие рабфака».

И ие зиают, ие ведают шустрые рабфаковцы, грызущие по вечерам в этих комиатах граиит иауки, а в часы досуга распевающие хором «Молодую гвардию», что рядом с иими лежит клад, огромиое богатство, иа которое можио построить иесколько таких общежитий для тяиущихся к этому самому граииту иауки деловитых и смышлеиых ребят...

Вечером Михеев осведомился, как Коистаитии Иваиович переиес путешествие, иашел его бодрым и здоровым, в меру спокойиым, хотя и иахмуреииым, и с помощью местиого иачальства подобрал себе оперативиую группу, объясиив ей задачу предстоящей операции.

В группу вошли два оперативиых работиика и два «печиика» — бойцы из местиого дивизиоиа, зиакомые с печиым делом.

Дирекцию рабфака еще иакаиуие предупредили, что по распоряжеиию пожариой охраиы в общежитии будет произведен ремоит дымоходов и веитиляциоииой системы и поэтому на два-три дия комиату четвертого этажа и маисарды иеобходимо освободить.

Утром бригада «печников» пораньше отправилась на работу.

Комната, куда привел их Константин Иванович, полностью соответствовала плану, найденному в портфелике Анели Викентьевны.

Михеев мысленно отмерил расстояние от окна до тайника, отмеченное на плане, и увидел на этом месте плакат «Даешь Урало-Кузбасс!», к которому хлебным мякишем было приклеено расписание занятий.

— Здесь? — спросил Михеев Пуйдокаса.

— Вам виднее, у вас план, — нелюбезно ответил тот, садясь на голый топчан у окна.

«Ишь ты, как держится, — подумал Михеев. — Разыгрывает спокойствие по всем правилам. Посмотрим, какой спектакль ты готовишь к моменту, когда мы найдем все...»

— Давай, ребята! — подал он команду, отчертив границы разлома и постучав по стене печным молотком. Стена глухо гудела.

Сев в сторонке, Михеев с затаенным волнением наблюдал за работой печников. Холодок ожидания чего-то необычного щемил сердце, и он с жадностью закурил.

«Вот оно, — думал он. — Сейчас...»

Два топора вгрызались в стену. Серая алебастровая пыль штукатурки смешалась с буро-красной кирпичной пылью, вздымалась клубами от падавших на пол обломков и бесформенным облачком плыла по комнате, забиваясь в ноздри, садясь на плечи и лица людей серым моросным бусом.

— Крепка! — крякнул один из ребят, остановившись передохнуть.

Вот уже, прошуршав по стене, упал внутрь, в пустоту, обломок кирпича, выхлопнув в образовавшееся отверстие клубочек пыли. Михеев впился глазами в этот черный угловатый глазок, подавив в себе желание вскочить и заглянуть в него...

«В пустоту?..» — дошло вдруг до него, и он почувствовал, как к шее, к лицу подступила горячая волна крови.

В пустоту... Ои посмотрел иа Пуйдокаса. Тот сндел попрежиему спокойио, иебрежио листая иевесть откуда взятый «Учебиик обществоведеиия», ио глядя не в иего, а куда-то в стороиу.

Отверстие расширялось. Вот уже, глухо ухнув, упал второй кирпич, и Михеев, ие выдержав, подбежал к разлому. В иего еще иичего нельзя было разглядеть, нз зияющей черноты лишь тяиулась струйка бурой пылн н какой-то затхлый запах. Схватнв печной молоток, Михеев прннялся бить рядом, расширяя пролом.

— Подожди, товарищ. Не спеши, — тихо одериули его. — Все будет в порядке.

Опустив молоток, Михеев, одиако, не отходил от стеиы, пока разлом, наконец, не увеличнлся до размеров, позволивших загляиуть виутрь. Просуиув голову в узкую рваную дыру, ои зажег фонарик н, вдохнув удушливую пыль, увидел, что виутри иичего нет. Тайиик был пуст.

Михеев сел, отряхиул руки и пальто от пылн и вопросительио посмотрел иа Пуйдокаса. Тот уже броснл лнстать киигу, хотя по-прежиему держал ее в руках. Во взгляде его ие было насмешкн или злорадства, скорее — сочувствие, сожалеиие.

— Братец, — развел руками Пуйдокас. — Я вам намекал. Храиил здесь добро свое. А поехал в Польшу — забрал.

Мнхеев — злой, тяжело дыша, продолжал машинальио отряхнвать пальто.

«Не может быть, — думал он, — чтобы все так глупо...»

Пуйдокас натянуто зевнул и отложил, иаконец, учебинк, словно иамекал: пора, друзья-товарищн, по домам. Но один из печииков все еще зачем-то ковырялся в разломе.

«Нет, подожди... — продолжал думать Мнхеев, закурнвая папиросу и поиемногу приходя в себя. — Домой мы еще успеем. Дай сообразить — кто кого, где и когда надул».

— Можио закладывать? — спросил оторвавшийся, иакоиец, от разлома печник. — А где тут вода?

— Да, пожалуй, — рассеянно ответил Михеев, думая о своем. — А вода, по-моему, рядом, на кухне.

— Может, руки помоете? — предложил печник, вопросительно глядя на Михеева.

— Да, да. Можно...

— Товарищ Михеев, — зашептал ему парень, едва они вышли на кухню и закрыли дверь. — А когда, он говорит, вскрывали тайник-то?

— В двадцать четвертом, когда брат уезжал в Польшу, — ответил Михеев недоуменно, подставляя руки под обжигающую струю воды. — А что?

— Да то, что стену эту никто и никогда не ломал.

— Как так? — изумился Михеев.

— А вот так. Кирпичик тот же самый, что и внутри, в основной стене. Где бы он взял его через много лет, чтоб заложить свой пролом? То-то и оно. А кирпич тот самый, с одним клеймом. Я ведь не зря тебе говорю, до армии сызмальства с отцом по печному делу ходил.

Глядя, как он ловко и споро замешивает в ведре раствор, растирая время от времени его между пальцев и выбирая крупную гальку из зернистого тестообразного месива, Михеев прикидывал — что бы это могло значить: ведь тайником, выходит, никогда не пользовались?

«А Кобылинская? — мелькнуло у него вдруг. — Она говорила еще об одном предполагаемом месте, где-то там, на верхотуре».

— Вот что, друг... Отдай ведро напарнику и скажи остальным, что мы с тобой за кирпичом пошли. А сам — ко мне. — И Михеев легонько подтолкнул его в спину.

Через минуту они поднимались «на верхотуру». Узкая деревянная лестница с шаткими перильцами привела их в мансарду из двух небольших комнат. Та же скудная студенческая «меблировка», что и внизу: топчаны, колченогий стол, тумбочка и неуклюжий огромный шкаф, неизвестно как затащенный сюда. Отопления в комнатах не было, и зимами, видно, никто здесь не жил.

— А ну-ка, давай простучи стены... Да осторожно, леший, — ласково одернул Михеев печника, с решительным видом взявшегося за деревянную балодку. — Чтоб внизу не услышали.

Тот понимающе подмигнул ему, приложив палец к губам, и принялся тихонько выстукивать стену. Оба напряженно вслушивались.

— Есть, — сказал, наконец, печник, привалившись к стене ухом и осторожно постукивая вокруг найденной им точки, определяя границы внутренней пустоты.

— Та-ак, — сказал удовлетворенно Михеев, блестя глазами, и сел. — Так, друг ты мой милый... Теперь давай-ка мы с тобой покурим.

Они курили и думали, каждый о своем. Вндно было, что печнику очень хотелось спросить о чем-то, и он уже не раз, отрываясь от папиросы, поворачивал голову, но сразу же одергивал себя и снова посасывал свою «Красную звездочку».

— Вот так, — сказал, докурив, Михеев. — А теперь зовн-ка всех сюда. Всех.

Пуйдокас вошел первым, по-прежнему с книгой в руках. Он был все так же спокоен внешне, только в глазах появилось что-то новое, не то недоумение, не то растерянность.

— Начнем, ребята, — как ни в чем не бывало обратнлся Михеев к печннкам, показывая на очерченный прямоугольник.

Снова застучали топоры, брызнули осколки кирпича, потянулись облачка бурой пылн. На этот раз Михеев смотрел не туда, а на Пуйдокаса.

— Садитесь, Константин Иванович, — указал он на топчан и даже смахнул с него перчаткой пыль.

— Благодарю, — коротко ответил Пуйдокас, но остался стоять, прислонившись к стене с заложенными назад руками. Он уже явно беспокоился, бросая быстрые, напряженные взгляды на работающих и раздраженно отмахиваясь книгой от летевшей в его сторону пыли, которой он там, внизу, словно не замечал. Михеев открыл окно, и пыльное облачко поплыло на волю.

Когда обломок кирпича упал внутрь, обнажив в стене черный глазок пустоты, Пуйдокас закрыл лицо руками и сел на подвернувшийся ящик.

Но тут Михеев отвернулся от него: его слух снова уловил пустоту. Опершись ладонями на топчан и откинувшись назад, он вглядывался в расширяющийся пролом. Еще пять-шесть ударов, и...

Он невольно вздрогнул, услышав вопль Пуйдокаса. С искаженным лицом тот подскочил к стене и вцепился в кирпичи, пытаясь расширить пролом. Печники в удивлении отступили, вопросительно глядя на Михеева, как и оперативники, двинувшиеся было к Пуйдокасу. Но Михеев чуть заметно махнул им — не мешайте.

Срывая в кровь руки и чертыхаясь, Пуйдокас рвал стену, ожесточаясь ее сопротивлением. Выхватил у печника топор, стал с яростью, не глядя, колотить им, отплевываясь от летящих в рот брызг.

Наконец, можно стало увидеть, что там, внутри. Пуйдокас заглянул. Потом выпрямился, вытер окровавленной рукой пот с лица, обессиленно выпустил топор и, коротко выругавшись, отошел к окну. Стоял там, тяжело дыша и отплевываясь.

Все бросились к пролому. Мешая друг другу, стукаясь лбами, заглядывали в смутную темь, курящуюся красноватой пылью... Там, на дне, сквозь обломки кирпича виднелись лишь обрывки бумаги и заскорузлая, с пятнами глины, тряпка. Вытащив бумагу с помощью мастерка, Михеев разглядел кусок газеты и с удивлением прочитал ее дату: июнь 1924 года...

— Это как же...

Но он не успел докончить. Все рывком повернули головы к окну — на грохот железа с крыши. Там, на фоне синего весеннего неба вырисовалась грузная фигура Пуйдокаса и тут же исчезла. Растопыренная, словно в прощальном приветствии, четырехпалая ладонь у края карниза — последнее, что увидел Михеев.

Выбежав с черного хода во двор, Мнхеев еще с крыльца разглядел на грязно-сером снегу темное пятно — тело Пуйдокаса.

Воображение уже рисовало страшную картнну: кровавый мешок костей и мяса, размозженная голова, брызгн мозгов на заледенелых плитах двора...

Ннчего этого не было. Пуйдокас боком лежал на куче перемешанного со снегом мусора, подтянув коленн к грудн. Ни крови, нн разбрызганных мозгов. Пальцы руки, откинутой в сторону, слабо сжимались и разжимались, будто разгоняя усталость нлн прнзывая кого-то.

Михеев наклоннлся над Пуйдокасом. Один его глаз заплыл сплошным синнм кровоподтеком, зато другой хищно сверкнул из-под навнсшей густой брови.

— Что с вами? Вы можете говорить? — спросил Михеев прерывающимся голосом.

— Пся крев!.. — просипел коснеющим языком Пуйдокас, сверля единственным зрячим глазом Михеева. Потом вздохнул и закрыл и этот глаз.

— Грех-то какой! Упал, стало быть? — услышал Михеев голос и обернулся. Сзадн стоял дворннк, при фартуке н с лопатой в руках.

— Ба!.. Да это печннчок никак... — сказал дворник, вглядываясь в лнцо Пуйдокаса.

— Какой печник? — раздраженно спросил Мнхеев, но, вспомннв, что все онн сегодня печннки, чертыхнулся.

Сотрудннк побежал за машиной.

В больннце, куда привезли Пуйдокаса, профессор — полный желчный старик с жестким ежиком седых волос над большим морщннистым лбом — после осмотра больного сказал, отчужденно глядя на Мнхеева:

— Жить будет. Однако какого черта он?.. Впрочем, это ваше дело. Серьезных повреждений, опасных для жизни нет. Хотя с позвоночником еще не все ясно. Рентгена, к сожале-

нню, пока нет — барахлнт. Днагностнруем по способу Эскулапа. Но речн лншен надолго. Может быть, навсегда. Передвигаться тоже сможет не скоро. За транспортабельность не ручаюсь. И вообще — выйднте пока отсюда.

— Но ои же что-то пытался сказать мие там, иа месте падения. Кажется, выругался...

— Уднвнтельио, — недоверчнво н даже нроннчески посмотрел на Мнхеева профессор. — Но не невозможно. Нервный спазм...

Обратный путь опять привел Мнхеева к злополучному дому. У ворот все с той же лопатой в руках стоял дворник и приветлнво, как зиакомому, улыбнулся.

— Как, будет жнть печннчок-то ваш, нлн уж все, царствне иебесное?

— Знакомый он вам, я внжу? — осторожно спросил Михеев.

— Знаком не знаком, а видал, — усмехнулся старик.

— Жнть будет, ио ушибся снльно.

Собеседннкн былн явно заннтересованы в продолженнн разговора, стараясь, однако, не показать этого друг другу.

— Ишь ты, повезло. С экой верхотуры свалился... Папиросочкой не угостнте?

— Пожалуйста. Звать-то не знаю, как...

— Зовн Акнмом. Васнльевнчем, значнт.

Закурнлн, выжндательно поглядывая друг на друга — кто сделает первый ход.

— А где ж вы с ним вделнсь, Акнм Васнльевич? — решнл взять на себя нннцнатнву Мнхеев.

— Здесь вот н виделнсь. У ворот. Этак же вот беседовалн.

— Когда?

— Года полтора-два, надо быть. Постой... Лето было. Значнт, скоро два.

— Да уж расскажи, что н как. Вспомни.

— Интересуешься? — со вкусом потягивая душнстую папнросу, поннмающе прнщурнлся дворник.

— Есть интерес.

— Да что тут вспоминать-то, — играл в таинственность дворник, догадываясь, что беседа эта неспроста. — Пришел вот так же. Меня встретил. Спрашивает, не надо ли печи-дымоходы проверить. Он-де слышал, неисправности есть. — А ты можешь? — говорю. Потому вижу — облик не тот, на мастерового не похож. Опять же руки чистые, нет того, что у нашего брата, кто с грязью да с сажей дело имеет. Могу, — говорит. Ну, можешь, так иди к начальству. Оно такие дела решает. Мы народ рядовой, сполняй, что приказано.

— Пошел?

— Пошел. Только не вышло ничего. Начальство сказало: средств на ремонт нет. Тот говорит: я дорого не возьму, потом отдадите. Нет, не согласились. Так он, печничок-то, недели через две еще раз пришел — бесплатно, говорит, сделаю, у меня, говорит, здесь родственник учится, зимой мерзнет, жалко, говорит.

— И разрешили?

— Нет, не допустили. Конференция какая-то случилась, делегатов на время поселили. Некогда, говорят, дядя, потом сделаем. Так и ушел ни с чем, печничок-то... Этак же вот на прощанье постояли, покурили. Я его спрашиваю: не состоите ли в родстве с хозяином старым с Лександром Иванычем? — А что? — говорит. — Да с лица вроде чем-то смахиваете. — Нет, говорит, не состою. Не знаю такого. Недавно здесь, издалека приехал.

— А ты, Аким Васильевич, и старого хозяина знал? — перешел на «ты» Михеев.

— Знал, — выдохнул через ноздри дым дворник, с сожалением поглядывая на догорающую папиросу. — Дом-то его в казну забрали, а фатеру ему оставили. Выбрал себе почему-то повыше, аж на самом верху. Я в истопниках тогда ходил. Ну, и видел его, конечно, пока он в Польшу не уехал.

— Как он жил тут, чем занимался? — спросил Михеев, предлагая раскрытый портсигар.

Вежливо и осторожно вытащив папиросу крупными не-

гнущимися пальцами, дворник повертел ее в руках и пристроил за ухо, под шапку.

— Про то не знаю. Это лучше его дружка спросить, Ивана Карлыча. Эвон дом-то наискосок, с палисадничком. Часовой мастер Иван Карлыч, так и спроси. В шахматы все играли с Лександром-то Иванычем. Мудреная игра. Сколь ни смотрел на других, одолеть премудрости не смог. Не по мне.

— Ну, что ж, спасибо, Аким Васильевич, за беседу.

— Чего уж там... Мы тоже кумекаем, что к чему. Пригодится, значит, разговор-то?

— До свидания, Аким Васильевич, — попрощался, не отвечая, Михеев.

Иван Карлович оказался дома, удержанный приступом радикулита. Покряхтывая и держась за спину, он поднялся навстречу нежданному гостю и, узнав, что того интересует, тревожно задумался, пропуская сквозь кулак узкую, клинышком, бородку.

— С Александром Ивановичем Пуйдокасом, — начал он, солидно откашлявшись, — я действительно встречался. Многие годы. Наши... э-э... магазины стояли рядом. Да и жительством недалеки были. Мой магазин, часовой, как всем известно, разграбили белые, даже побили при этом, знаете ли... Какой рекламный Бурэ пропал, вы бы видели! Весь город должен помнить — танцующая маркиза, с музыкой и четвертьчасовым боем... Впрочем, простите, отвлекся. Так вот, встречаться, не скрою, встречались. И часто. Но дружить... Как вам сказать... Нет, не дружили. Все-таки разные люди. Я не разделял его... э-э... крайних взглядов.

— Когда он уехал в Польшу?

— В двадцать четвертом. По репатриации. Как поляк. Хотя родился и вырос в России и никогда прежде в Польше не бывал. Его родители, это верно — выходцы из Прибалтики.

— Он увез с собой в Польшу какие-нибудь... ну, ценные вещи, что ли? Ведь жить-то ему там на что-то надо было.

Часовщик хотел откинуться на спинку кресла, но закряхтел от боли, вызванной резким движением.

— Э-э... Не знаю. Не был посвящен.

— Но могли знать по рассказам?

— По рассказам... э-э... По рассказам кое-что знал. Но ведь, сами понимаете, рассказы — это... Я за них не отвечаю.

— Ну, что ж, давайте — не отвечая.

Рассказы, за которые не хотел отвечать Иван Карлович, оказались рассказами самого Александра Ивановича Пуйдокаса.

Для выправки репатриационных документов ему, конечно, пришлось предварительно побывать в Москве. Вернувшись оттуда, уже с визой и паспортом в кармане, он, собравшись в дорогу, пришел попрощаться со старым другом и, разоткровенничавшись после стаканчика-другого, хвастливо заявил, под секретом однако, что теперь-то он не пропадет. Зная, что провезти ценности через границу не удастся, он сумел пристроить их к багажу одного дипломата, отбывающего на родину. Взял у него расписку с правом получить по ней все добро там, в Варшаве, в министерстве иностранных дел. С тем и уехал.

Однако года через два в Омске побывала, проездом в Харбин, жена Александра Ивановича, Мария Вацлавовна. Проливая слезы, она поведала о злоключениях семьи в Panстве Польском. Надеждам Александра Ивановича на безбедную жизнь сбыться не довелось, судьба решила иначе. Дипломат, которому он доверил свои драгоценности в надежде провезти их через границу контрабандой, оказался мошенником. В министерстве, куда пришел с его распиской Пуйдокас, на нее посмотрели с улыбкой. Они сами не прочь предъявить тому пану дипломату некоторые претензии. Но, увы, он где-то в бегах, удрал в другую страну, сменив обличье и имя. Расписка написана на частном бланке пана дипломата и силы документа, увы, не имеет.

Александр Иванович от огорчения слег. Да так и не вставал больше — Мария Вацлавовна похоронила его и осталась

оплакнвать свою вдовью долю. Не очень еще взрослый сын попробовал стать кормильцем семьи, но в условнях жесточайшего кризнса, охватившего в те годы Польшу, прнлнчного заработка найти так н не смог. Поехал искать счастья в другие края. В Харбнне кое-как устроился шофером и был рад этому — жить, хоть бедно, можно. Вызвал к себе мать. Вот она н поехала к нему.

— Я могу все это запнсать с вашнх слов н попроснть вашу подпись? — спроснл Михеев.

— Э-э... Как угодно. Но, сами поннмаете, я отвечать не могу...

— За свон-то слова отвечать можете?

— За свои... э-э... могу.

Мнхеев наскоро записал показання. Иван Карловнч вывел свою каллнграфически четкую подпись с курчавым росчерком.

— Благодарю. Будьте здоровы, — попрощался Мнхеев.

— Желаю и вам здравствовать, — расшаркался, держась за поясннцу, Иван Карлович.

— Где ты пропадаешь? — встретнлн в Управленнн. — Тебе срочная телеграмма.

«Что там еще?» — обеспокоенно думал Мнхеев, спеша по длннному коридору в указанную ему комнату.

Телеграмма гласнла: «Анеля Пуйдокас покончнла самоубийством срочно выезжайте».

У Мнхеева опустилнсь рукн.



КЛАД ИМПЕРАТОРА

— Вот так, — встретил Михеева Патраков в своем кабинете, сумрачно складывая бумажную гармошку. — Анеля Викентьевна приказала долго жить. Мужу. А он, оказывается, тоже. Что там случилось?

Михеев рассказал.

— М-да... — вздохнул Патраков. — Досадно, конечно, что все так получилось.

— Знаю, вииоват — на минуту отвлекся, и вот... — развел рукамн Мнхеев. — Но разве предусмотрншь? Если человек задумал такое, то сделает. Он ведь мог просто о стенку головой — в такой яростн был. А я, что ж — готов отвечать...

— Ну, ты очень-то не терзайся, — сдержанно успоконл его Патраков. И Мнхеев оценнл это необычное для начальинка доверительное «ты». — Твоей внны тут нет. Всего не предусмотрншь, это верно. Жнть он, твой парашютнст, будет, а что расшнбся, так ведь ннкто его не толкал на это. С чего бы он все-такн, как думаешь?

Мнхеев, прежде чем ответнть, помолчал.

— Добра жалко.

— Это-то ясно, — усмехнулся Патраков. — Какого?

Мнхеев снова замялся, потом угрюмо н виновато ответнл:

— Своего.

— Как — своего? — отброснл Патраков уже совсем почти законченную бумажную гармошку. — Вы ж за царскнм добром гонялнсь, за тобольским кладом?..

Но Мнхеев будто ждал этого удивлення н, оправившнсь от смущения, заговорнл твердо н убежденно:

— За чужое добро он не стал бы с жнзнью расставаться, пусть это даже и царское добро было бы. Не такой уж он правоверный монархнст. Для него царь н бог — свое добро.

— А может, он царское добро уже считал своим?

— Тогда он его давно бы пустил в дело, — спокойно парнровал Мнхеев, казалось, неотразимый удар Патракова. Тот молча взглянул на него н вновь прннялся складывать бумажиую гармошку.

— Вы смотрнте, что получается, — с жаром продолжал Михеев. — На какне-то средства он в годы нэпа обзавелся рядом солндных предприятнй. Из Тобольска таких средств ои прнвезти не мог — большинство пропало в банках нлн обесценилось. То, что было у него чужого, ои стал счнтать своим и реалнзовал. Позднее, когда нэп кончился, опять обратил добро в портатнвные ценности, но уже другого порядка — меиее подозрнтельиые и более удобные для реалнзацнн. И он,

да и ие он одии, знал, что в Тобольске где-то осталось гораздо более существеиное богатство. Вероятно, все же в моиастыре...

— Ты думаешь?

— Увереи. Не увереи лишь в том, что оио и посейчас там лежит.

— Уверенность — дело хорошее, но факты важиее, — буркнул Патраков.

— Зиаю, — уныло согласился Михеев. — А что, кстати, с жеиой Пуйдокаса, с Аиелей?

— А что с Анелей, — иасупился Патраков. — Тоже что-то недосмотрели, хотя вроде и тут иикто ие виноват... Соседки по камере заметили: мучается от боли, а что с ией ие говорит. Позвали врача. А остальиое... На вот, читай.

Михеев взял подаииые ему листы с актами и докладиыми. Патраков, хмурясь, следил за тем, как ои жадио пробегал глазами по строчкам.

Да, Аиеля Викентьевиа придумала себе жестокую смерть. Разломав алюмииневую ложку иа мелкие острые кусочки, проглотила их. Раиы пищевода, желудка и кишок были так серьезиы, что врачи уже ие смогли спасти ее. Перед смертью передала дежуриой сестре записку для мужа: «Прости, что так получилось. Но, поверь, я ие зиаю, как этот плаи попал в мои бумаги. У меия его ие было, ты мие его ие давал, ты это зиаешь. Но зиаю, что ты ие простишь мие, и ие хочу терзаться этим».

— Плаи ложиый! — зло бросил Михеев, оторвавшись от чтеиия.

— Ты думаешь?

— Теперь — зиаю. Потому ои его и положил поближе к Аиеле, чтобы отвести следы в стороиу. Сам же ее и убил, выходит. А в этом тайиике иикогда иичего ие было. Тогда же устроили другой. И иикому ие сказали о нем — для иадежности. Даже Аиеле. Плаи же сохраиили. На случай, если, скажем, те же Кобылиискне или кто другой потребуют клад или

выдадут его местоиахождение. Вот, дескать, все правильно, был тут клад. Был да сплыл. А где, иам иеведомо.

— Хитро.

— Выходит, так.

— А ие чересчур хитро? — прищурился Патраков. — Доказать сумеешь?

— Постараюсь.

— Постараешься... Удастся ли еще. Пойдем-ка к Свиридову. Ждет, — сказал Патраков, взгляиув иа часы.

— Ну, рассказывай, герой. Что там натворил?

Свиридов, иепосредствениый иачальиик Патракова, в Управлеиии был человеком иовым. Лишь иедавио его перевели с повышением из какой-то дальней области, где он сумел быстро выдвииуться. Но к стилю работы иового начальства уже привыкли, и Михеев поймал себя на том, что вопрос был сформулирован именно так, как ои и ожидал.

Слушая доклад, Свиридов вышел из-за стола и прохаживался по кабинету, заложив руки иазад, время от времени останавливаясь перед Михеевым и хмуро разглядывая его.

— Прошляпили, зиачит, — резюмировал ои раздражеиио, когда Михеев закончил. — Этаких свидетелей, поинмаешь, выпустили из рук. Не все предусмотрели, выходит. А кто за это отвечать будет?

— Я, — сглотнул слюиу Михеев.

— Эва, открытие сделал... А за потерянное время кто ответит? Ведь чуть ие год крутишься вокруг да около, а результатов — иоль целых иоль десятых. Отвечать, поинмаешь, мие.

Михеев с иадеждой посмотрел на Патракова, словио ища защиты. Тот сидел, облокотившись иа стол и подперев подбородок рукой, будто хотел таким образом иакрепко закрыть рот.

— Что будем делать, Патраков? — обратился к нему Свиридов. — Операция провалеиа, это факт. И нечего больше беллетристикой заниматься, драгоценности ваши — тю-тю,

уплыли. Закрывать надо дело. А об этом, — он кивнул на Михеева, — еще поговорим...

— Закрывать, по-моему, еще рано, — отозвался, не меняя позы, Патраков. — Закрыть всегда успеем. Надо еще взвесить кое-что. Не все ниточкн до конца дотянуты. Дело не простое, гарантин успеха никто дать не мог.

— Дотягивать, дотягнвать... — проворчал Свиридов, снова усажнваясь за стол. — Мы не у тещи в гостях. Дел много, а вы тут...

Вернувшнсь к себе, Патраков и Мнхеев подавленно молчалн.

— Что думаешь делать дальше? — спросил Патраков, отбросив надоевшую гармошку.

— Монастырь... — вздохнул Мнхеев.

— Значит, с чего начали, к тому и пришли, — усмехнулся Патраков. — А данные?

— Данные есть.

— Беллетристика? — опять улыбнулся Патраков.

— Да, и беллетристика тоже. Вот смотрнте, — достал нз папки свон записи Михеев, — как тянутся к Тобольску все те, кто имел какое-то отношенне к драгоценностям. Хотя Тобольск для них город отнюдь не родной и ничто их с ним не связывает. Даже, прямо скажем, опасный для них, бывших царскнх прнслужников. Ну, у Кобылинской, положнм, там мать жила — она перевезла ее еще перед отъездом в Сибирь. Но, вернувшись-то из Омска, она прожнла в городе сколько? Больше двух лет, до двадцать второго года! Каменщиков жнвет там до двадцать пятого. Чемодуров — до своей смерти, в девятнадцатом году. Владимировы — до тридцатого, да еще и после зачем-то наведываются. Преданс — аж до сегодня, ннкуда не выезжая. И Гусева тоже вернулась из Снбнри в Тобольск, пусть ненадолго. Жильяр был зачем-то в монастыре, специально приезжал из Екатерннбурга в августе-сентябре восемнадцатого года. Волков — тоже где-то вслед за ннм.

Заметьте, съездил после этого во Владивосток — и опять ненадолго в Тобольск, в монастырь. Неподалеку, в Тюмени, долгое время, до последних лет, жили Ермолай Гусев и Сергей Иванов — царские лакеи. Похоже, что они все — как приклеенные к Тобольску, не могут расстаться с ним, а жить здесь им и невыгодно, и небезопасно. И Пуйдокас тоже вернулся в двадцать шестом в Тобольск. Жил по двадцать девятый. Распутать надо этот тобольский узелок.

— Все это совпадения, за которыми может ничего не стоять.

— Но ведь мы только на этих «может, не может» и вели все дело. Фактов, документов у нас в руках никаких не было, — взмолился Михеев.

— Это верно, — согласился Патраков. — Начальник тут погорячился. Я уверен — оттает. А тебе пока... Слушай, ты когда в отпуске был?

— Года два назад. А что? — обеспокоенно спросил Михеев.

— Иди-ка ты пока отдохни. И начальству глаза мозолить не будешь, и мозги свои проветришь.

— Гоните, значит?

— Гоню, — спокойно взглянул на него Патраков.

— А дело — в архив?

— Это еще посмотрим.

— Ну что ж, — вздохнув, встал Михеев. — Разрешите идти?

— Иди. Да не куксись, как мышь на крупу. Всякое бывает.

Патраков вышел из-за стола и положил на плечо Михееву руку с негнущимся указательным пальцем.

— А вернешься... Словом, помни: я не меньше тебя хочу верить в успех.

— Спасибо, — сказал Михеев и, ссутулившись, пошел к двери.

Через день, получив путевку в дом отдыха и побросав в чемоданчик нехитрый отпускной скарб, Михеев отправился на вокзал.

Пошел нарочно пешком, словно отдаляя минуту, когда придется сесть в поезд н почувствовать себя рядовым отпускником, позабывшнм о службе, о деле, которому отдано столько времени, снл н нервов. И хотя утренний ветерок весело трепал полы его плаща н сгонял к горнзонту последнне тучкн, предвещая погожнй день, на душе у Михеева было совсем не так сине н безоблачно, как сегодня на небе.

«Черт меня знает, — честнл он себя, — где я мог прошляпнть, как сказал Свирндов? Конечно, дело начальства требовать н строжнть, но... Где в этом запутанном клубке тот кончнк, который поможет распутать все? Сколько нх было в этн месяцы, кончнков-то. Но ведь опробовать ложные кончнкн н отброснть их — дело тоже необходнмое. Как это... метод нсключення — говорнлн на курсах. А в деле этом не все еще нсключено, нет... Ну, ннчего, отдыхай, Мнхеев, хотя это для тебя не отдых, а, скорее, мука. Есть еще кончнкн, есть. Ощущенне такое, что он, нужный кончнк, где-то совсем близко, рядом, вот-вот попадет в рукн, н тогда развяжется, наконец, запутанный тобольскнй узелок. А пока — езжай себе в Тавду н отдыхай, как прнказано...»

Мнхеев подошел к кассе н пробежал взглядом таблнцу стонмостн проезда. Где она, Тавда? Талнца, Турннск, Тюмень... Тюмень?..

— Один до Тюменн, — протянул он в окошко кассы деньгн н, довольный, рассмеялся. Касснрша недоуменно осмотрела себя, но, не найдя ничего смешного, обндчнво поджала губы.

— Ты?! Какимн ветрами? — вытаращнл на него глаза Сандов. — Что не предупредил? Срочное что-то?

— Очень срочное, — нграя в серьезность, ответнл Мнхеев. — Отдыхать, Саша, прнехал. В отпуск по прнказанню начальства. Рыбку половнть, зайцев пострелять.

— А мамонтов не хочешь? Какая тебе сейчас охота, срокн вышлн. А рыбку... Рыбку можно. Только не в мутной воде, случаем, ловнть будешь?

— Кто меня знает, — хохотнул Михеев. — В какой придется, куда приведешь. Ты сам, чай, тоже рыбак?

— Бывало. Ловил штанами пескарей. Нет, ты не темни, говори, зачем приехал?

— Говорю тебе — отдыхать. Будто у вас тут места для отдыха плохие?

— Как кому, — усомнился Саидов. — Цари сюда добрых людей ссылали — отдыхать, значит. А нам ничего, якши. На курорты не ездим, здесь хорошо.

— Ну, так вот, считай меня тоже тоболяком. Приюти где-нибудь на сеновале, снасть какую ни на есть рыбацкую дай, а остальное уж моя забота.

— Это можно, — обрадовался Саидов. — Отдыхай, не пожалеешь. У нас хорошо. Кто понимает... А по рыбалке я, извини, не спец. Это вот сын у Анисьи Тихоновны — тот дока по этой части. Помнишь хозяйку твою, не забыл? У нее, кстати, и устроишься. У меня, боюсь, не поглянется: опять приращение семейства. Пацаниха ночью будить станет.

— И это дело. А уж по ягоды — вместе. Идет?

— Тут в самую точку попал. Хоть каждый выходной. Ягодничать я люблю.

К вечеру Михеев уже сидел в знакомой кухонке вместе с Анисьей Тихоновной и ее сыном, запивал крепким кирпичным чаем вкусные шаньги с картошкой.

— Рыбка — это хорошее дело, — гудел неожиданным для его небольшого роста раскатистым баском сын хозяйки, Андрей Иванович, утирая полотенцем выступающий на лбу и шее обильный пот. — Я, к примеру, окуньков люблю. Рыба вкусная, что в ухе, что на сковородке. Берет, долго не думая, а вытащить нелегко — умение требуется. Леску всегда вслабину закидывай. Он — хвать, а ты не торопись тащить, подай ему запас лески-то, ужо когда натянет, тогда и тащи — твой будет. Лови в тихих местах, у обрывистых берегов, где коряг много, по дну он там, шельмец, держится.

Михеев и в самом деле с интересом слушал рассказы бывалого рыбака.

— А сетью брать рыбку не любите? Улов-то сразу какой!

— Сеть не люблю. Это дело промысловое или там компанейское. Ну — улов большой, ну и что? Мне ни к чему, нам с маманей ведерка хватит. Зато посидишь в свое удовольствие на бережку, ветерком свежим речным подышишь, думку свою подумаешь — таково хорошо. А сеть не по мне, не уважаю. Не любительское это дело, тут всегда жадностью пахнет.

Он на минуту задумался о чем-то и, опрокинув чашку на блюдце вверх дном, обратился к матери:

— А знаете, маманя, нашелся ведь хозяин тех сетей. И не угадаете кто. Хозяин дома сего!

— Да ну, скажи, пожалуйста, — удивилась Анисья Тихоновна.

— Каких сетей? — полюбопытствовал Михеев.

Андрей Иванович не спеша скрутил цигарку и пыхнул в сторону форточки дымом.

— Да было тут дело такое. Заявляется к нам в милицию человек. Так и так, говорит, охотился в тайге и обнаружил замаскированную землянку. Вскрыл. А там сети, в промасленную парусину завернутые, добротные, норвежские, и мотор с баркаса, тоже надежно упакованный. Заподозрили хищение, было такое дело года два назад на рыбной пристани. Но пристанское начальство не признало добро своим. Стали искать, чье. И — никаких следов. Словно черти лесные заховали. И вот только вчера один старикан вспомнил: томиловское, говорит, это. И Томилова знаю, жила, говорит, мужик, что надо. Когда удирал из Тобольска, схоронил до случая. А теперь, говорят, в Казани плотничает, видел его там кто-то из наших. А Томилов — это тот самый, кому дом принадлежал, где мы сейчас живем.

— Томилов? — переспросил Михеев, привычно пропуская чем-то знакомую фамилию сквозь фильтр памяти. Он уже почти не слушал продолжавшего свои рыбацкие байки Андрея Ивановича, сосредоточенно думая о своем. И вот — стоп! Нашел.

Дождавшись паузы и притворно зевнув, он пожелал хозяевам покойной ночи и, закрыв за собой дверь, бросился к чемодану, где лежала тетрадь с только ему одному понятными записями.

Так и есть. Томилов — это тот единственный из знакомых Мезенцевой, которого она не захотела признать знакомым. Даже, кажется, более чем просто знакомый. Тобольский узелок чуть-чуть поослабел.

— Скажи-ка ты мне, пожалуйста, адрес той самой древней старушки, у которой, помнишь, опорки совсем худые были. Агния, кажется, — попросил он на другой день Саидова.

— На, возьми, — подал ему Саидов адрес, порывшись в бумагах. — Что тебе еще от нее понадобилось? Взять с нее, ровно, мы с тобой все взяли. Впрочем, твое дело. Может, вызвать сюда?

— Нет, что ты, не надо. Я — так. В гости. — И Михеев похлопал рукой по лежавшей на коленях обувной коробке.

— Задобрить хочешь?

— Жалко ведь — старуха. Ноги больные. А я не разорюсь как-нибудь.

Бабку Агнию он нашел на одной из окраин Тобольска, в махоньком двухоконном домишке, подслеповато глядевшем в переулок из-за кустов калины.

— Ты, Дементий, что ли? — откликнулась она из-за ситцевой занавески за печкой, скрывающей кровать, в ответ на приветствие вошедшего в избу Михеева. — Не пришла еще хозяйка, гудка не было. Зайди после. А я вот занемогла, ноги к погоде ломит, спасу нет. Ох, не берет меня бог. Сама мучаюсь, людей мучаю...

— Я к вам, бабушка, — сказал погромче Михеев, тщательно вытирая ноги и хмуро оглядывая немудрящую внутренность избы.

— Сейчас, иио, встану. Погоди.

— Да вы лежите, — подошел к кровати Михеев.

Но старуха уже села, откинув занавеску.

— А, начальничек, — узнала она. — Доброго здоровья. Помню тебя. Хорошо обошлись со старухой, извозчика дали. Ни в жизнь не езживала на таком. Спасибо. А то мне, старой, долго бы плестись до дому... Чего пожаловал?

— Хочу спросить, бабушка. Не обо всем тогда переговорили, — начал Михеев. — Когда игуменья умерла, вы в тот день безотлучно при ней были?

— Безотлучно, батюшка, безотлучно. Куда мне было отлучаться?

— Не помните ли, кто в тот день побывал у игуменьи?

— Дело давнее, где упомнить всех-то...

— А что, много перебывало? Очень это важно, бабушка, знать. Вспомните, пожалуйста.

Старуха задумалась, опустив голову. Потом, подняв слезящиеся глаза на Михеева, расплылась в беззубой улыбке.

— Нет, помню... Тихо у нас в тот день было. Как на особицу, мало кто заходил. Дня два-три перед этим, надо быть, ГПУ приезжало, вот все и сидели по кельям, как мыши. Ждали, что дальше будет. А в тот день — вот и верно, не забыла — Устинья-странница у меня сидела и таково-то долго рассказывала о святых странствиях своих. Весь день, почитай, и беседовали, никто не мешал. Мешал бы, так ушла. Это уж я верно говорю, до игуменьи в тот день никто не приходил. Только наши. Препедигна, помню, была, она и последнее дыхание матушки приняла. Зашла к ней с самоварчиком, а вскорости выбежала и кричит: «Матушка преставилась!» Ну, а мы...

— А еще кто?

— Ты не торопи. Дай вспомнить. Так-то все, по порядку, я лучше вспомню...

— Мезенцева, Рахиль то есть, не была ли?

— Рахиль не была. Она в ту пору уехала. Накануне приезжала, это верно.

— Как — накануне? — удивился Михеев.

— А вот, скажем, сегодня матушке умереть, а Рахиль вчерась была. В деревню за ней посылали. Она не то мать, не то

отца хоронила, ну и жила там неделю ай две... Ну вот, приехала она, провела весь день наедине с матушкой и опять уехала. После уж вернулась, через сколько — не помню. Где вспомннть, старая стала, совсем старая...

— А еще кто?

— Ну, там послушницы заходили, в келье прибрать, постель застлать, посуду вынести — где их всех упомнишь.

— А из мирских?

— Из мирских — нет, не было. Откуда им, не до того в те поры.

— Томилов не был ли, купец?

— Тот день не был. Его-то бы запомнила, хороший мужик, обходительный, бога не забывал. Игуменья его привечала. А в тот день не заходил. Чего не было, того не было.

— А Рахиль знала его?

— Как не знать. С малых лет знала. Еще когда у отца-матери жила. Из-за него, можно сказать, и в обитель ушла.

— То есть?

— Любились онн, а Василию отец согласия не давал. Другая у отца на примете была, с приданым хорошим. Василию бы выделиться да взять Марфу-то за себя... Марфой ее в миру звали... А он не посмел отца ослушаться, женился, как было велено. Ну, а Марфа в монастырь пошла: родители у нее богомольные, не препятствовали, рады, что дочь хрнстовой невестой станет. Только она долго еще, лет пятнадцать, постриг не прннимала, ровно все ждала чего-то. Так в послушницах года до двадцатого н ходнла. Зато потом сразу благочнннной стала — порядки все монастырские хорошо знала, городским подворьем столь времени ведала. По представлению игуменьн архнерей ее и рукоположнл сразу же... А после, как разогнали монастырь, у архиерея жила в доме, прислуживала. Потом у Василия Михайловича, до поры пока он не уехал и дом у него не отнялн.

Старуха заметно устала, голова ее клонилась все ниже, сникал голос, срывавшийся на шепот. Увлеченная воспоминаннями, она, как видно, не прочь была бы продолжнть разго-

вор, но Михеев решил дать ей покой. Сунув незаметно под подушку сверток, он встал.

— Ну, спасибо, бабушка. Устала, небось? Живется-то как?

— Как старой живется... Доживаю вот свой век. Не приберет господь никак. Спасибо Петровне, приютила старость мою. Сама не в достатке, видишь, — обвела она головой избу, — а бедную старуху приветила, пригрела. Робит деньденьской, а я ей даже обеда сварить не могу, совсем занемогла.

— И не помогает вам никто, не навещает?

— Кому мне помогать? Сытый голодного не разумеет. Да я и не голодная, много ли мне надо. Картовочку пожую, чайком запью — и сыта... А навещать, было дело, навещали... Вот Марфа... Не привыкла я ее Рахилью-то называть, все Марфа да Марфа всю жизнь была, только уж под старость, в двадцатом году Рахилью стала...

— И часто она вас навещала?

— Где часто, однова только и была. Рыбки принесла солоненькой, творожку криночку. Вспомнила, вишь, нашла.

— Когда же она была у вас?

— Да вот, кажись, сразу после того, как я у вас с ней повстречалась.

— Что она вам рассказывала, когда приходила?

— О себе мало что говорила, живу-де у добрых людей, кормят, говорит, поят. Больше все меня спрашивала.

— О чем?

— Как живу, то да се. И об этом спрашивала, чем, дескать, начальники интересовались. Я говорю — о монастыре. Как жили, как молились, когда его закрыли. А больше ничего не рассказывала. Я ведь помню, слово давала вам не сказывать, о чем разговаривали. А уж слово дала, сполнять надо.

— Ну, доброго здоровья вам, бабушка. Поправляйтесь...

Михеев легонько коснулся ладонью ее пергаментной сморщенной руки.

— Спаси тебя бог, касатик, — проскрипела старуха вслед.

Нет, не пришлось порыбачить Михееву, половнть красноперых окуней у крутых берегов Тобола. К удивлению еще даже не успевшего подготовить снасти Андрея Ивановича, он собрался в обратный путь. Но, понимая службу, Андрей Иванович не стал докучать расспросами.

— Нужно — значит, нужно, чего уж там, — сказал он забеспокоившейся Анисье Тихоновне: не остался ли чем недоволен гость.

Саидов же, которому Михеев рассказал о своем визите к Агнии, ликовал:

— Верно говоришь. Это кончик надежный. Надо тянуть его. Хитро ты связал одно с другим, я б, пожалуй, недотумкал. Буду ждать, дорогой, возвращайся скорее. Не взять ли их заранее?

— Ни в коем случае. Трогать пока не будем, — сдерживал его Михеев. — А ты пока вот что... Разыщи и вызывай из Казани Томилова. А за Мезенцевой организуй догляд, чтоб о каждом шаге ее знать. Сделай, пожалуйста, это пооснова-тельнее и... потоньше, что ли.

— Не беспокойся.

Еще неделю спустя Михеев вернулся с полномочиями на продолженне операции. К его удивлению, Свиридов охотно подписал командировку, заметив при этом:

— Смотри там — поменьше беллетристики. Валюта нужна, понимаешь, очень. Вон как строить размахнулись, — кивнул он на развернутую газету.

Саидов ввалился в кабинет Михеева, когда тот уже собрался уходить. Он оседлал стул, лицом к спинке, и, раскачиваясь на нем, доложил:

— Все в порядке, товарищ начальник. Наблюдение работает. Мезенцевой о приезде Томилова сообщили.

— Ну и как?

— Сидит дома. Картошку перебирает. А вечером вышла. Ходила квартиру для Томилова искать.

— Нашла?

— Как не найти... Особенно с нашей помощью. У кого бы ты думал? У тетки жены моей. Рахиль это не знает, я к тетке не хожу: богомольные они, а я коммунист. К тому же татарин, нехристь. Мне и так чуть выговор не сунули, за то что теща ребенка нашего тайно окрестила.

— Квартира — это хорошо, — одобрил Михеев.

— Чего хорошего? — удивился Саидов. — Жить-то ведь будет на казенной, на наших харчах.

— Там посмотрим, — уклончиво заметил Михеев. — А ты тетку навести, нехорошо. Двоюродная теща вроде. Ну, хоть завтра к вечеру.

— А что я там буду делать, у двоюродной тещи в гостях?

— Это я тебе потом скажу. А пока пойдем-ка, друг, спать. Завтра с утра пораньше пойдем мы с тобой, Саша, в томиловский дом.

— Это еще зачем?

— Клад искать.

— Ты скажешь, — усмехнулся Саидов, одеваясь. — Так бы все быстро...

— Быстро... Мы и так с тобой эвон сколько мозги сушим и себе и людям. Кончать надо. Начальство требует.

— От приказа бы только зависело... — вздохнул Саидов. — А где этот томиловский дом, кто в нем живет? Почему я не знаю?

— А ты и в самом деле не знаешь? — всерьез удивился Михеев. — На вот, читай адрес.

Саидов взял бумажку и вытаращил глаза: это был адрес жилого дома горотдела милиции, где Михеев останавливался в прошлый приезд.

В этом месте правый берег Иртыша переходил постепенно в просторный луг, в бурные весны заливаемый половодьем. Старый дом Томилова, неказистый, но добротный, на совесть рубленный пятистенок под железной крышей, с прочными воротами из двух вершковых плах, ничем особенным не выде-

лялся среди своих собратьев. К берегу усадьба выходила огородом, а другой межой примыкала к ограде бывшего мужского монастыря.

— Ты что, по старой своей хозяйке соскучился? — донимал Саидов Михеева по дороге к дому Томилова, прыгая через лужи и чертыхаясь в затруднительных местах, когда размер лужи превосходил его легкоатлетические способности. — Или думаешь, что милиционеры твой клад хранят?

— Сейчас поймешь.

— Мог бы сказать, — ворчал Саидов.

— Я и сам не все еще знаю, — с сожалением в голосе оправдался Михеев.

— Здравствуйте, гостеньки. Что рано? — встретила их Анисья Тихоновна. — Ай опять на постой, Михаил Сергеевич?

— Кто рано встает, тому бог подает, — так деды говорили, — отшутился Михеев. — На постой не на постой, а погостюем, если не прогонишь.

— Садись, гостем будешь. Чаю подать?

— Спасибо, пили уже.

Хозяйка поняла, что гости пришли не с бездельем, села и, оглаживая рукой скатерть, выжидающе поглядывала на Михеева и Саидова.

— Знаете вы, Анисья Тихоновна, — начал Михеев, — чей этот дом прежде был?

— Нет, не знаю, сынок. Мы приезжие. Только вот третий год живем. А до нас тут исполкомовские жили.

— И не бывал тут при вас никто по поручению старых хозяев?

— Не бывал ровно никто при мне.

— А вот та женщина, с которой, помните, вы разговаривали, когда я жил у вас, в тот приезд?

— Кто это?

— Да еще насчет картошки разговор вели...

— Марфа-то Андреевна? — оживилась хозяйка. — Эту помню. Она две зимы у нас картошку в голбце держала. Говорит — на семена. У вас, дескать, все равно голбец простор-

ный и пустой. Почему не пустить? Пустила. Только она весной возьмет половину, а половину оставит — пользуйтесь, говорит, мне лишняя. Я не беру, сын не велел. А картошка за лето прорастет вся, гнить начнет. Сын ее потом выгребает да на свалку выносит. Ну, наказал мне — не пускай, говорит, больше, дом казенный, еще плесень разведешь. Я и не стала пускать. А она все ходит да просит — пусти да пусти. И что за корысть, за версту мешки нести, неуж ближе голбца не найти?

Михеев удовлетворенно взглянул на Саидова, но тот недоуменно пожал плечами.

— А можно нам у вас этот голбец осмотреть? — встал Михеев.

— Смотрите, не жалко.

Подполье и в самом деле было просторным — широким и глубоким, почти в рост человека. На полках вдоль стен выстроились банки и кринки — хозяйство Анисьи Тихоновны. В углу, у сопряжения нижних ряжей наружной и промежуточной стен, стоял на лежнях большой деревянный ларь без крышки. На дне его лежала грудка картошки.

— Вот и все богатство, — сказала Анисья Тихоновна, прикрывая рукой колеблющееся пламя свечи и подвигаясь к лестнице.

Однако Михеев, осмотрев подполье, уселся на ящик, не собираясь выходить.

— А что, если мы попросим вас, хозяюшка, дать нам лопату и, коль найдется, фонарь да посторожить нас здесь, чтобы ни мы никому, ни нам бы никто... Вы понимаете?

— Чего не понимать-то. Мне всегда все ясно — не болтай, вот и понятие, — ухмыльнулась хозяйка. — Сын воспитал.

— Вот и ладно.

Саидов принес лопату и фонарь.

— Ну, что? Где копать? — спросил он шепотом, не скрывая волнения.

— А черт его знает где... Посмотреть пока надо, — ответил тоже, не зная почему, шепотом Михеев. — Но где-то здесь наша Марфа что-то имела. Может, и клад, кто знает.

Михеев, все еще сидя, продолжал внимательно оглядывать подвал, подолгу присматриваясь к каждому его участку — пол, стены, потолок.

— Давай щупать. Каждый сантиметр. Те две стены твои, эти — мои, — показал он. — Пол мой, потолок — твой.

Саидов, встав на колени, принялся простукивать стены. Анисья Тихоновна наверху притихла, и только изредка откуда-то доносился скрип ее стула.

Спустя два часа, измазанные и потные, они поднялись наверх.

— С удачей? — поинтересовалась хозяйка, наливая воду в жестяной рукомойник.

Михеев пожал плечами. Саидов молча загремел умывальником.

С утра они снова сошлись в своем кабинете и сидели, прислушиваясь к гудкам пароходов со стороны пристани.

— А едет, точно? — спросил Михеев, втыкая в переполненную пепельницу очередную папиросу.

— Едет, проверил у Тюмени.

Саидов сидел на подоконнике, засунув руки в карманы и с интересом поглядывая на воробьиную суетню в залитом солнцем дворе.

— Ты у тетки был? — спросил его Михеев.

— Был. Даже самогону пришлось тяпнуть рюмашку для нового знакомства — со свадьбы не виделись.

— Все сделал?

— Все, как наказано.

— Наблюдение не снимай. Что слышно?

— Все так же. Сидит дома. Чу! — повернулся Саидов ухом к окну.

Издалека раздавался протяжный басовитый гудок парохода.

— Поезжай, — коротко распорядился Михеев. — И вези прямо сюда.

— Прямо? Так его ж вначале надо устронть — передать охране, место ему определнть, на довольствне зачнслнть, — недоумевал Сандов, одеваясь.

— Ннчего не иадо. Бери под распнску сам и езжай сюда. Охраны не берн.

— Будто в гостн к себе веду?

— Вот-вот, почти так, — ответнл Мнхеев и склонилcя над папкой с материаламн о Томилове.

Подобралнсь онн не случайно — еще в 1925 году Томилов судился за скрытый от фнноргаиов подпольный промысел, иа котором покалечнлся однн нз рыбаков, что н помогло раскрыть все дело. Следствие было дотошным, материалов от него осталось много, но Томнлов отделался штрафом н небольшой отсндкой — в общем-то преступленне было не из серьезных.

Протоколы допросов и показання свндетелей достаточно обстоятельно характернзовалн Томилова.

Томнлов Васнлий Мнхайловнч, 1876 года рождения, в документах пнсал — «нз крестьян». Но свндетели показалн: сын рыбопромышленника, державшего в кулаке всю рыбацкую голь в районе своих промыслов. Сын, энергнчный и оборотистый, не отставал от отца — органнзовал новые промыслы, задешево скупал пушнину у хантов н мог бы смело сам вестн дело. Но крутой нравом отец не хотел выделять сыну капитал на собственное обзаведение: помру, дескать, тогда все тебе, а пока и думать забудь, не то голяком выгоню. Лншь незадолго перед революцней капитал, изрядно упавшнй в цене, наконец, перешел по наследству Васнлию Мнхайловнчу, который к тому временн обзавелся семьей. Революция н гражданская война довершнлн дело — состояния, как такового, почти не осталось. Но в годы нэпа Томнлов снова быстро набрал силу, нспользовав прнпрятанное до поры промысловое оборудованне н оснастку. В особо заметное положение, правда, не лез — понимал, что так спокойнее. Держал в отдаленных районах по пять-шесть артелей, нз полутора десятков рыбаков каждая. Имел добрую баржу, на которой н

свозил с промыслов рыбу в Тобольск. По-прежнему баловался пушниной. Но всем этим промышлял по возможности скрытно, стараясь не регистрировать свои предприятия, держась этаким трудягой-промысловиком.

Почуяв в воздухе новые веяния и поняв значение призывов к «ликвидации кулачества как класса», Томилов решил заблаговременно удалиться от возможных неприятностей, оставив на произвол судьбы свои законные и незаконные предприятия. Оставил и дом. Подсунуть его знакомым не удалось: не посмел оформить документы. Горсовет забрал дом в свой жилой фонд. Укатил Василий Михайлович хитро — сначала отправил куда-то семью, якобы в гости к родным, и только тогда потихоньку смылся сам. Ни он, ни семья вестей в Тобольск о себе не подавали, и следы их затерялись — вплоть до находки «клада» в землянке.

— С приездом, — приветствовал Михеев вошедших Сандова и Томилова.

Томилов поставил у стены свой фанерный баул и сел.

По обличью — типичный сибиряк, не то охотник, не то рыбак: крепко сбитый, кряжистый, с красивой «пугачевской» бородой, густой и курчавой, в редких сединках. Крупные и ловкие, привычные к труду руки спокойно лежат на коленях, словно напоказ. Черные широкие лепешки бровей над умными, с хитрецой, жаркими глазами сошлись в одну линию.

«Красивый мужик!» — отметил невольно Михеев, оглядывая Томилова, и приветливо улыбнулся ему.

— Как доехали, Василий Михайлович?

— Как положено арестанту, без лишних беспокойств, — ответил Томилов, обнаружив басовитый, с хрипотцой голос.

— Ну, это такой уж порядок. А арестантом мы вас не считаем.

Томилов прищурился — видимо, удивился, но виду не подал.

— Вызвали мы вас вот зачем, — пристально наблюдая за ним, начал Михеев. — Нашли мы здесь клад один. Говорят, что он ваш.

— Какой? — негромко осведомился Томилов, поглаживая бороду и пряча глаза под густыми бровями.
— А что, у вас много их тут было оставлено? Вот и перечислите.
Томилов помолчал, обдумывая ответ.
— Да ведь кто его знает, что вы кладом называете. За полвека-то чего не бывало...
— А все же?
— При белых золотишка коробочку схороннл, боялся — отберут. Да потом и сам не нашел, то ли выследнл кто, то ли я место запамятовал.
— А еще?
— Ну, мешок соболей, это уж прн красных, на черный день приберег... — вспомннал Томилов, все поглаживая бороду н поглядывая на Михеева. — Ложки серебряные жена еще в девятнадцатом, когда белые уходили, без меня в старом дому закопала — так больше и не видывала нх.
— А еще что? — донимал его Михеев. — Поценнее что-нибудь?
— Поценнее? — прищурился Томилов. — Может, не мое нашли? Поценнее ннчего не было.
— Ну, кто бы другой стал в ваших владениях что-то прятать. Без вашего участия не обошлось бы.
— Так ведь кто его знает... Нет, не помню такого, — решительно заявил Томилов, оставив бороду в покое и снова уложнв руки на коленях.
— Так... Не хотите, значит, сказать.
— Отчего не хотеть? Сказать бы можно, только нечего. Если что запамятовал — напомннте.
— Да что нам с вами в прятки играть, Васнлнй Мнхайлович... Клад-то найден. Надо только вспомнить, как это было, да признать — то ли это самое. Чтоб других не путать. Тогда с вас и спросу больше нет.
Томнлов снова надолго задумался.
— Нет, не упомню, — упрямо тряхнул он головой. —А раз нашли — покажите, может, н прнзнаю. Тогда н скажу все.

— А мы думали, — разочарованно протянул Михеев, — что вы сами вспомните. Так вернее было бы.

Томилов молчал, угрюмо набычившись, всем своим видом давая понять, что сказать ему больше нечего.

— Ну, что ж, — встал Михеев. — Придется предъявить вам то, что мы нашли. Но, последний раз хочу спросить — может, сами скажете: что и как. Заранее оно лучше бы.

— Нечего мне пока сказать, — отрезал Томилов.

— Поедем, товарищ Саидов, — сказал, собирая бумаги, Михеев. — Проводим Василия Михайловича.

Томилов охотно признал своими предъявленные ему сети и мотор. Он даже словно повеселел, вспоминая, когда и как прятал их.

— Это вы верно говорите, — сказал он Михееву, похлопывая рукой по маслянистой поверхности двигателя. — Для нас, промысловиков, это самое большое богатство. Мы не купцы, нам не деньги для оборота нужны, а такое вот добро. Теперь его нипочем не достанешь. Зато найдешь — кум королю. Без всяких капиталов на ноги встанешь. И себя и других прокормишь.

— А хотелось бы снова на ноги-то встать? — спросил Саидов.

— Так ведь хотел не хотел, какой теперь разговор. Плотник я теперь, — усмехнулся Томилов. — Ликвидированы мы теперь как класс...

— Ну, что мне за это будет? — осведомился он, когда все вернулись в кабинет Михеева.

— А ничего. Сам все рассказал, прояснил дело, снял обвинение с человека, которого мы заподозрили в том, что он украл это добро с пристани, можно даже спасибо сказать, — успокоил его Михеев.

— И вам спасибочко, — солидно поблагодарил Томилов. — Теперь куда мне?

— А хоть куда. Вот вам пропуск. Идите, устраивайтесь с жильем — отдохиуть где-то надо, а у иас удобств особых иет. Найдете квартиру-то?

Томилов в раздумье поглаживал бороду, разглядывая пропуск.

— Как ие иайти, город большой. Прощевайте пока...

— Ты что? — удивился Саидов, когда Томилов ушел. — Ведь я его под расписочку...

— Ничего ие случится, Саша. Так иадо, — успокоил его Михеев. — А ты теперь распорядись: с Томилова глаз ие спускать. С Мезеицевой тоже. Потом приходи, думать будем.

Вечером Мезенцева, закутавшись в шаль, глухими переулками пробралась иа зады огорода саидовской тетки, к которой она, узиав о приезде Томилова, устроила его иа квартиру. Василий Михайлович сидел иа колоде, прислонившись к стеие баиьки, укрытой в кустах бузииы. Увидев его смутио темнеющую фигуру и вспыхивающий огонек папиросы, Мезеицева огляделась и решительио перелезла через прясло.

— Погаси цигарку-то! — сердитым шепотом бросила оиа, подходя к Томилову и усаживаясь рядом.

— Здравствуй, что ли, Марфа Андреевна, — ответил он, затаптывая огонек.

— Будь здоров. Как устроился? Никто ие видел?

— Все, как девка твоя посланиая иаказала. Лавку иа кухне отвели, покормили. Хозяйка-то сродствеиница?

— Да иет, в моиастыре в школе когда-то учились, помиит. Ну, что, зачем пожаловал? Добро проведать?

— Добро, Марфа Аидреевна, твое, а не мое. Ты и проведывай, мое дело сторона.

— Ну, ие говори, дело теперь наше, общее. Одной веревочкой связаны. Ты ж меня и уговаривал. А то бы лежать ему иа дне Иртыша.

— Что уговаривал — правильио. Нельзя так добром распоряжаться. Цеииости-то какие... Все пароходство Иртышское купить иа иих можио, да и еще остаиется.

— Нишкни ты! — прошипела Мезенцева. — В бане-то нет ли кого?

— Нет, на замке она.

— То-то... Ищут, слышь-ка, их.

— Ищут? Ишь ты... ну и как?

— Извелась я, Вася... — со стоном вырвалось у Мезенцевой. — Допрашивали нас опять. Меня, Препедигну, Варвару, Агнию... Многих нашли. О доме, правда, ничего не скажу, не спрашивали. Не знают, значит. И вроде отступились, уехали.

— А кто приезжал-то, откуда?

— Из Свердловска будто. Высокий такой, худой.

— Михеев по фамилии?

— Во-во. Знаешь его, что ли?

— Познакомился, — усмехнулся Томилов. — Здесь он.

— Здесь?! — всплеснула руками Мезенцева. — Где вы встретились-то?

— У них, в конторе. Допрашивал он меня.

— Владычица небесная! О доме, поди! Ну и что?

— А ничего. Вроде подловить хотел — клад-де твой нашли. Неужели, думаю, Марфа прозевала? Я говорю — нашли, так покажите.

— Что показали-то?

— Сети норвежские да мотор, что в ту весну в лесной землянке спрятал, когда из города уезжал.

Мезенцева облегченно вздохнула и перекрестилась:

— Пронеси господи. — Но, помолчав, снова обеспокоенно спросила: — Что же теперь делать-то? Неспроста все это — сети да мотор, ГПУ этим заниматься не будет. Сдается мне — подбираются они к кладу. Сужается круг-то, Василий. И мы, вроде зверя, посреди.

— Ну так чего ждать-то, когда вплотную обложат? Отдай ты им добро-то, благо не наше оно...

— Нельзя, — строго ответила Мезенцева. — Святыня это. Клятву я, сам знаешь, давала, хранить до гробовой доски.

— Для кого хранить-то?

— Вот то-то и оно, что не знаю. Знала бы, так давно бросила — нате, мол, измучилась я, добро ваше сохраняючи. Может, власть старая вернется, как ты говорил, — ей надо отдать.

— Чего тут ждать. Не вернется она, теперь уж ясно.

— А война?

— А война будет, так для кого, думаешь, немцы или кто другой там, будут страну завоевывать? Для нового русского царя нешто? Нужен он им, как собаке пятая нога. Для себя стараться будут, а не для него.

— Может, объявится кто и письмо подаст, — с надеждой вздохнула Мезенцева.

— Так ведь не появляется вот, — тоже вздохнул Томилов. — Некому, видно, появляться.

— Может, и некому. А я вот сиди дрожи, стука всякого бойся. Поверишь, сна совсем лишилась, лежу и всю ночь молитвы читаю. Днем часик вздремнешь — и ладно. Уж отдать, верно, что ли?

— Отдай, не томи душу. Бросай все и айда со мной в мою Татарию. Заживем мы с тобой, как мечтали когда-то. Один ведь я теперь, знаешь...

— Знаю, что один. И не одобряю. Не дело это. Зачем Анфису с ребятами бросил? Немолодая ведь она, всю жизнь нездоровая.

— Так спокойнее. И ей и мне. Ее одну-то, с ребятами, трогать не будут. А живут они у тетки в покое. Денег я им от чужого имени иногда посылаю. Ребята уже не маленькие, сами робят. С ней у нас, сама знаешь, счастья не было. Вот ты...

— Ладно, хватит. Об этом надо было раньше думать. Сколько тебя ждала — помнишь? Старухой уже в послушницах ходила, постриг не принимала. Все ждала, может, приберет бог Фису, буду тогда женой тебе, как слово давала. Всю жизнь ведь ждала, Вася!..

— Знаю, — насупился Томилов. — Да что сделаешь, коли отец выдела не давал...

— А для чего тебе выдел? Голова у тебя на плечах, руки золотые, плечи вон какие могутные. Да и я не лыком шита.

Прокормились бы не хуже других. Может, и лучше еще. Подались бы куда-нибудь в Сибирь подальше.

— С капиталом-то сподручиее было бы...

— Эх, Василий Михайлович, болесть ты моя. Не в том капитале счастье. Ну, да что уж теперь говорить...

Оба иадолго замолчали.

— Проверяла добро-то? Может, уж нет его давио, нашел кто другой, миогие ведь там жили?

— Раиьше-то удавалось, проверяла — то картошку храиила, то домовничать иапрашивалась. А теперь вот милициоиер живет, ие пускает. Лоиись, весиой, Иртыш из берегов вышел, затопил огороды, до подвалов иио где добрался. Беспокоилась. Со стороиы осматривала, у хозяйки спрашивала. В порядке, говорит, сухой голбец.

— А все там же, ие перепрятывала?

— Нет, где зарыли, там и лежат.

— Ну и пусть лежат, бог с иими. А ты — айда со миой. Завтра и уедем. Ко мие прицепок вроде больше нет... Слышь, Марфа... — жарко зашептал Томилов. — Ох и крепкая ты еще иа тело, как молодица...

— Уйди, Василий Михайлович, не греши. Не поеду я с тобой, здесь доживать свой век буду. Не судьба уж, видио, нам. Отрекся ты от меия в молодости.

— Будет вспомииать-то.

— Будет так будет. А только разговора об этом больше не начииай... Сколь погостишь-то еще?

— Не знаю. Бог даст, завтра и поеду. Заживаться мие здесь нечего. Старое вспомииать — мало радости, иовое иаблюдать — и того меиьше.

— Ну, прощевай, — встала Мезенцева, снова закутываясь в платок. — Счастливый путь тебе.

— Дай обниму хоть на прощаиье-то. Увидимся ли...

— Не иадо это, Василий Михайлович. Не беспокой ты душу мне. И так оиа в смятении. Дай я тебя перекрещу да иди с богом. Увидимся, ие увидимся — помнить о тебе буду.

И она решительио, ио сторожко зашагала к изгороди.

— Марфа! — хрипло окрикнул ее Томилов. — Погоди...

— Прощай, — прошептала Мезенцева из-за прясла и растаяла в темноте.

Томилов долго еще сидел на колоде, опустив голову. Огонек цигарки то вспыхивал, то угасал. Затем он, бросив потухший окурок, понуро зашагал к дому.

Когда в доме скрипнула дверь и все затихло, из соседнего огорода вышел человек и, подойдя к бане, открыл ее. Оттуда вышли Михеев и Саидов. Михеев прислушался к ночной тишине и положил руку на плечо Саидову:

— Через час возьмешь обоих. Ордера у дежурного. И прямо туда, в дом... Скажи спасибо теще своей двоюродной, что предупредила о свидании.

Когда Томилова привезли в его бывший дом, Михеев был уже там. Он мирно беседовал на кухне за стаканом чая с Анисьей Тихоновной, изредка позевывавшей из-за прерванного сна.

— Стаканчик чаю, Василий Михайлович? — встретил он Томилова. — Садитесь, пожалуйста.

— Благодарствую, — коротко и глухо отозвался Томилов, продолжая стоять у двери и хмуро оглядывая кухню.

— Садитесь, садитесь, разговор будет долгим. Да и гости еще будут, — настаивал Михеев.

Томилов сел на предложенный ему табурет.

— Пришлось потревожить вас, не обессудьте. Еще один клад ненароком отыскался. А чей, опять не знаем. Снова ваш совет нужен.

Слова Михеева не вызвали у Томилова заметного оживления, он продолжал молчать, уставившись в пол.

— Вот Анисья Тихоновна говорит, что у нее в подполье есть клад какой-то. А дом, как помнится, вам принадлежал некогда. Так вот, поможете ли внести ясность?.. Стаканчик-то возьмите, чай стынет.

Положив на лавку картуз, Томилов молча пододвинул та-

бурет к столу и взял стакан. Пить не стал, а, держа стакан в обхват, точно грея о него руки с мороза, не мигая смотрел на легкий парок, поднимающийся от золотистого настоя.

— Не ведаю я, о чем вы говорите, — вздохнул наконец он. — Давно ведь дом-то бросил...

— Ну, не так уж и давно... А, вот и еще гостья, — сказал Михеев, услышав стук ворот и шаги в сенях.

Мезенцева, войдя вслед за Саидовым на кухню, изумленно поглядела на Томилова, распивающего чаи с Михеевым. Недоумение, испуг, презрение, сменяясь, промелькнули в ее широко раскрытых глазах. Вздохнув, она сложила руки на животе и каменно уставилась в угол.

— Садитесь, Марфа Андреевна, — предложил ей стул Михеев. — Чаю хотите?

— Не на чаи, чать, звали, — зло ответила Мезенцева, садясь на лавку у порога, словно не заметив подставленного ей стула.

Михеев помолчал, оглядывая эту странную компанию, собравшуюся в столь поздний час на скромной кухонке Анисьи Тихоновны. Томилов все так же смотрел на дно стакана, держа его в руках. Мезенцева, глядя куда-то в угол, тяжело дышала, удерживая дрожащие губы. Анисья Тихоновна, чувствуя себя неудобно в этом непривычном обществе, рассеянно поглаживала клеенку стола, смахивая невидимые крошки. Саидов беспечно покуривал, прислонившись к косяку двери.

— Как, Марфа Андреевна, сами выкопаете с Василием Михайловичем клад или помочь вам? — нарушил молчание Михеев, встав из-за стола и доставая из кучи ухватов у печки приготовленные лопаты.

— Кто указал, тот пусть и копает, — отозвалась Мезенцева.

Томилов поставил стакан на стол и впервые посмотрел на нее.

— Ты не думай, Марфа Андреевна... — начал он.

— А я и не думаю. Что мне думать, — не глядя на него, ответила Мезенцева.

— Знают они без нас, — прохрнпел Томнлов. — Кончать, вндно, надо дело это.

— Без кого-то из нас не узналн бы, — снова огрызнулась Мезенцева. — Молчн уж...

— Да нет, пожалуй, и без вас узнали бы, — успоконл нх перепалку Мнхеев. — Но и то сказать, помогли вы нам, Марфа Андреевна, не меньше, а, пожалуй, больше Васнлня Мнхайловича.

Мезенцева зло сверкнула по нему взглядом, в котором, однако, сквознл вопрос: «О чем ты это?»

— И что бы вам, верно, не указать это место да н отправиться с Василнем Михайловнчем, куда он зовет вас?..

Переведя взгляд на изумленно выпрямнвшегося Томилова, Мезенцева поняла все и уткнулась лицом в концы полушалка.

— Возьмите все, сил моих больше иет, — всхлипиула она, но, тут же открыв лнцо, замерла в неподвижностн.

— Пойдем, благословясь, — весело обратился к ним Михеев, открывая подполье.

Мезенцева н в самом деле перекрестнлась, подходя к западне.

— Ну, показывайте, — сказал Мнхеев, когда все спустнлнсь в пахущее плесенью подполье.

Томилов н Мезенцева переглянулнсь.

— Ларь убрать надо, — деловнто предложнл Томилов.

Ларь, служнвшнй складом для овощей, поддался нелегко. Прибитый плотнcórцкнмн ершамн к тяжелым лежням, врытым в землю, он не трогался с места. Доскн дна от лежней пршлось отднрать ломнком. Когда, жалобно скрипнув, ларь сдвинулся с места, за ним, в фундаменте промежуточной стены, открылся проем, заделанный доскамн. Когда-то он, по-вндпмому, соеднняя две частн подполья — под кухней н под соседией с нею комнатой.

Теперь уж Сандов н Мнхеев многозначнтельно переглянулись. Мнхеев чуть заметно покачал головой.

Проем оказался довольно широким, ио пройти в иего можно было только иизко согиувшись. Михеев жестом предложил путь Томилову и Мезенцевой.

Соседиий отсек подполья был меиее простороым, чем первый, однако достаточеи для того, чтобы стоять в нем почти в рост. Томилов увереиио иаправился в угол и ожесточеиио воткиул лопату в землю.

— Здесь, — выдохнул ои и отошел в сторону.

Саидов схватил лопату. Все стояли молча, напряжеиио глядя на все углубляющуюся ямку и на холмик земли, растущий около иее.

Михеев посмотрел иа Мезеицеву. В иеудобиой позе, согнув спииу и поиурив голову, она, сцепив руки у груди, почти не мигая, смотрела в темиый квадрат ямы, словно проиикая взглядом туда, еще глубже — сквозь землю. И сквозь пелеиу времени ей вспомииалось...

Страда, история которой сейчас подходила к коицу, иачалась для Марфы Мезеицевой давио. Еще в те последиие дни августа 1917 года, когда весь Тобольск был охвачен молвой о иеобычиом событии — приезде в город бывшей царской семьи. Группами и в одиночку проходили, глазея, мимо бывшего губериаторского дома тоболяки, в надежде увидеть того, кто еще иедавно был для них почти полуреальным существом — самого царя, хотя бы и низвергиутого.

Вскоре после того как новые обитатели губериаторского дома устроились в ием, Марфу Мезеицеву, хозяйку тобольского подворья жеиского моиастыря, удостоил своим посещеиием видный тобольский протопоп, иастоятель Благовещеиской церкви, отец Алексей. Назиачеиный духовником царской семьи, ои стал зиамеиитым в городе лицом, ходил важио, прямя сутулую спииу и закиивув голову, словио даже прибавился ростом.

Сияв шляпу, благословив привычиым жестом хозяйку, ои суиул ей руку для поцелуя и, не садясь, приступил к делу. Не-

обходимо было немедля передать игуменье важное поручение владыки — подобрать лицом и статью видных, нравом достойных четырех благогласных певчих из монастырского хора. Для ответственного дела — участия в церковных службах, проводимых по желанию августейшего семейства прямо в доме, в связи с тем, что разрешения на частое посещение храма получено не было.

Не чуя ног понеслась в тот же час Марфа в монастырь, чтобы передать необычное поручение. Строгая игуменья, мать Мария, благоговейно выслушала свою любимицу, бойкую хозяйку подворья, и, осенив себя крестным знамением, распорядилась отобрать четырех монахинь, а лучше — послушниц, и направить их на подворье, поручив заботам Марфы. А кроме того, повелела ей взять на себя и заботу о снабжении монаршего семейства продуктами из монастырских погребов и кладовых.

С тех пор Мезенцева стала в приемной губернаторского дома своим человеком. Слуги, особенно царский камердинер Терентий Иванович Чемодуров, привыкли к ней, видя почти ежедневно ее крупную, статную фигуру с солидной корзиной в руках. Знали, что там то яички свеженькие, то сливки и маслице отборные, то медок пахучий с монастырской пасеки, то стерлядки, еще хвостами бьющие. А то и бутылочки нектарно-сладкой святой наливочки, по собственному матушкиному рецепту приготовленной.

Со временем визиты стали реже: усилились строгости охраны, и Марфе все чаще приходилось уносить от ворот губернаторского дома обратно на подворье тяжелые корзины с провизией. А потом передачи и совсем прекратились: новая власть, Тобольский Совет распорядился об этом. Но Марфу не забывали, нет-нет да кто-нибудь из вольно ходящих царских слуг заглядывал в ее уютную горенку на подворье.

Пришло время, и начал пустеть губернаторский дом. Сначала ранним весенним утром вывезли в Екатеринбург Николая с женой и с дочерью Марией, а месяц спустя, в мае, и остальных, во главе с Алексеем.

Перед тем как уехать последней партии, к Марфе Андреевне пожаловал давно не навещавший ее Терентий Чемодуров. Царский камердинер, потоптавшись у порога и прислушавшись к тому, что делается в соседних комнатах, не снимая пальто, пошел к окнам и, глянув в них, задернул занавески. Потом сел спиной к двери и вытащил из потрепанного и грязного мешка солидных размеров узелок. Положил его на стол, прикрыв углом скатерти.

— Большое дело до тебя, Марфа Андреевна... — начал он негромко. — Такое дело, что не всякому доверить можно. Ты, знаю, верный богу и царю человек, тебе можно. Вот, слушай. Царская святыня здесь, — положил он руку на бугрившийся под скатертью узелок. — Доставить надо игуменье. Что и зачем — она знает, с ней уговорено. Да так, смотри, доставь, чтобы ни одна душа, кроме нас с тобой, не знала об этом. Ни намеком даже, ни подозрением. Чуешь, какой грех на душу примешь, если что не так? Перед самим богом в ответе... И — не мешкай. Как уйду, беги в обитель.

Марфа была и польщена доверием и испугана обузой тайны. Но, склонив в смиренном поклоне голову, заверила:

— Будь спокоен, батюшка Терентий Иванович, все сделаю, как наказано. Как дела-то ваши, что о государе слышно?

Чемодуров вместо ответа махнул рукой.

— Ну, в добрый час, — встав, заявил он торжественно.

Они перекрестились на иконы, и Чемодуров, нахлобучив поглубже шапку и подняв воротник, ушел.

Игуменья встретила Марфу с волнением. Провела к себе в опочивальню. Видно было, что она хотя и ожидала этого послания, но не была еще готова к нему. Перекрестившись трижды, прежде чем взять в руки узел, она сунула его под подушку и испытующе посмотрела на Мезенцеву. Потом с сиплым шепотом наклонилась к уху:

— Смотри у меня! Тайна сия велика есть. Ни одной душе никогда ни слова, ни полслова, ни видом, ни помыслом... Клятву богу дашь. Страшную клятву. Становись под образа, —

толкнула она Марфу к киоту с негасимой лампадой. — Клади руку на святое евангелие. Повторяй за мной...

И сейчас с трепетом вспомнает Марфа слова страшной, душу леденящей клятвы, повторенные ею с дрожью в голосе вслед за зловещим шепотом игуменьи в полутемной, озаренной лишь мутным мерцанием лампад, пропахшей ладаном сводчатой келье. Думала тогда: режь, жги ее, жилы вытягивай, любой смерти предай — ничего она не скажет. Никому никогда! А вот...

Но все же, передав игуменье жгущий руки страшный узелок, Мезенцева несколько успокоилась: судьба святыни теперь не в ее руках, не ее это дело. Ничего она не знает, а что знала — забыла...

Но оказалось, что главные хлопоты и тревоги не позади, а впереди.

В середине июня в город ворвались первые отряды белых войск. Колокольным звоном встретили их церкви и монастыри, служили молебны. Но «освободители», милостиво приняв почести и славословия, ожидаемого почтения святым обителям не оказали. С монастырей и церквей потребовали дань в фонд «защиты отечества» — продуктами и деньгами. Назначенная Сибирским правительством «Чрезвычайная следственная комиссия по расследованию обстоятельств расстрела царской семьи», прибывшая вскоре в Тобольск, учинила обстоятельный и пристрастный допрос всем причастным к сношениям с губернаторским домом. В том числе и духовенству. И, как ни странно, интересовались при этом не столько судьбой царской семьи, сколько судьбой ее имущества. Пороли обывателей, прельстившихся в свое время «реликвиями» на аукционе имущества, оставшегося после отъезда Романовых из Тобольска. Царского духовника, отца Алексея, в клоповник садили, обыск в его доме дважды учиняли. Слуг, вернувшихся в Тобольск, к семьям, без особых церемоний допрашивали и обыскивали, не гнушаясь и угрозами.

Не миновала чаша сия и монастыря. Тоже допрашивали и искали царские ценности, могущие попасть в святую казну. Но

больно уж щелкоперистый, авантюристический народец вел это дело — заботились, сразу видно, не о царе и его семье, а о себе. Чашку с гербом и вензелем императора, презрительио повертев в руках, небрежно отбрасывали назад владельцу, а бриллиантовое колечко или осыпанную самоцветами золотую панагию, явно никогда не принадлежавшую к дворцовому имуществу, прятали в карман — нашему вору все впору. Страху натерпелась и Марфа. Не забыть ей, как небритый хмельной подпоручик из контрразведки, сын тюменского пароходчика, допытывался: где золото, что сдавали в монастырь при отступлении купцы. Но, слава владычице, пронесло.

Год с лишним, что хозяйничали белые в Тобольске, оказался нелегким. Особенно в конце июля 1919 года, когда блюхеровская 51-я дивизия подступила вплотную к городу. Ох и лютовали же, и грабили же тогда колчаковцы, чуя скорый конец! Сотни людей — за что, про что? — предали смерти. Грабили богатого и бедного. Не пощадили и монастыри, что сумели, прихватили с собой из добра обители, мобилизовав «в дар» православному воинству.

В октябре, после почти трехмесячной, с переменным успехом, борьбы за город, красные окончательно утвердились в Тобольске. Марфа к тому времени решила принять постриг. Игуменья обещала сделать ее благочиниой — матушка умела ценить заслуги перед монастырем и перед иею.

Новой власти было не до монастырей — банднтизм, разруха, голод одолевали страну. Двадцатый год прожили, считай, спокойно за толстыми стенами обители.

А в феврале следующего года — опять двадцать пять: в уезде вспыхнуло кулацкое восстание. Возглавили его колчаковский полковник Силин, беглый белочешский офицер Святош, эсеры. Малочисленный красный гарнизон Тобольска вынужден был оставить город. Полтора месяца хозяйничали в нем повстанцы. И, как мухи к меду, липли к монастырям, знали, что там есть чем поживиться отощавшей и оборвавшейся в лесах «зеленой армии».

И поживлялись чем могли, чем успевали. Опять пошли у монашек тревожные ночи: а как найдут основное добро, святыни?! Но бандиты не нашли, не было времени на обстоятельный поиск. Замучив на прощанье две с половиной сотни ни в чем не повинных людей, сжигая на пути села, недобитые остатки зеленых рассыпались по окрестным лесам. В город снова пришел покой и порядок.

Жизнь стала входить в нормальную колею. Снова зазвонили, созывая к обедням и вечерням, церковные колокола, снова потянулись к монастырям богомольцы и странники, хотя уж не в таком количестве, как прежде. Два спокойных, почти совсем как прежде, года. Марфа Мезенцева стала зваться матерью Рахилью — приняла постриг и стала благочинной, как и обещала игуменья.

И тут — опять беда. Весной двадцать второго года новая власть потребовала от церквей и монастырей участия в спасении народа от страшной беды — всеобщего голода. Сам Ленин писал об этом письмо. В газетах печатали заметки о сознательных священниках, честно доставивших государству осыпанные драгоценностями золотые кресты, митры с несметно стоящими каменьями, золотые потиры и блюда, жертвованные некогда в порыве хвастливого благодетельства купцами, замаливавшими свои большие и малые грехи перед богом и людьми.

Но печатались и другие заметки — об упорном и злобном сопротивлении распоряжениям властей, об изобретательных ухищрениях святых отцов по сокрытию ценностей, а то и о прямом сопротивлении. Но утаить ценности было не просто: еще в первые годы Советской власти они были взяты на учет, внесены в описи.

Волна эта вплотную подошла к Ивановскому монастырю уже где-то к следующей зиме. До этого как-то бог пас, удавалось игуменье изворачиваться. А тут отвертеться стало невозможно — за дело взялась Чека. Игуменья заняла прочную оборону: на предложение о сдаче ценностей ответила категорическим «нет» и отдала команду упрятать все то, что еще ос-

талось неспрятанным или было вынуто из тайников за эти годы. Снова пошли таскаться монашки по колокольням и подвалам, запечатывая в старые и новые тайники золотые и серебряные изделия, посуду и драгоценные оклады икон и евангелий, отвозили на дальние заимки подводы с серебряными паникадилами и подсвечниками, обозы с продуктами. Кое-что сваливали прямо в реку: не нам, так и не вам, нехристи! Доходило дело и до прямого сопротивления: кто-то бросил ключи от кладовых в колодец — идите, ломайте пудовые замки да двери железные; кто-то телом своим закрыл вход в соборный придел, раскинув руки поперек двери и вопя «не пущу, иродово семя!». Но не помогло, многие тайники были найдены. Поделили найденное вроде по-божески: это вам положено, на это не посягаем, а это вот придется взять — истощенным ребятишкам Поволжья хоть кусок хлеба за это достанется в их костлявые ручонки, может, и удастся спасти от жуткой голодной смерти.

В те суетные и тревожные дни Марфе неожиданно принесли недобрую весть из дома — мать при смерти и желает перед кончиной увидеть ее. Испросив у игуменьи благословения, Мезенцева, наскоро собравшись, тронулась в путь. Игуменья на прощанье наспех перекрестила ее и, думая о чем-то своем, сказала: «Долго-то не задерживайся. Сама видишь, что деется. Нужна будешь — вызову».

Едва успела Мезенцева похоронить мать, не сумела еще и первые поминки справить, как из монастыря примчался посланец: матушка-де немедля требует к себе, только — в тайности, приехать чтоб ночью или под утро.

Марфа, не мешкая, собралась и с тем же посыльным выехала. Не доехав до монастыря, отпустила возницу, дождалась за ближним озером ночи и неслышной тенью проскользнула в покои игуменьи.

Матушка не спала. Без чепца, в неопрятном бурнусе поверх мятой фланелевой сорочки, шумно дыша, она сидела в кресле с евангелием в руках. В жарко натопленной келье тревожно перемигивались огоньки лампад. Пахло каким-то лекарством.

— Прибыла. Ладно, — просипела она, перекрестив Марфу и сунув ей руку для поцелуя. — Садись, в ногах правды нет.

Марфа села, сдерживая взволнованное дыхание.

— Слушаю, матушка.

— Внимай. Все запомнилай. А как сделаешь — все забудь. Ясно тебе? — сверлила ее глазами игуменья, подавшись вперед и вцепившись в поручни кресла. — Подойди к киоту. Видишь образ Параскевы-Пятницы? Выпь его, — приказывала она отрывисто.

Отогнув крепящие уголки, Марфа вынула из пазов киота икону. В открывшемся ящике на полке стояла шкатулка.

— Видишь? Давай ее сюда, — продолжала распоряжаться игуменья.

Марфа бережно поставила шкатулку на стол. Вложила икону на место и встала в ожидании дальнейших указаний. Игуменья, торжественно перекрестившись, медленно приподняла крышку шкатулки. Марфа закрыла глаза — так неожиданен и нестерпим был волшебный сноп переливчатых искр, брызнувший оттуда.

— Тайна сия велика есть, — слышала она, не открывая глаз, сиплый голос игуменьи. — Помнишь, клятву давала? Настала пора тебе свое назначение выполнить... Да ты спишь, что ли? — окрикнула она Марфу.

— Слушаю, матушка, — открыла глаза Мезенцева.

— Вещи эти завернешь в вату и в плат освященный. Потом зашей в клеенку, а поверх — в парусину просмоленную. Шкатулку пустую на место поставь. Внутрь высыпь вот это. — И она ткнула скрюченным пальцем в коробку, стоящую на подоконнике. — Там бисер. Ну, давай с богом.

Трясущимися руками Марфа стала доставать пригоршнями содержимое шкатулки и выкладывать на стол, стараясь смотреть в сторону, а иногда и вовсе невольно закрывая глаза.

А игуменья, навалившись тучной грудью на стол, горящими от возбуждения глазами разглядывала мерцающие в тусклом свете лампад драгоценности. Дряблые отечные щеки ее горели лихорадочной синевой.

— Эка брошка-то богатая! Изумруд-от так и горит, так и горит огнем неземным среди искорок бриллиантовых... Подвески-то сколь баски! На портретах ее, матушки-царицы, видала... Да бережней ты, дура! — прикрикнула она на Мезенцеву, когда та выронила что-то из трясущихся рук на пол.

— Ожерелье бриллиантовое с камнем аметистом. Богатство-то какое! Сотни тыщ, поди, стоит... — продолжала игуменья, положив свои крупные руки на стол, почти касаясь ими сокровищ и царапая ногтями скатерть. — Аметист — архиерейский камень. У архиереев в митре первое дело аметист. И на посохе тоже. Сыздавна так идет. Слыхала, что и у католических владык тако же. Кардиналу новому папа римский допрежь всего кольцо с аметистом дарил — с назначением тебя, дескать. Ране-то, в старые времена, говорят, цена ему была такая же, как алмазу... А еще будто, кто к винному зелью пристрастен, камень этот жаловали. Поверье такое есть — аметист от пьянства спасает, пары винные в себя вбирает. Отсюда и прозвание ему греки дали — непьяный камень. Может, поэтому носили его епископы, грешно им пить-то. Погоди-ка... — оборвала себя игуменья. — Еще одно присовокупить сюда надо.

Она с натугой поднялась с кресла и, опираясь на встречные предметы, добралась до аналоя, стоящего перед киотом. Откинув покрывало, приподняла наклонную крышку его, достала из потайного ящика кожаный мешок и высыпала из него на стол груду золотых и серебряных, усыпанных драгоценными камнями, вещей.

— Гермогеново да Варнавино добро, епископов наших тобольских, — хрипела игуменья, перебирая вещи. — Наперсный крест с жемчугами да изумрудами. Еще — с аквамаринами. С александритом, что ночью, при лампаде, красным огнем сияет, а днем — зеленый. Любили владыки камешки баские... Панагия с рубинами, на золотой цепи — патриаршья награда. Еще панагия, эта с жемчугом. Перламутровая, с бриллиантами... Кажись, к коронованию Варнаве даденая. А это вот мой крест, игуменский, купчиха Лыкова при доброхотном вкладе своем в монастырь преподнесла. Мужа со свету сжила, угару

в комиату его ночью напустила, вот и замалнвала грех-то. За-то сама хозяйкой стала, прнказчика, с коим давио путалась, в мужья взяла... Завертывай все вместе — н царское, н иаше. Полежат вместе, не подерутся, — осклабнлась она.

Непослушными, словио одеревеневшимн рукамн Марфа, подчиияясь подсказам нгуменьн, завертывала вещн. Все этн сверкающне броши, подвескн, кольца, часы прн прикосновении к иим словно жглн рукн, н оиа не раз нспуганио отдергнвала нх, зажмуривалась. А нгуменья снпло, зловещнм шепотом продолжала свон наставлення:

— Куда спрятать — сама решай. На меня теперь не рассчнтывай. За мной послезавтра прндут. Селафанла, дура, простн меня господн, потнры золотые куда-то спрятала, а куда — забыла. Чека с меия требует, а я бы н отдала, да где возьму. Обыском всеобщим грозят. В монастыре пока сей сверток прятать нельзя. Поедешь сиова в деревню н увезешь с собой. Пуще глаза хранн, нн на шаг не отходн. С ннм, добром-то, и спи. А как заслышншь, что успокоилось у иас тут, вези обратно. А лучше бы... — прностановилась она, задумавшнсь. — Обнтель все одио в покое не оставят. Надо другое место нскать. И думаю я вот что. Обратнсь-ка ты от моего н от своего нменн... тебя-то уж он уважнт, — крнво усмехнулась она, — к Василию Мнхайловнчу, к Томилову. Мужнк он верный — честный, твердый, богобоязненный, в новую власть ие вернт, старой ждет не дождется. Дом у него свой, с вида не броскнй, а добрый, надежный. Сам Васнлнй-то не нз крупных воротил, да н прнтнх вовремя, на него с обысками да конфнскацнями не пойдут, не та птица. Серой пнчугой сокол прикннулся. Ему в самую пору такую святыню храннть... А впрочем, как зиаешь — вся надежда теперь на тебя н ин на кого более. Помни: об этом знаем только мы с тобой, что передаю я тебе все это. Ни одна душа не знает. Нн нз нашнх, нн нз мнрскнх. Новую клятву ие беру с тебя, н той хватит.

— Ой хватит! И после смерти, иаверное, помннть буду, — простонала Марфа.

Когда все было кончено, сверток был плотио упакован, в

окно проглянул жидкий рассвет, в приемной, через комнату, завозились келейницы. В корпусе напротив замигали огни — монахини подымались к заутрене.

— Пора... — забеспокоилась игуменья, прислушиваясь к звукам просыпающейся обители. — Накинь платок, так чтобы никто не узнал тебя, если и встретит. А лучше — никому на глаза не показывайся. Иди через сад к задней калитке. Вот ключ. А там в леске подожди, я подводу пошлю.

Час спустя Марфа ехала по прибитой ночным дождичком дороге, дрожащими руками прижимая к себе мешок с тяжелым узелком на дне его.

Вот когда начались они, подлинные мучения. Когда иной раз и жизни не рад, нося ежечасно, ежеминутно знойную тревогу за судьбу доверенной святыни, за клятву страшную, за ответственность перед богом и перед тем, кто придет потом и потребует...

Вернувшись, спустя чуть не месяц, из своего села, Марфа в Тобольске Томилова не нашла: уехал под Обдорск потихоньку сбивать рыбацкие артели к весенней путине, меха у туземцев скупать. Ожил Василий Михайлович, в рост снова пошел.

А где хранить? Сперва в келье у себя держала под половицей и, бродя по лесу, по монастырю ли, по городу, все приглядывалась, где бы схоронить надежно кладь опасную. Каждый дом, каждую лесенку, каждый камень осматривала с этой мыслью — словно наваждение. «Уж не рехнулась ли я?» — думала она порой.

В могилу свежую усопшей монахини Таисии зарыла однажды. А неделя прошла — не утерпела, выкопала и обратно принесла: как магнитом к могиле ее тянет, все около нее крутится, подозрения навлечь можно.

А тут, как на грех, как-то под утро спросонья толстая Препедигна в соседней келье во весь голос заорала: «Обыск! Чека идет!» Не помня себя, выбежала на огород Марфа, прижимая к груди под рубашкой узелок, ценой сорванных ногтей добытый из-под половицы. Бросила его, не соображая, что делает, в колодец.

Бросить-то бросила, а достать как? Вот н вокруг колодца стала ходнть, как приклеенная, хоть колодец-то заброшеный, давио уж инкто из иего воду ие берет. С тех пор как кошка в ием утонула, другой выкопали, поближе.

Тут подошла зима, заиесло огород снегом, и несколько успокоилась Марфа — кто зимой к тому колодцу пойдет? Однако каждое утро бежала смотреть, нет ли следов иа снегу, ие шастал лн кто в ту сторону.

Побывала за это время и у Томилова. Поведала про мороку свою, про наказ игуменьн покойной. Васнлнй Михайловнч сосредоточеиио выслушал, пообещал помочь весиой, достать узел из колодца. Но иа предложеиие взять себе на сохраиение ответил уклончиво — там-де видно будет.

Сиова потекли для Марфы то спокойиые, то тревожиые дии и ночи. Когда временами казалось, что вот лежит ои себе иа дне колодца, этот злополучиый узелок, и ннкакой челсвечиие нет до него дела, зиачит, иечего волноваться и изнемогать от страха, можио спать спокойио и безмятежно. А иногда накатывала гиетущая тоска и какая-то сумасшедшая, изводящая душу тревога. Темной ночью просыпалась в поту от иоющего под сердцем страха и бросалась к окиу, вглядывалась в узенькое оконце кельи, сквозь переплет тополииых ветвей иа белую пустыню огорода. Долго стояла босая, вцепившнсь руками в косяк окна, слушая гулко стучавшее сердце.

По весне Василий Михайлович достал узелок и вычнстил заодио колодец — за этим-де и прнходил. Но принять клад к себе опять отказался — дома бывает сейчас редко, все больше в разъездах, мало что может случиться в отсутствне. Марфа сиова унесла узел в келью. Сказавшись больной, подолгу, неделями не выходила на людн.

А тут подошло и то, чего все опасались, но о чем давно поговаривалн, — решенне о закрытии моиастыря.

Зажужжала обнтель, как пчелииый рой, резко разделившись иа два лагеря. Одни, смиренно шепча молнтвы, собнрали тощие узелки и разбредалнсь по селам, заимкам, по городу — к родствеииикам, к зиакомым, к тем, кто может дать угол. Кто

помоложе — шли в прислуги, на промыслы, в кустарные мастерские, сбросили рясы, смешались с толпой мирских рабочих людей.

Другие сопротивлялись как могли, забаррикадировались в кельях, позакрывали на тяжелые замки церкви, склады, мастерские, пряча все подручное. Но с Чека шутки плохи — наиболее ретивых саботажников взяли под стражу.

Под одну такую «зачистку» чуть не попала и Марфа, сиднем сидевшая в своей келье в ожидании выхода из положения. Завидев входящих в монастырь чекистов, накинула платок, уложила узелок в корзинку и — в чем была — черным ходом выбежала во двор. Огородом пробралась к задним воротам и кинулась берегом реки в город. Версты через две, когда купола монастырских храмов скрылись за пригорком, остановилась перевести дух и присела. Мутный Иртыш лениво лизал прибрежную гальку у ее ног. Визгливо голосили чайки, словно крича Марфе: «Чего уселась? Поди прочь!» Она тоскливо смотрела на водную гладь, на щепки и куски коры, беспомощно, как слепые щенки, тычущиеся в берег, и чувствовала, как все тело ее, вся душа наливается отчаяньем.

«Да что же это, господи?! За что мука такая? Зачем мне эта казнь египетская? Живут же люди спокойно, бытием радуются, спят беззаботно, красой мира божьего наслаждаются. А я как в чадном тумане живу, света белого не вижу, душе покоя не нахожу... Да пропади оно пропадом! Бог дал, бог и взял. Не будет на мне греха, если кину я эту обузу в Иртыш, сил моих нет больше, господи!»

Она встала и, сжав в руке тяжелый узелок, широко, через голову, размахнулась.

«А клятва? — заговорил в ней другой голос. — Клятва страшная, что игуменье перед образами давала в ту душную темную ночь, словно пронизанную снопом переливчатых искр, брызнувших из шкатулки? Бросить всегда успеется. Может, и обойдется, придумается что-то, что снимет бремя с души?»

Марфа бессильно опустила руку и зябко поежилась. Волна,

подступавшая к сердцу, отхлынула, уступив место звеневшему в ушах расслабленному покою.

«А Василий Михайлович? Пойти к нему еще раз. Если уж и теперь откажет, тогда — в воду, в Иртыш эту обузу. Господь с ней, пусть бог покарает как захочет, лучше любая кара, чем этакая жизнь».

И она решительно зашагала к виднеющемуся вдали Тобольску...

— Что ты, что ты?! — замахал на нее руками Томилов, услышав ее решение. — И думать не моги. В Иртыш!.. Разве это можно? А установится настоящая власть, прежний порядок, тогда ведь с тебя отчет спросят. В Иртыш заставят лезть, по дну шарить.

— Что же делать-то? Измучилась я. Лучше жизни решиться... — простонала Марфа.

Томилов задумчиво поскреб бороду.

— Коль такое дело, давай сюда, разделю с тобой докуку эту. С тобой добро-то?

— Со мной, будь оно неладное, — облегченно вздохнула Марфа.

— Давай пока... До завтра. С утра я своих отправлю куда-нибудь на весь день, а ты приходи. Утро вечера мудренее, что-то придумаем, найдем добру место.

На другой день он привел Марфу в подполье и выложил свой план: закопать клад в дальнем отсеке, а проход в него наглухо закрыть ларем — помещения и так хватает. Так и сделали. Только сверток разделили на две части и разложили их в две стеклянные банки, а те, в свою очередь, в дуплянки из-под масла. Залили внутренность и крышки воском и для надежности еще завернули каждую в отдельности в брезент. Затрамбовав яму с захороненными в ней дуплянками, смазали для верности весь пол жидкой глиной, загладили и посыпали мусором. Марфа, перекрестив потный лоб, шумно вздохнула:

— Все. Слава тебе, господи. Словно камень с души...

Томилов притащил два кряжистых лежня, вкопал их до по-

ловины в земляиой пол, поставил на инх большой деревянный ларь, иаглухо прикрывший проем в другой отсек, и прибил его к лежиям железными плотницкими ершами.

— Вроде теперь надежио. Не сыскать иикому, — удовлетвореиио сказал он, оглядывая подполье.

Надежно-то надежно, а время снова поиесло свон козни на Марфу. Словно бы все наладилось. «Святыня» в покое, под боком. Уйдя нз монастыря, поступила в услужеиие к архиепископу Назарию, проживая то у него, то в доме Томнлова, где издавна считалась своей, особо прнвечаемая богомольиой матерью Васнлня Мнхайловнча, еще в давние поры мечтавшей видеть ее своей невесткой.

А вот на поди — пришлось опять пережнвать, прннять сумятицу в душу. В одну нз ночей исчез Васнлнй Михайлович, заранее отправив семейство к тетке в Ишим. Марфа попробовала через подставных лнц взять дом на себя, но просчиталась, не запаслась необходнмым документом, н дом перешел в горсовет. А поселились в нем — кто бы мог подумать — мнлициоиеры! С тех пор вроде н хозяйка она клада, а вроде н нет. Даже когда удалось на время получнть доступ в подполье, н то — близок локоть, да не укусишь. Сидя у освещенного фонарем ларя н перебирая в нем, для виду, проросшне картофелиины, она с тоской думала о том, когда же накоиец господь сннмет с нее это бремя. Стук брошенной в ларь картофелнны заставлял ее вздрагнвать, вспомнная первые комья землн, брошенные Томиловым на укрытые досками в яме кадушкн.

«Стук, стук!» — отдавалось тогда и в ее сердце.

Стук ударившейся о дерево лопаты словно пробудил Мезенцеву. Оиа всмотрелась в открытую яму. В глубнне ее средн черной жирной землн, тускло желтела отковырнутая от доскн трухлявая щепка. Все подались блнже к яме.

— Все, — про себя, чуть слышно прошептала Марфа, смахнвая прокатнвшуюся по щеке слезу. — Все. Конец мучениям... А может, начало новым? О господи, господн!..

Передохнувшнй Сандов уже зачнщал остаткн землн с досок, аккуратно н бережио укладывая ее на выросшнй около ямкн холмик.

Мнхеев встал на колеин н склоинлся иад ямой. Затем, взяв ломик, решнтельио ковырнул нм трухлявые доски. Осклнзлые гнилушкн брызнулн иа стеикн ямы, обиажнв конусообразиые брезеитовые сверткн. Сандов торжествеино вынул нх и поставил иа краю ямы.

— Это? — хрнплым от волнення голосом спроснл Мнхеев, огляиувшнсь иа иеподвижно стоящнх Томилова н Мезеицеву.

Томилов молча кнвнул головой, сглотнув слюну...

Михеев взрезал ножом просмолеииую оболочку. Под ней обнажилнсь стяиутые обручами потускневшне клепкн дубовой кадушки, в каких обычно хранят масло нлн мед. Вскрыв залнтую воском крышку, он вытащнл нз кадушкн стеклянную банку с прнтертой пробкой. Виутри ее, проложеиные ватой, были плотно набнты кольца, браслеты, ожерелья... Мнхеев медленно, пожалуй даже торжественно, прнподнял баику в руках, поворачивая ее перед светом. Тысячью нскр засверкалн проглядывавшне сквозь вату грани самоцветов, жарко заблнстало полированное золото.

— Все, — выдохнул Михеев. И, бережно прнжав к грудн кадушки, направнлся наверх.

ЭПИЛОГ

— Пиши: кулон с бриллиантом, аметистом и плетеным жемчугом... Бриллиант на пять карат. Аметист... Да на жемчуг... Пиши: шесть тысяч золотом...

...Прямо с вокзала Михеева вместе с ценностями доставили в кабинет к Свиридову. Высыпав на стол содержимое банок и разровняв по зеленому сукну сверкающую груду золота и самоцветов, Михеев и сам замер от восхищения. Благородная красота созданных природой богатств, в соединении с вдохновенным искусством человеческих рук, покоряла своим величием. Разве одними рублями оценишь это!

Свиридов, медленно обходя стол, шумно крякал от восхищения, довольно похлопывал по плечу замершего с пустой банкой в руках Михеева. Хватнув со стола какую-то замысловатую вещицу, взвешивал ее на руке и подмигивал Патракову:

— Сила! А?

Патраков стоял молча, заложив руки назад и неторопливо, но цепко оглядывал разложенные вещи. Казалось, он равнодушен к ним — так спокоен и безразличен внешне. Но иногда надолго задержавшийся на чем-то задумчивый взгляд выдавал его — всегда угрюмоватое лицо как бы светлело, прояснялось.

— Как думаешь, на сколько это потянет? — спрашивал его Свиридов, очерчивая рукой круг над столом.

— Не знаю, — отвечал, не отрывая взгляда от стола, Патраков. — Эксперты подсчитают.

— Вот, вот, — подхватил Свиридов. — Давай их скорее, пусть считают. А ты, герой, — хлопнул он снова Михеева по плечу, — пиши давай рапорт. Самому! — поднял он вверх палец.

— Пиши: брошка агатовая с осыпью розочками. Больше четвертной не стоит — работа дешевая, без души делано. Кухарка разве такую нацепит... Браслет золотой, дутый, с четырьмя аквамаринами. Камни дорогие, а считай — испорчены. Без смыслу натыканы, да и грань не та — игры нет. Постой... Тут не иначе как двое или трое один камень гранили... Так и есть.

— Как это вы узнали, Петр Акимович?

— А чего тут знать-то, всякому видно. Когда камень гранишь, никому не передавай и сам на другое не отрывайся — игры не будет. Это уж закон такой. Камень — он руку твердую любит, хозяйскую. Как, например, лошадь норовистая хозяина с полслова понимает, а чужому и дотронуться не дает... Нет, плохой камень, в перегранку его надо. Да и вещица вся разве только кабацкой девице впору — понимающему человеку ее и надеть стыдно...

Теперь, когда Михеев имел возможность пристальнее и внимательнее ознакомиться с каждой вещицей в отдельности, он тоже уловил эту поразительную разнохарактерность драгоценных украшений, их разностильность и разновкусицу.

Рядом с вещами высокой ценности, истинными шедеврами ювелирного искусства, можно сказать — национальной гордостью, соседствовали дешевые, безвкусные поделки, мещанский ширпотреб. Розочки, сердечки, сентиментальные надписи на брелочках... Дутое золото, которое и купчихи уже со времен Островского перестали носить...

Да, прав поэт русского драгоценного камня и выдающийся знаток его академик Ферсман, заявив: «Архивы открывают нам — последние русские цари не умели ценить русский ка-

мень... Погибли исторические камни, пошли на слом прекрасные изделия, проданы по дешевке с аукциона». Только в 1906 году «Кабинет его императорского величества» продал более чем на миллион золотых рублей камней, в том числе уникальные русские изумруды, старинные аметисты. Зато убогая безвкусная дешевка, пусть иногда и очень дорогая по материалу, потекла рекой в шкатулки цариц и великих княжен.

Вот брошка в виде русского трехцветного флага — трешки не стоит, да и то только если обратить в чистое золото. Браслет с брелочком «1914» — опять же только бери на вес, иначе ничего не стоит... А что за цифра на нем — 1914? Что за памятное событие захотела отметить бывшая императрица этим мещанским сувениром? Уж не память ли о скандальной связи с генералом Орловым, ее Соловушкой, связи, слухи о которой дошли до самого Николая? Николай тогда в гневе надавал супруге пощечин (свидетельствует Анна Вырубова!) и распорядился выслать этого надменно-красивого усача в Египет... Но, кажется, это было не в 1914-м, а раньше...

А вот еще брелок — с цифрой «1912». Еще какая-то память. А это? «Фашистский знак» — назвал его в описи Блиновских. Но Михеев уже знал, что это такое. Знак свастики, который немецкие фашисты сделали эмблемой своей партии, родился задолго до них. Он известен археологам еще с каменного века. В древней Индии почитался священным знаком, символом огня и солнца. Но еще задолго до фашистов его «принял на вооружение», сделал своей тайной эмблемой кружок фрейлины Анны Вырубовой, ярой почитательницы и верной слуги Распутина. В этот кружок входила и Александра Федоровна.

— ...Пиши, — продолжал диктовать Блиновских, — часики дамские, эмалевые, с цепочкой жемчужной, с гравированной монограммой «ТН»... Татьяны Николаевны, значит... Еще часы. Ручные, с браслеткой бриллиантовой. Рублей на двести пятьдесят бриллиантов будет. Но часики ржавые, в дело не годятся...

— Не прошло им даром купаиье в колодце, — вспомиил Михеев.

— Пиши дальше, товарищ Михеев. Кулои бриллиаитовый с изумрудной вставкой. Вещь редкостиая, государствениая...

...Государствеииая! Вот имеиио, старик прав. Такие вещи — гордость национальиой сокровищницы, ее «иеделнмый фонд», как, скажем, рублевская «Троица». Это не продается и не дарится. Это шедевр искусства — всеиародная собственность, а ие игрушка веиценосной модницы.

Это понимал еще Петр I. В 1719 году он прннял решеиие об особом храненнн «подлежащих государству» драгоцениостей и выработал для этого специальиый «регламеит». Как государствеиные регалии, так и драгоцеиности, хранимые до этого в шкатулках царнц, ои повелел храиить в камеральиой части.

Однако после смерти Петра миогие его иаказы забылнсь. Веселая, любившая гульнуть и пошнковать, «императрикс Елисавет» сиова перетащнла миогое нз камеральной части к себе в опочивальию. Старались не отстать от иее и другие. Раздаривали любовникам н именнтым заморским гостям. Оплачнвали щекотливые услугн. Под нажимом бережливых царедворцев, поиимавших, что растаскивание государственных сокровищ к добру не приведет, в 1856 году прншлось издать высочайший указ: «Храиящиеся в бриллиантовом кабииете Зимнего дворца брнллнаиты и разиые украшеиные оиыми предметы переместить в Галлерею драгоцеиностей Эрмитажа, соединив оиые с подобиыми же вещами, выставлеиными в шкафах сей галлереи». То есть приравияли их к музейным экспоиатам, надзор за которыми уже был вие поля зрения царя. Но, поскольку при отборе таких вещей для Эрмитажа миогое еще по-прежиему оставалось в личиых царских покоях, пришлось прннимать еще одно постановлеиие. В 1884 году присмотр за оставшимися драгоцеиностями от довереиных лиц перешел в ведеиие Государствеииого коитроля. Постаиовлеиие подчерки-

вало, что отныне драгоценности являются собственностью государства и им должна вестись строгая отчетность, наравне с государственным имуществом.

Потребовалось более полутора столетий, чтобы мысль Петра хоть как-то приблизилась к осуществлению. Но и при этом самодержцы всероссийские умудрялись тащить многое в свои дворцовые норы, по-прежнему считая все своим, личным, хотя не имели на это никакого юридического права.

— Какой у нас там порядковый номер, товарищ Михеев? — доставая очередную вещицу, осведомился Блиновских. — Сто восемьдесят четвертый? Пиши... э-э, этому и названия не подберешь...

Оба старика застыли, восхищенные огромным голубоватым бриллиантом в ажурной, искусной работы, оправе.

— Взвесь, Данилович. Я не могу, руки дрожат.

— Жаль извлекать-то его. Еще оправу повредишь, — мялся Колташев. — Вот если вместе с оправой, а потом вычесть ее...

— Давай с оправой.

Колтышев бережно, словно раскаленный уголек, взял в свои грубые, плохо гнущиеся пальцы бриллиант и положил его на весы. Чашечка резко опустилась вниз, задрав вверх другой конец коромысла.

— Сколько? — нагнулся к весам Блиновских.

— Чистых сто карат, — выдохнул Колташев. — Может, карата на два прошибся, не больше.

...Сто карат! Это же уникум — один из тех, о которых пишут книги, судьбу которых прослеживают везде, где бы они ни оказались. Один из тех, которым присваиваются, как людям, звучные личные имена. За всю историю человечества не набралось и двух десятков таких камней, вес которых превышал сто карат. Если быть точным — их было всего пятнадцать.

Среди них — исполинский «Куллинан», найденный в 1905 году в Южной Африке и хранящийся ныне в сокровищ-

нице британских королей, в Уэкфилдской башне, лондонского Тауэра; легендарный «Великий Могол», родом из Индии, сверкающий ныне под именем «Кохинор» (гора света) в британской короне; индийский же родом «Регент», проданный в XVIII веке герцогу Орлеанскому за три с половиной миллиона франков; «Джойкер» из Претории (Южная Африка), купленный банкиром Гарри Уинстоном за полтораста тысяч фунтов стерлингов. Только один бриллиант из побывавших когда-либо в русских сокровищницах весил более ста карат. Это знаменитый «Орлов», найденный в XVII столетии в Индии, сменивший за свою жизнь при разных, иногда очень запутанных обстоятельствах, многих владельцев и подаренный в 1773 году графом Орловым Екатерине II. Вставленный потом в скипетр русских царей, он стал одной из важнейших государственных регалий. Снимки с него можно увидеть в сотнях книг. Теперь он нашел себе пристанище в стальных сейфах Государственного алмазного фонда.

Даже знаменитый «Шах», который персидский шах Аббас Мирза преподнес Николаю I, чтобы умилостивить его в связи с убийством русского посла в Тегеране, писателя Грибоедова, весил лишь 87 карат.

А тут — сто карат! Было от чего благоговейно оцепенеть, держа в руках этот редчайший дар природы...

— Сто восемьдесят пятый, — снова потянулся к коробке Блиновских, с трудом оторвав взгляд от стокаратника. — Пиши...

— Подожди, Петр Акимович... — прервал его Михеев. — Во сколько же мы оценим этот камень?

— Цены ему нет, вот что я скажу тебе, товарищ Михеев. Не знаю, что вот Кондратий Даниловнч скажет, а я не берусь.

— Это верно, — покачал бородой Колташев. — Цену ему нам не назначить. Если только по весу... Так ведь и вес-то дело хитрое. Если, скажем, два-три карата камень — одна цена за карат. А вот, скажем, десять — уже другая, намного бо́льшая.

— Ну, возьмите по той самой высокой ставке, что вам известна, — настаивал Михеев.

— Та, самая высокая, для него низка. Обидна, можно сказать. Тут специалистам судить надо, вроде Ферсмана или того же Фаберже, который все мировые цены самых крупных камней знал... Ну, если по самой высшей, что я знаю, то пиши... Миллион и двести тысяч золотом. Вот сколько. Но это, прямо тебе скажу, не та цена, что он стоит.

— Пусть пока миллион двести числится. В Москве уточнят, — согласился Михеев.

...«Вот так государственные национальные реликвии и попадали нередко в личные шкатулки монархов, нарушавших законы своего же государства, — думал Михеев, глядя на стокаратную брошь. — Как часто они путали государственный карман со своим. И даже в критическую минуту, подписав манифест об отречении от престола, признав себя с тех пор человеком частным, Николай «забыл» передать в государственную казну незаконно хранимые им в своих личных шкатулках вещи. Нечестно поступил Николай Романов, недостойно порядочного человека!..»

— Все, что ли?

— Все, Петр Акимович, все.

— Итого — двести две вещи на сумму... Ну, уж это вы сами подсчитайте, нам счетная работа не с руки...

Блиновских подписал ведомость. Кондратий Данилович, смущенно посапывая носом, поставил три жирных креста.

Ведомость оформлена и подписана. Ценности упакованы и приготовлены к отправке. Михеев сел писать рапорт.

«Председателю ОГПУ СССР...
Настоящим докладываем, что...»

Продолжить он не успел.

— Тут такое дело, понимаешь... — встретил его, вызвав к себе, Патраков. — В Тагил надо ехать. Бывшая монашка в

Торгсин уже пятый бриллиант сдает. Приезжая. Может в любой день скрыться. Надо распутать — что за этим кроется. Вот билет, вот удостоверение...

Вечером Михеев уже ехал в Тагил. Тобольский узелок был развязан, завязывался новый...

СОДЕРЖАНИЕ

Матвеев
Владимир Павлович

ЗОЛОТОЙ ПОЕЗД

●

Курочкин
Юрий Михайлович

ТОБОЛЬСКИЙ УЗЕЛОК

●

«БИБЛИОТЕКА ПУТЕШЕСТВИЙ И ПРИКЛЮЧЕНИЙ»
ВЫПУСК 37—38

●

Художник В. Аверкиев

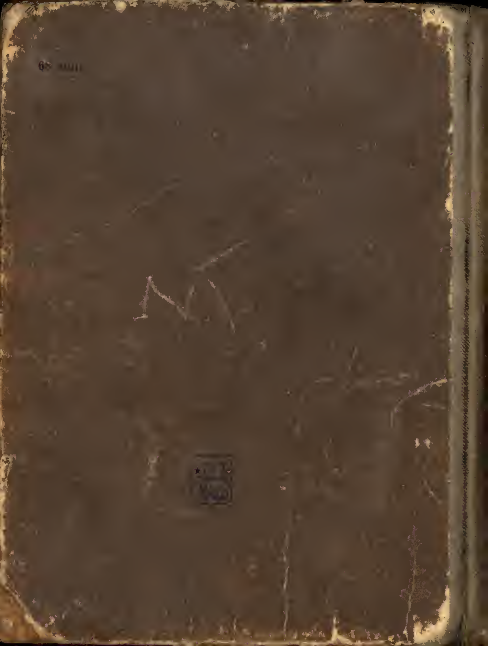
Редактор
А. Зебзеева

Художественный редактор
В. Вагин

Технический редактор
В. Филиппов

Корректоры
Л. Крамаренко,
С. Нестерова,
И. Пархомовская.

Сдано в набор 10/VII 1970 г. Подписано в печать 23/XI 1970 г. Формат бумаги тип. № 2 $70 \times 108^{1}/_{32}$. Печ. л. 12,25; бум. л. 6,125 (усл. прив. л. 17,15); уч.-изд. л. 19,195. Тираж 100 000 экз., 2-й завод 60 000 экз. Цена 66 коп. Пермское книжное издательство. Пермь, ул. Карла Маркса, 30. Книжная типография № 2 управления по печати. Пермь, ул. Коммунистическая, 57. Зак. 1231.



В. МАТВЕЕВ

ЗОЛОТОЙ ПОЕЗД

Ю. КУРОЧКИН

ТОБОЛЬСКИЙ УЗЕЛОК